

АЛЬМАНАХ БИБЛИОФИЛА

ВЫПУСК 25



*ВСЕСОЮЗНОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО
ЛЮБИТЕЛЕЙ
КНИГИ*



**АЛЬМАНАХ
БИБЛИОФИЛА**
ВЫПУСК **25**

МОСКВА
«КНИГА» 1989

ББК 76.11
А 57

Главный редактор
Е. И. Осетров
Заместитель главного редактора
С. Ф. Педенко

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

И. В. Абашидзе, К. С. Айни,
О. М. Виноградова, В. И. Десятерик,
Н. Х. Еселев, Е. А. Исаев,
А. И. Калашников, Е. П. Кирилук,
В. В. Кожин, А. Ф. Курилко,
В. Я. Лазарев, Д. С. Лихачев,
Ю. П. Некрошюс, Е. Л. Немировский,
А. И. Овсянников, Л. А. Озеров,
П. В. Палиевский, В. А. Петрицкий

Художники:
А. Г. Антонов,
И. И. Антонова

А $\frac{450300000-072}{002(01)-89}$ Издание ВСК

ISBN 5-212-00194-3

© Всесоюзное добровольное общество любителей книги,
1989

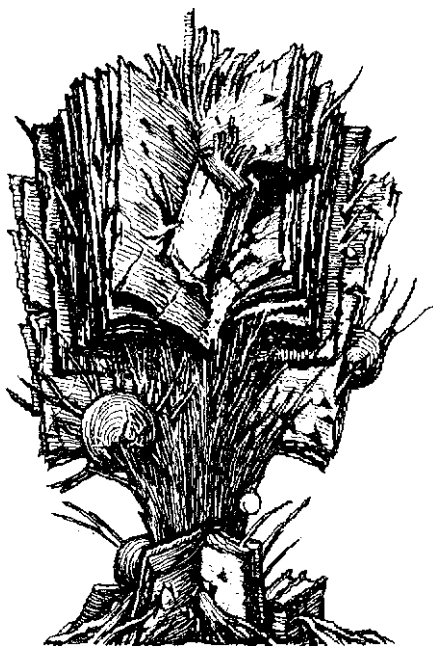
КНИГА И ЖИЗНЬ

Валерий Дементьев
ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕЗБРЕЖНА

Анатолий Калашников
АНГЛИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ

Алексей Чичерин
ЖИВОГО СЛОВА ЧИСТОЕ ДЫХАНЬЕ

Юлий Кагарлицкий
УЭЛЛС В МОЕЙ ЖИЗНИ



Валерий Дементьев **ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕЗБРЕЖНА**

Беседу вел Святослав Педенко.

— Валерий Васильевич, у меня к вам вопрос, который, как мне кажется, чрезвычайно актуален сегодня и для читателей, и для критиков: на всех нас буквально обрушился поток, так сказать, «новой старой литературы». И вот, как относиться к этому феномену? Что вы, как критик, с одной стороны, и, как читатель, с другой, можете здесь посоветовать?

— Когда возникает вопрос, как относиться к тому или иному литературному явлению, я всегда исхожу из собственного опыта, опыта человека, как говорится, с молодых ногтей профессионально связанного с книгой. Скажем, кто-то смолоду имеет дело с металлом, другой с землей, третий с воспитанием детей, а я вот — с книгой, потому что так или иначе профессия критика с нею связана. Ну, иногда с рукописью... А через книгу, через рукопись — с человеком, с личностью художника, творцом. Так вот, мне кажется, что сейчас читателю должны быть особенно интересны и важны книги, написанные крупными личностями, теми, кто шел трудным путем к самоосуществлению своего «я», пониманию своего «я», самовыражению его...

— Как изменилось время!.. Ведь еще совсем недавно за такие слова вас обвинили бы в пропаганде эгоизма, индивидуализма и прочих таких «измов»...

— Да, термины «самоосуществление», «самовыражение», «самопознание» до недавних пор если и не были под негласным запретом, то, во всяком случае, считались идеалистическими и подлежащими, так сказать, остракизму. Но вот в конце XX века оказалось, что личность человеческая безбрежна и что наш личностный опыт может быть и опытом вселенским, космическим, не говоря уже об опыте историческом, социальном, гражданственном и т. д.

— Когда мы поняли, что человек не средство, а цель прогресса. А то у нас он долго был средством, строившим домны и гидростанции ради будущего, довольно-таки абстрактного, счастья. И, если я вас правильно понял, сейчас мы, наконец, повернулись лицом к человеку, который сам по себе ценность, а не только средство, предположим, для валки леса...

— Да, он ценен в первую очередь своим личным, своим духовным опытом. И я, через книгу обращаясь к этому его опыту, опыту «другого», соотношу с ним свой личностный опыт, а через него уже и опыт социальный, опыт общественный. Причем со временем я понял одну парадоксальную закономерность: чем больше углубляешься в творческий мир какого-то художника, писателя, поэта, тем неотложнее перед тобою встают общечеловеческие вопросы, которые ты стремишься разрешить лично для себя. Вот такая диалектика... Помню, мой друг поэт Сергей Орлов любил повторять чью-то строку: «Жизнь — это дорога, а над ней звезда». Не знаю, откуда он взял это афористически емкое, поэтическое выраже-

ние... Но ведь чем поэзия важна для нас? Тем, что это — концентрат жизненной энергии, эмоциональной энергии подчас огромной силы, это путеводительная формула, которая и помогает нам осмыслить себя, причем не просто осмыслить, но познать себя в глубинах души, неведомых нам в нашем обычном, повседневном и, если хотите, заурядном опыте. Да, поэзия всесильна, потому что обращена к человеческой душе. А мы раньше всё напирали на человека: ты должен, ты обязан, тебе повелевает время, тебе повелевает эпоха... Нет, оказывается, если ему не повелевает душа, его внутренний голос, то ничего не скажет и сама эпоха.

— Так ведь личный внутренний голос не сам по себе рождается, а воспитывается во многом искусством и литературой!.. И тут мы опять вернулись к феномену влияния старой литературы на становление и укрепление новой эпохи.

— Изменения в общественном сознании, смена эпох кажутся нам подчас мгновенными, а на самом деле они подготавливались и подготавливаются очень длительным процессом развития — в частности, и нашей литературы. Вот сейчас мы как бы заново открываем для себя Твардовского. А ведь когда все началось? — в 1956 году, когда поэт в журнале «Огонек» напечатал цикл лирических стихов, где были такие стихотворения, как «Жестокая память», «Ни ночи нету мне, ни дня», «Снега потемнеют синие...», и другие великолепные вещи! А критике заговорила об «отступлении» Твардовского. Тогда почему-то считалось, что он должен создавать эпос чуть ли не наподобие «Илиады». Все думали, что поэма, скажем, в тридцать печатных листов — и были такие поэмы, например у Виссариона Саянова, — по самому своему жанру точнее выразит эпоху, чем небольшое лирическое стихотворение.

— А оказалось, что стихотворения остались, а поэмы В. Саянова.. Но ведь были и другие мнения, и чего уж тут лукавить — я ведь к беседе с вами готовился и знаю, что именно вы в журнале «Октябрь» тогда оценили лирику Твардовского как новый и многообещающий этап его творческого пути.

— А почему? Потому что стихи мгновенно запали в память, пронизали душу. Там у него были такие строки: «Опять маскировкой окопной обвывая пахнет трава». И вот так же миллионы людей полегли на фронте, как эта трава, — то есть тут поэт задумывается уже о судьбах человечества: кто мы, убитые и неубитые, — маскировка окопная, трава? Нет, говорит он, не трава! А ведь шел пятьдесят шестой год, еще совсем близко была сталинская эпоха — эпоха человека-винтика... И вот насколько уже тогда у Твардовского и художественно и социально было сильно понимание ценности личности, конкретной человеческой жизни, единственной и неповторимой... А поскольку я и сам прошел этот фронтовой путь, и сам не хотел быть травой — скошенной, безмянной, бесследно исчезающей...

— Никто не хотел... «Его зарыли в шар земной» С. Орлова — тоже ведь протест против безвестности и безмянноты...

— Да, и у С. Орлова была эта мысль, но я сейчас про Твардовского. В самом начале войны нашим войскам пришлось оставить Смоленск, но потом в сорок четвертом году поэт наступал вместе с армиями, освобождавшими город, и вот при этом у него складывались строчки, на мой взгляд, потрясающие:

Мать-земля моя родная,
Вся смоленская родня!
Ты прости, за что — не знаю,
Только ты прости меня.

И это было совершенно новым и непривычным для армейского читателя, мы ведь только и делали, что гордились. Всем гордились: колодцем, ветхой избушкой, огромным металлургическим комплексом... Но, оказывается, можно было чувствовать себя и без вины виноватым, и это чувство — самое мучительное и самое горькое — могло быть и очистительным и созидательным.

— *Валерий Васильевич, вы хорошо знали Твардовского лично, давно и глубоко изучаете его творчество. Открывается ли в нем что-то для вас новое сегодня?..*

— Конечно, время открывает новые грани творчества. Вот недавно я вновь побывал на родине Твардовского, в Починковском районе, на хуторе Загорье. В свое время, в начале семидесятых, мне довелось познакомиться с братьями его, Иваном и Константином. Но теперь на хуторе Загорье я присутствовал при акте не местного, Починковского, что ли, масштаба, и даже не Смоленского — а всероссийского, всесоюзного значения. Потому что в тот день происходило открытие мемориального комплекса на хуторе Загорье, что означало акт восстановления справедливости в отношении сотен тысяч и даже миллионов крестьянских семей, которые, как и семья кузнеца Трифона Твардовского, проделали мучительно трудный путь туда, куда, как писал А. Т. Твардовский, «их вывезли гуртом» и где «даже снег визжал сильнее под полозьями саней». Восстанавливались честное имя этих крестьян, их социальная и нравственная незапятнанность... И все это было преодолением беспамятства, преодолением той исторически свершившейся несправедливости, которую мы по традиции называем «великим переломом». Да, я помню, с какой чуть приметной и горьковатой улыбкой Александр Трифонович рассказывал, как дорожил его отец этим небольшим клочком подзолистой, скупой и трудной для обработки земли, как гордился ею и называл ее — «наша земля». Как теперь нам не хватает такого ощущения!..

— *Так ведь отчуждение крестьянина от земли произошло! Я вспоминал, а там хоть трава не расти. Деньги за работу все равно получу — Иван Васильев об этом писал и многие другие...*

— И вот теперь мы ратуем за то, чтоб человек мог сказать: «моя земля», «моей семьи земля». А для чего же тогда семейный подряд?.. Для этого! Чтоб человек знал, что вот эта земля — его, и как он на ней будет работать, так и будет жить. Вот какие идеи литература, а тем паче — поэзия, оказывается, может породить в наши дни!

Или вот еще один пример, как порой по-новому открываются самые что ни на есть хрестоматийные строчки — ну, хотя бы из «Василия Теркина»:

Города сдают солдаты,
Генералы их берут.

Вроде бы походя, шутливо сказано... Ну ладно, прихожу я в Музей воинской славы там же, в Смоленске. Музей действительно серьезный, показаны мучительные тяготы оккупации, зверства фашистов — там, на Смоленщине, они особенно зверствовали... И вот, наконец, победные дни — это сентябрь 1943 года. Уже освобожден Рославль, уже освобождена станция Починок... Твардовский был с наступающими войсками, он вошел вместе с ними в Смоленск, участвовал в митинге по случаю освобождения города, выступал на этом митинге... А я, значит, иду по музею и вижу целый зал, посвященный освобождению Смоленска. Вижу портреты генералов, генерал-полковников, генерал-лейтенантов, генерал-майоров... А подполковника Твардовского нет?! Ну, нет человека, не только создавшего образ Василия Теркина, но и освобождавшего свою кровную землю, свой Смоленск — как его забыть?! Вот и ходишь по музею из зала в зал и повторяешь: «Города сдают солдаты, генералы их берут»...

— *Сейчас мы на многие вещи стали смотреть иначе, и то, что многие годы было, казалось бы, само собой разумеющимся, вдруг открывает такие стороны, а которых мы раньше просто не задумывались...*

— Да, время стремительно усложняет то, что раньше казалось простым и ясным. И это касается не только литературы сегодняшней, но и всех сторон нашего бытия, бытия исторического, бытия литературного... По крайней мере с начала века. И вот тут-то и требуется критик, умеющий увидеть и охарактеризовать явление во всей его полноте и многогранности. А это очень и очень нелегко, недаром литовский критик А. Бучис в дискуссии о критиках и критике говорил о том, что иному критику лучше бы было уйти в другие жанры, чтоб не строить своих сверхоригинальных умозаключений на костях ни в чем не повинного писателя.

— *Ну, тут он, может быть, и не прав. Он хочет, чтоб я только регистрировал и растолковывал то, что автор написал. Нет-нет, я отталкиваюсь от написанного автором и строю, естественно, свою собственную концепцию, которая с его концепцией может и не совпадать, — я ведь создаю свою новую философско-эстетическую реальность...*

— Да, конечно, но эта реальность должна иметь в своей основе все-таки художника, «другого». Иначе это уже не критика и не эссеистика даже — она ведь тоже внешний объективный мир преломляет в личном восприятии «другого» и вот так же, как бы сквозь эту призму, превращает реальность в феномен искусства, интересный читателю.

И мне кажется, что сейчас как раз не хватает серьезных мировоззренческих концепций, гипотез, предположений. В этой связи я хочу обратиться к творчеству таких вновь открываемых сегодня поэтов, как Н. Гумилев и А. Ахматова. Недавно мне довелось побывать в городе Бежецке и затем на месте: там, где сейчас лишь дуб двухсотлетний

остался, было имение Сленнево, принадлежавшее матери Гумилева и его теткам, и где, как известно, провела годы первой мировой войны Ахматова. Так вот, случайно или нет, вскоре после этой поездки я купил книгу «История русской литературы конца XIX — начала XX века», издана в Москве в 1988 году издательством «Высшая школа», автор — Алексей Георгиевич Соколов. Фундаментальный такой труд... Стал я с ним сверять свои представления об этих поэтах, Николае Гумилеве и Анне Ахматовой, включенных в историю нашей литературы, — ведь без них, без анализа и осмысления их творчества теперь поэзию XX века нельзя представить. Естественно, я с интересом стал читать эту книгу, и что же?

Ну, во-первых, конечно, нельзя было автору учебника обойти трагическую страницу в биографии Гумилева. Но вот как об этом пишет А. Соколов: «В 1921 году Гумилев был арестован по обвинению в участии в заговоре контрреволюционной Петроградской боевой организации, возглавляемой сенатором Таганцевым, и расстрелян» (с. 302). И все. В общем, сухая историческая справка, хотя там чуть дальше автор говорит, что в биографии Гумилева надо все вещи называть своими именами. Вот он и назвал, значит, «своим именем», что поэт был расстрелян по обвинению в участии в заговоре. Кстати, об этом я слышал еще от Всеволода Рождественского много лет тому назад рассказ, как летом — пыльным голодным петроградским летом — он увидел вывешенные так называемые рескрипционные листки со списками расстрелянных. И там он увидел фамилию Гумилева... Ни о каком заговоре Вс. Рождественский не говорил, а говорил с великой горечью о массовых расстрелах петроградской интеллигенции. Да, рассказывал он мне это году в шестидесятом — вот как историческая память через человека проходит, словно нить, — оттуда до нас! Замечательный был поэт Всеволод Рождественский, царскосёл, прекрасно знал и Гумилева, и Ахматову, и В. Недоброво, и других поэтов-царскосёлов, как их тогда называли, да... Ну, так вот, вроде все индифферентно у А. Соколова, но мы-то теперь, в конце восьмидесятых, знаем, что обстоятельства гибели Гумилева были сложнее и трагичнее: в разговоре с одним из офицеров, знакомым по фронту (а Гумилев добровольцем пошел на фронт, в конную разведку, и был награжден двумя орденами Святого Георгия), было упомянуто о существовании такого сообщества офицеров. И вот за недонесение — я подчеркиваю моральный момент, — за недонесение о существовании такого сообщества офицеров Гумилев был расстрелян.

Как может автор современного учебника, говорящий, что вещи надо называть своими именами, как он может умалчивать об этом немаловажном обстоятельстве?! Вот и называйте вещи своими именами, какие они есть на самом деле! А они на самом деле такие, что *за недонесение!*.. Соколов же пишет, что арестован по обвинению в участии в заговоре — и точка. Наверное, он тогда не знал всех обстоятельств.

— *Тем не менее подспудно создается впечатление, что вроде как бы и участвовал?..*

— Да! Вот вы и скажите, что не за участие, а за недонесение — это

же совсем разные вещи и морально, и исторически, и вообще по-человечески...

Но если даже отвлечься от этого момента, то поражает в сем фундаментальном, так сказать, труде стремление скрыть отсутствие собственной позиции, спрятаться за цитатами, ссылками, сносками... Вот, например, говоря о Мандельштаме, он ссылается на мнение В. Жирмунского, вроде бы и объективное, что стихи О. Мандельштама можно назвать не поэзией жизни, а поэзией поэзии. А далее, говоря об Ахматовой, приводит слова Блока, который выделял А. Ахматову и О. Мандельштама как мастеров подлинно драматической лирики.

Так как: их стихи — это поэзия поэзии, — так сказать, отвлеченная, абстрактная, не имеющая к тогдашнему и сегодняшнему бытию конкретного отношения, — или это подлинно драматическая лирика больших мастеров, которыми, по мнению Блока, и были Мандельштам и Ахматова? Конечно, мы верим Блоку, но тогда уж вы как автор учебника раскройте, в чем было их мастерство и почему это мастерство нужно нам сегодня. А Соколов многочисленными цитатами пытается скрыть отсутствие собственной концепции, своего сегодняшнего взгляда на все эти сложные явления, которые оказались живыми. Им сейчас уже почти целый век, а мы все хотим их как-то принизить... Вот тот же А. Соколов пишет, что, мол, лирика Ахматовой была уже блоковской. Ну, во-первых, нельзя сравнивать: первые сборники «Вечер» и «Четки» А. Ахматовой и книги А. Блока в расцвете творческих сил — это антиисторично. Гораздо важнее, мне думается, было подчеркнуть то, что еще в 1915 году сказал критик Владимир Недоброво. А он сказал в 1915 году, что именно А. Ахматовой свойственна душевная безошибочность, которая неизменно оборачивается женским очарованием и красотой стиха. Но главное, продолжал свою мысль критик, — в *новом умении видеть и любить человека*. Вот здесь-то и кроется главная особенность ахматовской лирики, а не в том, кто шире, а кто уже... Но почему же такие книги, как учебник А. Соколова, появляются?

— *Инерция...*

— Да, инерция и неумение мыслить концептуально. В чем заключается концептуальность? А вот в том, как это по-новому? И вот здесь, чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться не только к самой литературе, но и к тем философским работам, которые выходили в то время и с которыми в той или иной степени соприкасались... или, во всяком случае, в атмосфере которых формировалось творчество этих поэтов, в том числе и Ахматовой...

— *Владимир Соловьев?..*

— Нет, не только и не столько Соловьев, сколько Л. М. Лопатин, Н. О. Лосский, С. Л. Франк, В. Ф. Эрн, то есть те представители интуитивистского направления в России начала XX века, для которых *личность* являлась «ядром космической жизни» (В. Эрн). Будучи предшественниками современного персонализма, эти философы решающее значение придавали интуиции: только она и способна уловить поток психических и

душевных переживаний. Короче говоря, личность для интуитивистов — это первоэлемент мира, а стало быть, и первоэлемент любого творческого процесса.

— Но можно ли сказать о прямом влиянии этих философов на творческий облик молодой Ахматовой?

— Нет, я бы не стал это категорически утверждать. Гораздо важнее, на мой взгляд, выявить и уяснить себе тот апофеоз духовной активности человека-творца, который современные художники и поэты находили в трудах этих философов. Кстати сказать, весьма любопытную характеристику именно этому периоду, т. е. десятым годам XX века, когда увидели свет первые сборники Ахматовой, дала Е. Ю. Кузьмина-Караваева. «Россия не знала грамоты, — писала она в тридцатых годах, — в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура, цитировали наизусть грехов, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую литературу своею, знали философию и богословие, поэзию и историю всего мира, и в этом смысле были гражданами вселенной, хранителями великого культурного музея человечества». Но все-таки, все-таки Е. Ю. Кузьмина-Караваева не без внутреннего огорчения вынуждена была признать, что это был Рим упадка. «Мы не жили, мы созерцали...» — добавляла она.

— Иначе говоря, мировосприятие творческой личности было до болезненности обостренным?

— Конечно, конечно: но к этой обостренности примешивался и еще некий момент отчуждения. Мне, например, думается, что помимо углубленно-сложного выражения своего мироощущения Ахматовой была свойственна, как и актеру, именно вот такая позиция отчуждения, где она выступала одновременно и в первом, и в третьем лице, как бы глядя на себя со стороны. Этот момент некоего отчуждения, двойничества, характерный, между прочим, и для всего искусства начала века, привлекает сегодня гигантскую аудиторию. Ахматова предвосхитила почти на век свое время. Ранние ее стихи — это маленькие драмы, сценки в декоре, в интерьере...

И тронул он мои колени
Почти недрогнувшей рукой, —

это сценка в каком-то экипаже... У нее пространство замкнуто, как на сцене, и если почитать, например, М. Добужинского, талантливейшего художника-декоратора начала века, то увидишь, как строился этот непростой мир.

— Уже в театре?

— Ну да, и в театре, ибо искусство поэтического слова Ахматовой всегда тяготело к театральности, точнее было бы сказать — к сценичности, как мы уже выяснили это... И в нем огромную роль играла живая символика, а также приметы быта, приметы среды, обстановки. «Звучала музыка в саду таким невыразимым горем...» К чему все это?.. Я еще скажу, к чему... А к тому, что дальнейший путь Ахматовой был фантасти-

чески сложен и, по сравнению с ее началом, противоречив. Именно сейчас мне и хотелось бы изложить свой взгляд, свою концепцию, для меня чрезвычайно важную, на ее творческое перевоплощение.

Анне Ахматовой исторически и творчески повезло, что в 1911—1917 годах она жила в имении своего мужа Н. Гумилева, расположенном вблизи тверской деревеньки Слепнево. Ибо там-то просто невозможно было не соприкоснуться с народной бедой, с народным горем в его обобщенном виде, а конкретно — вот с этими слепневскими бабами, осуждающие взоры которых она, Анна Ахматова, и видела, и чувствовала, и выразила в стихотворных строках... Вот почему со всей определенностью можно сказать, что ей был дорог не только классический облик Царского Села, но и вид тверских, бескрайних просторов... В «Листках из дневника» (подзаголовок неосуществленной «Книги прозы») одна из главок была помечена так: «Слепнево в 1911—1917. Его огромное значение в моей жизни», а в другой редакции — «Его великое значение в моей жизни».

— *Вы, естественно, были там, где когда-то стояла усадьба Львовых, иначе сказать, усадьба матери поэта Н. Гумилева и его теток?*

— Да, это была незабываемая поездка, ибо по дороге в бывшее имение Слепнево, как и прежде, виднелись распаханные на холмистой местности осушенные болота и хлеба, хлеба... А еще запомнился сохранившийся до наших дней единственный в этом парке двухсотлетний дуб, листва которого, как и тогда, была «еще бесцветна и тонка». В Слепнево же приходили письма Гумилева из действующей армии. Кстати сказать, в одном из этих писем, помеченных июлем 1915 года, в ответ на присланное на фронт стихотворение Анны Андреевны весьма требовательный к чужим стихам Николай Степанович заметил, что «это стихотворение доказывает мне, что ты не только лучшая русская поэтесса, но и просто крупный поэт».

...На тверской земле Ахматовой оказались дороги и близки вот такие же, как слепневская, обветшавшие сельские усадьбы. Кстати сказать, именно там, на тверской земле, кисть таких замечательных художников, как Исаак Левитан, Станислав Жуковский, Витольд Бялыницкий-Бируля или Алексей Степанов, запечатлела этот трагический, уходящий в прошлое и все-таки бесконечно прекрасный пушкинский усадебный мир... Вот, погодите, сейчас я покажу репродукции... Ну, вот картина С. Жуковского «Поэзия старого помещичьего дома». Смотрите: деревянные крашенные полы, мебель красного дерева с бронзовыми инкрустациями, старинные портреты предков — все это пушкинская эпоха, бесконечно дорогая и для нас, и, конечно, для Анны Ахматовой. Ведь в Слепневе — все это было, но, может, чуть победнее... Видите: вон там открыта форточка в зимний сад, а вблизи — грудка березовых дров, березовые угли, тепло, уютно — но! — черты увядания и обнищания во всем. Печка закоптилась, из вьюшек протекло, а отремонтировать — некому. Приобщение к этому стародворянскому и, увы, уходящему в прошлое миру происходило также через Пушкина, через искусство, через живопись. Оно способствовало углубленному мировосприятию личности, для которой нет мелких стра-

тей и нет пошлых желаний. Потому что взаимоотношения человека с миром и с «другими» не могут быть мелкими или крупными. Ну, мы не можем, например, сказать, что ребенок, предположим, радуется новому мячу «мелко», а вот взрослый дядя «крупно» играет в футбол, — это все не те категории. Личность — едина, и сущность ее — едина. И чем точнее, философски и поэтически выразительнее проявляется эта личность в искусстве, в поэзии, тем непосредственней наше «узнавание» и, стало быть, восхищение ею. Именно там, в Слепневе, весной 1915 года было написано одно из лучших, то есть прозрачных, как весеннее небо, и звонких, как весенние ручьи, ахматовских стихотворений — «Перед весной бывают дни такие...». Оно запечатлело новый характер и новый образ чувствования героини. Вот они, эти строки, со дня написания которых прошло более семи десятилетий:

Перед весной бывают дни такие:
 Под плотным снегом отдыхает луг,
 Шумят деревья весело-сухие,
 И теплый ветер нежен и упруг.
 И легкости своей дивится тело,
 И дома своего не узнаешь,
 А песню ту, что прежде надоела,
 Как новую с волнением поешь.

— *Однако ведь были у Анны Андреевны Ахматовой и периоды тяжкие, «бестемные», «безрифменные»?*

— Были ли периоды «безрифменные» — я не знаю, но периоды не просто тяжкие, а воинстину трагические, к великому сожалению, были.

— *Вы имеете в виду тридцатые годы?*

— Да, и тридцатые, и сороковые в частности. И дело отнюдь не в том, что прежний мир интима отошел в безвозвратное прошлое — поэтический пульс Ахматовой неизменно был полнокровным, а ее мировосприятие — глубоко реалистическим и демократическим, если не сказать, народным... Она сама удивлялась тому, что ее маленькая книга любовной лирики, казалось бы, должна была затеряться и потонуть в мировых событиях, но время распорядилось иначе... И все-таки нельзя не заметить, что период тридцатых и сороковых годов у Ахматовой обозначал длительный и трудный этап нового обретения себя. И это обстоятельство было обусловлено не только личными причинами, оно было обусловлено самим временем, определено тем, что поэтесса столкнулась с гигантскими масштабами событий, неведомых ее сверстникам и соплеменникам раньше... Масштабами и, добавляю я, трагической их глубиной... Да, на фоне событий середины тридцатых годов, известных как «ежовщина» и «бериевщина», человеческая личность обезличивалась в невиданных прежде исчислениях... Анна Ахматова ощущала это на судьбе своего сына — Льва Николаевича Гумилева, а также одного из самых ближайших друзей — Осипа Мандельштама. В 1937 году был арестован ее сын, а в

1940 году она узнает, что два года тому назад в пересыльном лагере на Второй Речке под Владивостоком погиб Осип Мандельштам... А ведь когда она начинала «Поэму без героя», то думала, что ее героем будет... ну, во всяком случае, будет Поэт с большой буквы... А поэга не стало, и возникли строки, в которых его имя никак не обозначено, как не обозначено его имя было в тех каторжных вагонах-телятниках, в которых везли и его и сотни тысяч таких же, как и он, «отвергнутых, забытых, вычеркнутых из списка живых, потерявших имена и прозвища, занумерованных и заштампованных, направлявшихся по накладным в черное небытие лагерей»... Вот так определила вдова поэта — Надежда Мандельштам — трагическое перевоплощение конкретной человеческой личности — в потерявших имена и даже прозвища...

Анна Ахматова с юных лет, с первых поэтических сборников обостренно чувствующая, что именно безвестность и беспамятность могут принести немалые страдания человеку, воскликнула с жаром: «Только память вы мне оставьте, только память в последний миг»... Да, именно затерянность и насильственная «занумерованность» многих ее современников и вызывали новый и особенно трагический, особенно горький, а поэтому не облегчающий, а усугубляющий ее страдания прилив творческих сил...

...а так мне бумаги не хватило,
Я на твоём пишу черновике —

в этих начальных строчках «Поэмы без героя», масштабность и все значение которой можно понять только в свете вот этой трагической и еще не бывавшей в истории русской поэзии коллизии, выражена идея преемственности, идея духовного братства. К слову сказать, и у Александра Твардовского есть это же стремление — закрепить в поэтическом слове и судьбу и страдания людей безвестных, безымянных людей, ставших «лагерной пылью», закрепить, а значит, вырвать их из забвения, из безвестности, вернуть к достойному человеческому существованию, которое немислимо без свободы, равно как и без самоосуществления в труде, который воистину должен быть освобожденным.

Теперь вы понимаете, какие новые категории появились во взаимоотношениях поэтессы с миром — это категории безвестности и безликости. Да, Анна Ахматова, так обостренно чувствующая ценность личности, могла понять всю глубину горя обезличенных людей. И «Поэма без героя» пошла по этому пути...

— *Кстати, у Орлова это есть: «Кто ты — песчинка среди огня»...*

— Вот-вот, «песчинка среди огня». И как протест против этого мгновенного безымянного уничтожения — «Его зарыли в шар земной...». То есть из целой планеты надо мавзолеем воздвигнуть, чтоб положить туда этого безымянного то ли ездогого, то ли генерала, то ли лейтенанта, не важно — солдата... Так вот и Ахматова, кстати, гораздо раньше пришла к этой глобальной идее, почему ее поэзия и оказалась живой. Да, благодаря своей обостренной чуткости к восприятию всех оттенков, малейших движений человеческого сердца она смогла понять и противо-

положное, как бы зеркальное, «наоборотное» отражение личности, включенной в гигантский поток исторических событий и, к сожалению, безвестной, обезличенной, безымянной... И еще вот что интересно: в «Поэме без героя» Анна Ахматова как бы два варианта судьбы сталкивает: с одной стороны — это судьба некоего Всеволода Князева. Этот молодой поэт в 1913 году застрелился от любви. Сборничек его стихов вышел в свет уже после его смерти, в 1915 году. А с другой стороны — лишь отдельными, выразительными штрихами намечены портреты, правда, очень условные, но все-таки узнаваемые: то с дымящейся розой в бокале абрис Блока, то как веретовая вежа — Маяковский, то где-то даже Байрон промелькнет, то Шелли... И вот эта безвестная судьба безвестного молодого поэта все время как бы подсвечивает своей безымянностью и безвестностью эти великие поэтические судьбы...

— *И нам сейчас это особенно интересно, когда возродилось обостренное внимание к отдельной человеческой личности...*

— Да, конечно. Новой гранью повернулись и личность и подход к ней. Теперь, например, в нашей периодической печати можно встретить и рассуждения о том, что когда не признается как основное и все остальное предворяющее понятие свободы личности, то есть положение о «внутреннем суверенитете» каждой личности в области мысли, веры, эстетических и художественных пристрастий, когда власть над личностью становится беспредельной, — тогда эволюция от диктатуры к тем или иным формам «культы личности», т. е. одной деспотически правящей личности, — неизбежна. И я вижу, например, задачу критики в том, чтобы это понять и объяснить. Ибо критик, как докатор, как самый чуткий инструмент, должен улавливать изменения в общественном сознании, а с другой стороны — в какой-то мере и забегать вперед, подготавливать их. Такие события, как нынешняя перестройка, не могут случиться «вдруг», они готовятся всем ходом общественного развития, и в частности литературы нашей. И я вот долго не мог понять, почему у А. Ахматовой в конце «Поэмы без героя» Россия идет на восток. Сначала в заключительном разделе шла речь о «Ленинградской симфонии» Д. Шостаковича, но потом Ахматова отказалась от этой концовки поэмы. И вот Россия у нее идет на восток в хрустальные зимы Сибири...

Да, она шла на восток, а не на запад, потому что там, в безбрежных снегах Сибири, и находились сотни и сотни тысяч тех безымянных, как ее герой, и тех обезличенных, как О. Мандельштам или как Трифон Гордеевич Твардовский со своим многочисленным семейством. И шла она на восток, и несла утешение, милосердие, нравственное спасение этим людям.

Именно так, на мой взгляд, время раскрывает то, что было недоступно до сей поры ни одному из толкователей творчества Анны Ахматовой. И какими смешными и беспомощными кажутся теперь вот такие, как у А. Соколова, рассуждения о том, что, мол, то да сё, но было бы хорошо, если бы Ахматова поучилась у Блока... А ведь это совершенно разные поэтические миры! И каждый из них — как самородок золотой.

Он может прирастать сам по себе, но быть похожим на другой самородок — такого в природе не бывает.

Ну что, ответил я на вопрос о том, как относиться к феномену «новой старой литературы»?

— *Более чем... Над этими ответами еще думать и думать...*

— А как же иначе? Время неоспоримых, железобетонных утверждений, слава богу, прошло, пришло время думать.

Алла Ростовцева

АННА АХМАТОВА

Из мрака времени и кружев
Проглядывает профиль гордый.
Кто это — ангел или муза,
Застывшая с улыбкой скорбной?

В лице — сражение тьмы и света,
Вся — средоточье черных линий,
Пересекающихся где-то
Между испугом и уныньем.

В глазах — задумчивая влажность,
В зрачках — безвыходная мука
От созерцанья мысли важной
Между безмолвием и звуком.

Соединенье тьмы и света,
Вся — средоточие зигзагов,
Пересекающихся где-то
Между пространством и бумагой.

Анатолий Калашников АНГЛИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ

В ноябре 1986 года в Великобритании проходили дни Российской Федеративной Республики, в рамках которых Министерство культуры РСФСР совместно с Центральным правлением ВОК организовало выставку современного экслибриса. Экспонировались работы советских графиков из разных городов России.

В составе делегации я впервые приехал в страну, с которой уже на протяжении многих лет имел тесные творческие контакты.

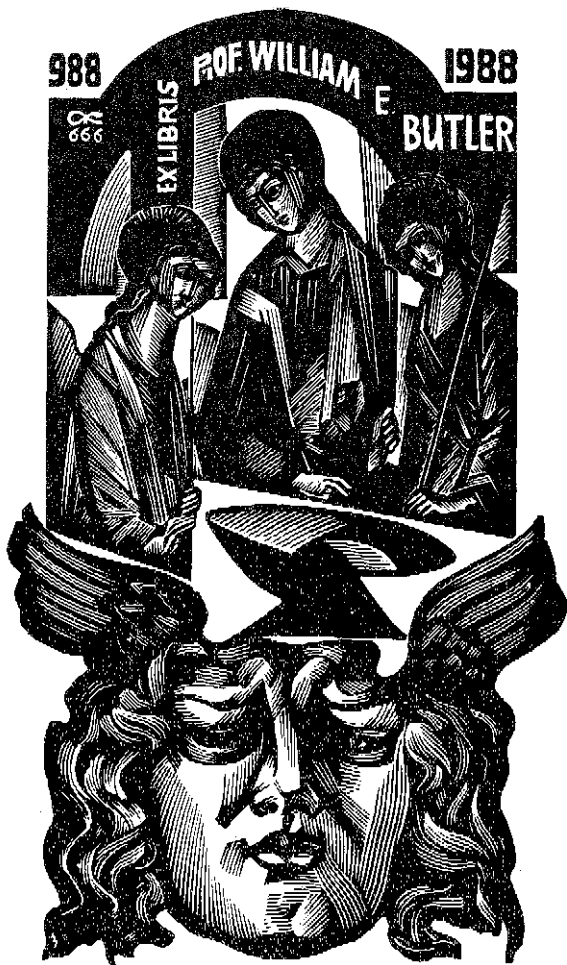
Так случилось, что 50—60-е годы стали важным этапом развития советского экслибриса. Это было время, когда о мастерстве современных художников малой графики нашей страны впервые узнали зарубежные библиофилы и высоко его оценили. Мне посчастливилось стать причастным к установлению связей с английскими книголюбями. В журнале «Советские новости» (1966. № 20) была опубликована статья В. Осокина «Анатолий Калашников», проиллюстрированная экслибрисами, среди которых был знак, выполненный для друга нашей страны бывшего президента Финляндии Урхо Кекконена. Этот номер попал в руки английского общества библиофилов. Не имея в то время контактов с советскими художниками, принц Филипп обратился к У. Кекконену с просьбой о посредничестве, поскольку захотел иметь в своей коллекции книжный знак, выполненный советским художником.

Просьба была передана в Москву, но ввиду разных, не зависящих от меня обстоятельств выполнение ее значительно затянулось, и только в 1973 году, во время пребывания принца Филиппа в нашей стране, ему, наконец, передали сделанный для него экслибрис, а вскоре в Англию была отправлена и доска-ксилография, пополнявшая знаменитую коллекцию принца в Букингемском дворце.

А в 1975 году была открыта моя персональная выставка в книжном магазине «Ленинград» на Невском проспекте; рекламой ее служил натянутый поперек проспекта выполненный со вкусом транспарант. На него и обратил внимание англичанин, профессор Лондонского университета Уильям Эллиот Батлер, специалист по русскому и советскому праву. Заинтересовавшись моими работами, он на протяжении последующих лет не переставал их изучать, а в 1977 году в галерее Флаксмана (Университетского колледжа в Лондоне) организовал персональную выставку, предварительно опубликовав о моих работах статью в журнале «Прейват Лайб러리» (1977. № 10), составил и издал подробный каталог экспозиции с обширным библиографическим аппаратом.

Это был только первый шаг в большой и плодотворной деятельности У. Батлера по пропаганде в Великобритании русской и советской графики. Через периодику он постоянно знакомил своих соотечественников с новыми работами наших художников, их мастерством, а в 1982 году возглавил подготовку и проведение Международного конгресса любителей эк-

А. Калашников. Экслибрис



слибриса ФИСАЕ, проходившего в Оксфорде и Лондоне. К этому конгрессу У. Батлер составил и выпустил три больших каталога под общим заголовком «О советской и русской графике».

Уильям Батлер — неутомимый собиратель, обладающий поистине богатейшей коллекцией экслибрисов. В 1984 году в Лондоне и Хереворде была организована представительная выставка международного экслибриса из его коллекции, где экспонировались работы художников Бразилии, Великобритании, ЧССР, США, СССР. Благодаря его усилиям советские книголюбцы познакомились с искусством английских графиков: в 1986 году У. Батлер подготовил выставку современного английского экслибриса в Москве, с последующей передачей экспонатов в фонд ЦП ВОК. На откры-

А. Калашников. Экслибрис



тие экспозиции приезжали известные английские художники Редж Бултон и Джордж Тут.

Уильям Батлер частый гость нашей страны. Мы не раз встречались с ним в Москве и, наконец, поменялись ролями — осенью 1986 года он стал нашим организатором выставки, сопровождающим и активным помощником в Англии.

Советская выставка в Лондоне была отлично подготовлена, с большим вкусом оформлена и пользовалась успехом у посетителей и специалистов. Для нас это мероприятие было в определенной степени тоже новым: впервые оно проводилось в рамках государственного ведомства (Министерство культуры РСФСР) и общественной организации (ВОК).

По составу участников экспозиция отличалась широтой охвата. Демонстрировались работы основоположников советской ксилографии, знаменитых мастеров московской школы 20—30-х годов, хорошо известных, всемирно признанных графиков: В. Фаворского, И. Павлова, А. Кравченко. С большим волнением ожидали мы реакции английской общественности на работы современных советских художников, многие из которых демонстрировались за рубежом впервые. К тому же мы привезли работы наших мастеров не только из Москвы, но и из разных городов России: Ленинграда, Кирова, Нальчика, Белгорода, Томска и других. Специально к вернисажу был издан двуязычный каталог с обширным справочным аппаратом.

Результатами выставки мы остались довольны. Английская пресса по достоинству оценила мастерство наших ксилографистов, особо были отмечены работы А. Аносова (Иркутск), Ю. Люкшина, В. Мишина (Ленинград), С. Тюканова (Калининград), А. Шершнева (Псков).

Наш первый визит в Лондон был непродолжительным, но именно в рамках этого короткого, очень плодотворного пребывания нам удалось завязать творческие контакты с Обществом английских ксилографистов, наших коллег и взыскательных критиков. Руководство этого Общества очень заинтересовалось деятельностью ВОК по пропаганде книги и книжной графики, захотело познакомиться с ней ближе.

Поэтому уже в следующем году в Великобританию были приглашены первый заместитель председателя Центрального правления ВОК С. Шувалов и я как руководитель Совета по экслибрису и книжной графике. Перед нами стояли две задачи: познакомиться с деятельностью Общества библиофилов Великобритании и наладить с ними постоянные деловые контакты, а также завязать творческие связи с Королевским обществом ксилографистов. В выполнении этих задач нам оказал большую помощь У. Батлер.

На этот раз наше пребывание в Лондоне началось с посещения Общества библиофилов, основанного в 1925 году как Национальная лига книголюбов, а свое нынешнее название — «Бук Траст» — оно носит с 1987 года. Нас очень тепло принимал ответственный секретарь Мартин Гофф, пригласивший нас в здание Правления Общества — представительный старинный особняк, расположенный в одном из красивейших кварталов Лондона.

М. Гофф попросил нас подробно рассказать о деятельности нашей организации, ее целях и задачах. Во время беседы выяснилось, что многие направления деятельности английских библиофилов совпадают с аспектами работы нашего, советского Общества любителей книги. Например, английские коллеги считают своей основной и первоочередной целью приобщение к книге детей, для чего проводят десятки выездных тематических выставок новой литературы. Общество организует конкурсы и распределяет призы, финансируемые другими организациями: например, фирма «Томас Кук» учредила приз за лучшую книгу путешествий и лучший путеводитель года. Экспертная комиссия Общества отбирает лучшие книги года с точки зрения их оформления. В процессе конкурсов лучше

А. Калашников. Петр I.
Гравюра на дереве



выявляются основные тенденции современного дизайна и изменения, происходящие в технике набора и печати.

Общество организует конкурсы молодых писателей на приз памяти Джона Мевелина Риса, который присуждается автору не старше 35 лет. Для начинающих писателей эта награда имеет не столько материальное (сумма невелика), сколько моральное значение — победа в этом конкурсе является очень важным признанием и рекомендацией, поскольку авторитет «Бук Траст» в стране очень высок.

Задачам пропаганды книги и ее оформления служит журнал «Новости книжного мира» — орган Общества библиофилов, выходящий 4 раза в год.

Во время продолжительной беседы мы поняли, что некоторый опыт наших коллег мы могли бы использовать и в своей работе. Такие контакты полезны для обеих сторон, а особенно для дела, на которое направ-

А. Калашников.
Граф С. Р. Воронцов.
Гравюра на дереве



лены наши усилия. В конце встречи мы договорились о формах дальнейшего сотрудничества и пригласили представителей «Бук Траст» посетить нашу страну, чтобы ближе познакомиться с методами работы ВОК.

...С большим интересом мы готовились к встрече с президентом существующего в Англии с 1880 года Королевского общества ксилографистов Гарольдом Эккеттоном. Не без внутреннего волнения входили мы в прекрасную галерею Бэнксайд, расположенную на берегу Темзы. Здесь проводятся выставки графиков разных стран, разного времени, школ и направлений. Нам предстояло решить вопрос об организации в Англии большой выставки современной советской графики. Наше предложение о ней было встречено с большим энтузиазмом.

Но наибольшее впечатление оставила, пожалуй, беседа с госпожой Хилари Пейнтер, секретарем Общества ксилографистов, членом Королевского общества искусства, известным английским графиком. В свое время

она училась мастерству гравюры на дереве у одного из лучших художников Англии Джерри Такера. Встречи с коллегами всегда особенно интересны, а Х. Пейнтер к тому же крупный общественный деятель, она с симпатией относится к Советскому Союзу. По ее инициативе в Москве организуется выставка, где советские любители графики получают возможность увидеть работы 54 ведущих ксилографистов Англии, со многими из которых познакомятся впервые.

Второе пребывание на Британских островах оказалось более интересным и значительным, чем первое. Это произошло благодаря тому, что организаторы нашей поездки любезно предоставили нам возможность побывать в тех замечательных местах, которые составляют интеллектуальную ценность страны и хорошо известны всему миру.

С чувством глубокого благоговения въезжали мы в Оксфорд, где по случаю пребывания гостей из Советского Союза в библиотеке Кодрингтон была подготовлена выставка наиболее ценных и красочных манускриптов. Нам показали также самую старую печатную книгу, хранящуюся в фондах этой исторической библиотеки, основанной в 1438 году. Особенно тронуло то, что специально для нас устроители выставки выпустили красочный буклет. Инициатором этого мероприятия и нашим радужным гидом по Оксфорду был Джон Симмонс, литературовед, славист, посвятивший себя исследованию старинной русской книги. Он известен в Англии как популяризатор русской культуры и старопечатной русской книги.

То, что именно здесь, в Оксфорде, уделяют большое внимание нашей русской литературе и книжному делу, наверное, далеко не случайно, ведь на протяжении многих лет и даже столетий видных русских общественных деятелей связывали с этим городом на Британских островах глубокие культурные связи.

В конце XVII столетия, в 1698 году, в Англии побывал Петр I. Он близко познакомился со многими сторонами британской экономики, общественной и культурной жизни. Заинтересовавшись организацией издательского дела, русский царь несколько раз посетил типографию на печатном дворе Оксфорда, где за год до его приезда впервые в Европе была издана набранная кириллицей уникальная книга «Грамматика руссика». Может быть, именно здесь, в Оксфорде, Петр задумал преобразовать и развить издательское дело в России, ведь вскоре после его возвращения на родину, уже в 1702 году, в Москве стала выходить первая печатная газета, а также начался оживленный выпуск церковной и светской литературы. Как раз в это время стали формироваться большие книжные коллекции — первые библиотеки, а также впервые в России появились экслибрисы в том виде, как мы их понимаем сегодня: книжные знаки, вид своеобразного герба, в определенной степени отражающего интересы или духовный мир владельца книги.

До нашего времени дошли три первых экслибриса, появившихся в Петровскую эпоху. К сожалению, определять, кому из них принадлежит первенство, невозможно, как невозможно узнать и имена создателей этих

А. Калашников.
Е. Р. Дашкова.
Гравюра на дереве

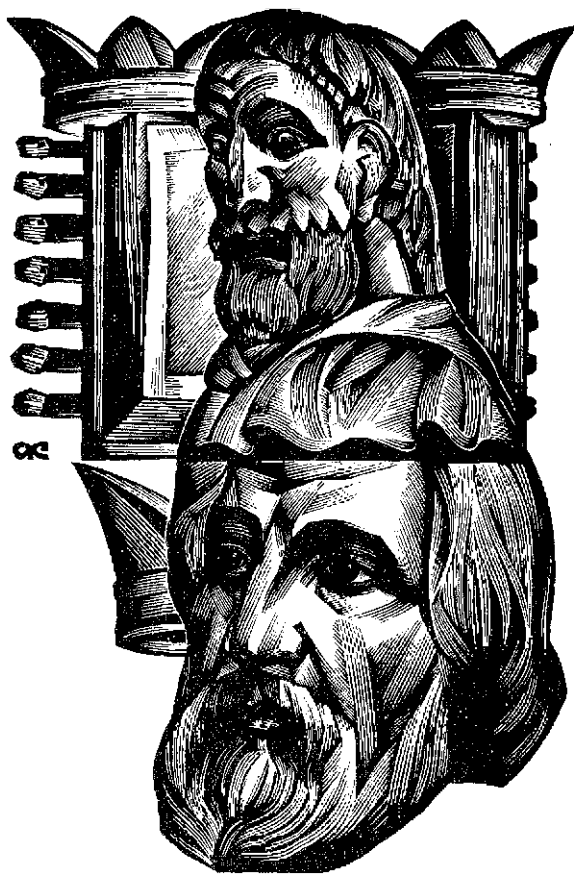


своеобразных памятников искусства малой графики. До нас дошли лишь имена их владельцев.

Один из них, доктор медицины Роберт Эрскин, в 1706 году покинул родину, чтобы навсегда поселиться в Петербурге. Он умер в 1718 году, а его большая, очень ценная библиотека, насчитывавшая более 4200 томов, впоследствии была передана в книжный фонд Российской Академии наук. Второй экслибрис принадлежал Якову Брюсу, сподвижнику Петра, сыну переселенца из Шотландии, военному и государственному деятелю, который долгое время руководил Московской гражданской типографией. Брюсовский экслибрис также стал достоянием государства и историческим памятником, поскольку по завещанию после смерти владельца в 1735 году часть семейной библиотеки перешла в собственность Академии наук.

Часто гостил в Оксфорде граф С. Р. Воронцов, будучи полномочным послом России в Англии (1762—1764). Он тщательно собирал свою

А. Калашников.
И. С. Тургенев.
Гравюра на дереве



библиотеку, ставшую впоследствии одной из лучших и представительных в России тех лет. О его тесных связях с учеными Оксфорда свидетельствует тот факт, что Оксфордский университет в 1763 году присвоил Воронцову почетную степень доктора в знак признания больших заслуг посла в развитии дипломатических и экономических отношений между Россией и Англией.

Частым гостем этого центра науки и культуры была и племянница Воронцова Екатерина Дашкова, будущий президент двух российских академий, прожившая в начале 70-х годов XVIII века несколько лет в Эдинбурге. Разносторонне одаренная и широко образованная женщина глубоко интересовалась вопросами философии, экономики, эстетики, встречалась со многими известными учеными, посещала лекции ведущих профессоров, со многими из них была лично знакома. До сих пор в

А. Калашников.
К. Д. Бальмонт.
Гравюра на дереве



Оксфорде хранится прекрасная коллекция русских медалей, подаренная ею университету.

Здесь неоднократно бывал Иван Сергеевич Тургенев, и мы по праву можем гордиться тем, что именно он стал первым русским писателем, получившим почетную степень доктора Оксфордского университета.

В конце прошлого века сюда не раз приезжал поэт Константин Бальмонт. В 1897 году он блистательно прочел курс лекций о современной русской поэзии. Память об этом университет тоже бережно хранит.

Здесь же, в Оксфорде, нас ожидала еще одна встреча с прекрасным. Библиотека Бодлейна, построенная в 1602 году на месте университетской библиотеки, прежде всего поражает строгостью и изяществом архитектурных форм. Снаружи она похожа на культовое здание, и, оказавшись внутри, тоже чувствуешь, что попал в храм. И только осмотревшись, понимаешь, что этот дворец и есть настоящий храм, где

божеством является книга. Архитекторы и строители здания выразили громадное уважение, любовь и преклонение перед удивительным, неиссякаемым источником знаний и эстетического наслаждения.

Следующим городом нашего маршрута был Кембридж, не менее знаменитый научный центр Англии. Его известный на весь мир университет был основан в 1206 году, здесь много старинных зданий и памятников. Где в Москве мы слышали о замечательной коллекции средневековых редкостей, собранных в местном музее. Экспонаты музея действительно впечатляют. Здесь хранятся уникальнейшие образцы старинных рыцарских и воинских доспехов, всевозможные виды оружия с незапамятных времен, но главное, конечно, — книги. Хранитель отдела редких книг Пауль Вудхайсен провел нас по хранилищу, познакомил с наиболее ценными экземплярами. Каждый из этих фолиантов имеет собственную биографию, которая порой столь занимательна, что можно только об одной книге написать многотомный исторический труд.

После осмотра музея нас провезли по городу, в котором тщательно сохраняются старинные архитектурные ансамбли колледжей, правильная планировка их территорий. Отсюда мы уезжали с чувством, будто побывали в далекое средневековье.

И еще одно чувство не покидало в Лондоне, Оксфорде и Кембридже — как будто мы здесь уже были. Советские средства массовой информации, книги, альбомы нам дают подробное представление об этих местах. Не хватает таких знаний о Советском Союзе у англичан.

Что бы мы еще хотели увидеть? На этот любезный вопрос наших организаторов мы поспешили ответить: город Стратфорд-он-Эйвон. Ну конечно же, иметь возможность познакомиться с Англией и не побывать на родине Шекспира! И вот мы в старом городе, где все хранит память о великом поэте и драматурге, который родился и умер здесь, недалеко от Бирмингема, на берегу небольшой, но очень живописной реки Эйвон. Жители настолько гордятся своим гениальным земляком, что весь город словно живет только одной идеей — сохранить память о величайшем английском драматурге. Музей Шекспира, почта Шекспира и, конечно, Королевский шекспировский театр, где идут пьесы только одного автора и регулярно проводятся в его честь фестивали драматического искусства.

Наш последний маршрут пролегал на северо-запад от Лондона и был длиннее других. В небольшом городе Херворде нас ожидала встреча со старым знакомым, художником-графиком Реджем Бултоном. Он большой друг нашей страны, бывал в Москве и других городах, интересуется памятниками нашей культуры, изучает современное искусство советских графиков, а потом проводит у себя на родине интересные, пользующиеся популярностью лекции.

С большой любовью показывал Редж свой город. Сначала он повел нас в кафедральный собор, где находится уникальная, вероятно единственная в мире, библиотека — там хранятся 276 старинных рукописей (самая старая датируется VIII веком) и 1200 печатных книг, и все они прикованы к полкам цепями... Такая своеобразная «читальня» была

устроена здесь в 1611 году, а уже в XX веке, видимо, для большей надежности, не надеясь на прочность цепей, книги дополнительно обезопасили железными решетками. Это впечатляет.

Потом мы осмотрели городскую галерею искусств, где нас встретили как старых знакомых, потому что здесь регулярно проводятся выставки советской графики и Редж Бултон выступает с лекциями.

Знакомство с городом мы закончили осмотром муниципальной библиотеки и были приятно удивлены тем, что увидели. Никак не ожидали в библиотеке маленького города найти богатые фонды и столь высокий уровень организации. Книги классифицируются здесь не только по алфавиту и рубрикам, но и по рекомендательным разделам, операции по заказу и выдаче литературы осуществляются посредством компьютеров. Имеется огромный выбор всевозможных вспомогательных средств: микрофильмы, видеокассеты, различная аппаратура для просмотра и прослушивания. Бережно хранятся видеодиски с записями проводящихся здесь творческих встреч и дискуссий с авторами. В случае необходимости любой читатель может быстро снять ксерокопию или воспользоваться десятком других услуг за очень умеренную плату.

В Хереворде у нас была очень теплая встреча с жителями города. Она состоялась в мастерской Бултона, где собрались художники, преподаватели русского языка, библиофилы. Большой интерес вызвал не только наш рассказ о разносторонней деятельности ВОК, но и информация о нашей жизни вообще. Мы привезли с собой самые разные слайды, среди них были и такие, которые запечатлели отдых в домашней обстановке, часы досуга на даче, на природе. Еще и еще раз просили гости показать тот или иной кадр и никак не могли поверить, что жизнь советских людей так похожа на их собственную. Вместе с узнаванием теплеела атмосфера, уходили напряженность и сдержанность, обе стороны чувствовали себя раскованнее. Расставались тепло, сердечно.

Мысленно возвращаясь к этому вечеру, ясно осознаешь, что истинное представление друг о друге, общность интересов, взаимопонимание — это большой шаг к тому миру, которого, собственно, повсюду хотят люди.

Алексей Чичерин

ЖИВОГО СЛОВА ЧИСТОЕ ДЫХАНЬЕ

Беседу вела Елизавета Захарова

Труды советского литературоведа, доктора филологических наук, профессора Львовского государственного университета А. В. Чичерина широко известны и популярны не только в нашей стране, но и за рубежом. «Ритм образа», «Идеи и стиль», «Возникновение романа-эпопеи», «Очерки по истории русского литературного стиля», «Сила поэтического слова», другие исследования ученого раскрывают сложное единство восприятия писателем мира с его художественным мышлением и стилем, проблемы стиля в связи с историей литературы.

Палитра ученого-художника очень широка: Бальзак и Пушкин, Тургенев и Флобер, Достоевский и Толстой, Э. Золя и Р. Роллан, Голсуорси и Горький, Лермонтов и Тютчев, Лесков и Щедрин, Фет и Некрасов, Жуковский и Державин. Оригинальная методология, большая историко-литературный материал, теоретическая глубина анализа, точечный язык и, главное, неугасимый творческий огонь исследователя — делают работы А. В. Чичерина нужными, близкими, пробуждающими сердце и ум читателя.

Необычна и биография Алексея Владимировича Чичерина. Выходец из широкоизвестной семьи Чичериных, давшей миру многих политических и общественных деятелей — известного профессора философии и права Бориса Николаевича Чичерина и основоположника советской дипломатии, первого наркомом по иностранным делам нашей страны Георгия Васильевича Чичерина, — А. В. Чичерин сам был участником и свидетелем многих исторических и литературных событий и явлений, знал многих писателей и ученых, составивших гордость нашей отечественной литературы и науки. Он был знаком с Горьким и Андреем Белым, в исполнении авторов слушал произведения Блока и Маяковского, Бальмонта и Брюсова, Булгакова и Пастернака, Луговского и других видных деятелей литературы. В 1919 году А. В. Чичерин был инспектором Тамбовского губернского отдела народного образования и участвовал в эвакуации художественных ценностей из родового поместья Чичериных, села Караул, взятого под охрану государства, спасая их от антоновских мятежников.

Свою преподавательскую деятельность А. В. Чичерин начинал в первой в нашей стране школе эстетики, организованной Натальей Сац в 1922 году. Множество других событий, на которые так щедро жизнь и памятлива история, вошли в судьбу Алексея Владимировича. Но даже в Алтайских горах и в сибирской деревне, на сооружении шоссеной дороги и на строительстве железнодорожной ветки в его душе продолжали звучать живое, пламенное слово, ритм пушкинских стихов, блоковской музыки. Наверное, поэтому в книгах Чичерина не встретишь схоласти-

А. В. Чичерин



ческих рассуждений и сухих скучных высказываний, мертворожденных образов — все в них живо, ярко, наполнено энергией, глубоким знанием и культурой. Судьба художественного слова, его будущее глубоко волнуют Алексея Владимировича. Об этом мы и повели беседу.

— Алексей Владимирович, среди писателей, да и читателей бытует мнение, что критика и литературоведение — падчерицы, второстепенные жанры литературы, что ценности, производимые литературоведами, вторичны. Как вы относитесь к этому?

— Настоящий литературовед и критик — такой же писатель, как поэт, прозаик, драматург. Это мастера различной словесной палитры, но в творчестве мы прежде всего различаем: создано это душой настоящего художника или ремесленника. Известны слова Гоголя о том, что «критика, основанная на глубоком вкусе и уме... имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением».

Если в труд не вложена душа, высокий внутренний огонь, это нельзя назвать творчеством. К сожалению, такое встречается в современной прозе и — что особенно огорчительно и парадоксально — в поэзии, материалом которой должны быть особо одухотворенные слова. Встречаются и литературоведы, и критики без огня. По их вине критику и литературоведение относят к разряду второсортной литературы. По трудам, написанным холодной рукой, некоторые читатели могут сложить превратное представление обо всем литературоведении. Рискую приучить читателя к серости как нормативу, эти бездушные мастеровые навязывают представление о литературоведении как о науке серой и скучной. А ведь можно сказать сдержанно, скупо, но горячо!

Сколько огня в работах М. М. Бахтина, В. Н. Перетца, Н. К. Гудзия, А. И. Белецкого!

В 1913 году была опубликована в «Чтениях Исторического общества Нестора-летописца» (Кн. 24. Вып. 1) и тогда же вышла отдельной брошюрой статья Николая Калининвича Гудзия «Гоголь — критик Пушкина». Эта статья — апофеоз литературной критики и литературоведения как науки. В ней рассмотрены суждения Гоголя о поэтическом языке Пушкина, о «Борисе Годунове», о «Капитанской дочке». Эти суждения противопоставлены ходовым мнениям того времени. Гудзий утверждает, что Гоголь как литературный критик опередил в своем понимании драматургии и прозы Пушкина даже гениального критика своего времени В. Г. Белинского.

Книги Н. К. Гудзия «История древней русской литературы», «Хрестоматия по древней русской литературе XI—XVII веков», небольшой очерк «Лев Толстой», статья «Протопоп Аввакум как писатель и как культурно-историческое явление» — прекрасные работы, сыгравшие большую роль в литературоведении. Эти книги и статьи свободны от недостатков, свойственных научным сочинениям, а особенно учебникам и популярным пособиям 30-х годов, когда эти книги были написаны. Н. К. Гудзий, глубоко воспринявший идеи Маркса, Энгельса, Ленина, оставался совершенно свободен от затей и натяжек вульгарного социологизма.

Исследовательские статьи Гудзия — а их вместе с заметками и рецензиями насчитывается более трехсот — стали библиографической редкостью, их никогда не переиздавали, не было ни одного сборника избранных его статей. Некоторые из интереснейших его трудов, опубликованных в «Известиях Таврического университета» или в «Известиях Таврической ученой архивной комиссии» за 1919 год, невозможно разыскать даже в крупных библиотеках.

— *Алексей Владимирович, о предках Чичериных, об их происхождении сохранилась обширная литература...*

— Игумен Воейков собрал достоверные сведения об «историческом родословии благородных дворян Чичериных». Он писал: «Афанасий Чичерин природою италянец, в 1472 году выехал с Греческою Царевною Софиею Фоминишною, дщерию Фомы Палеолога Деспота Морейского, племянницею родною Царям Греческому Иоанну и последнему Константину Мануиловичам Палеологам, которая была в супружестве с Великим Князем Иоанном Васильевичем Всероссийским».

Упоминаются и другие потомки Афанасия Чичерина, активно действовавшие в XVII—XVIII веках, — генералы, дипломаты, губернаторы, думный дьяк Иван Иванович Чичерин, в числе других подписавший под грамотой об избрании на российский престол Михаила Романова, Федор Чичерин, которому Петр I пожаловал новую вотчину, «чтобы, на его службы смотря, дети его, внучата и правнучата и кто по нем его роду будет также за свое отечество стояли крепко и мужественно».

В книге И. М. Майского «Путешествие в прошлое» (М., 1960), в биографической книге С. Зарницкого и А. Сергеева о Чичерине (М., 1986) авторы подробно рассказывают о происхождении Чичериных, их предках, доходя до первоисточков, до 1472 года, приезда Зои (Софьи) Палеолог в Россию, до сопровождавшего ее Афанасия Чичерина, сына которого Иван Афанасьевич в последние годы своей жизни ушел в монахи. Упомянуты многие Чичерины, вплоть до ученого философа и юриста Бориса Николаевича Чичерина, его любимого племянника — Георгия Васильевича Чичерина, первого наркома иностранных дел нашей страны.

— *Несколько лет назад были опубликованы записки об Отечественной войне 1812 года Александра Васильевича Чичерина. Это тоже ваш родственник?*

— Нет, этот юный гусар, погибший в битве при Кульме, прямых родственных отношений к своему современнику, моему прадеду Николаю Васильевичу не имеет. Кстати, его дневниковые записки, полные совестливых сомнений, написаны живым слогом и читаются на одном дыхании. Автор этих записок удивительно предвосхитил молодого Толстого.

В юности я мучился из-за другого однофамильца и тезки — Алексея Николаевича Чичерина, конструктивиста. Он вывешивал по Москве громогласные плакаты, в поэзии отвергал слово, составлял поэмы из фотографий и из мычаний. В 1924 году я познакомился с ним в Госиздате. И парадоксально: этот человек, занимавший в футуризме крайне дерзкие позиции, был очень скромным и застенчивым.

До сих пор многие ошибочно принимают за автора книг «Возникновение романа-эпопеи», «Идеи и стиль», «Сила поэтического слова» и других «очухавшегося» конструктивиста!

— *Профессор Московского университета Борис Николаевич Чичерин — старший брат вашего дедушки, человек разносторонне и основа-*

тельно образованный, автор многих известных в то время научных трудов — «Науки и религии», «Собственности и государства», «Истории политических учений» — известен как близкий знакомый Льва Николаевича Толстого и как прототип Сергея Ивановича Кознышева. Что вы думаете по этому поводу?

— Образы Толстого деформируют прототип или сочетают и комбинируют ряд разнородных прототипов, если это не исторические личности. Сын Толстого Сергей Львович Толстой предполагал, что в образе Сергея Ивановича Кознышева есть черты Бориса Николаевича Чичерина. К этому же выводу пришел и Б. М. Эйхенбаум, рассказавший подробно историю дружбы и разногласий Л. Н. Толстого и Б. Н. Чичерина и считавший, что отношения Левина и Кознышева написаны на их основе.

Б. М. Эйхенбаум дает слишком прямолинейное решение этого вопроса, — а оно сложнее, интереснее и многое дает для понимания творческой методологии Льва Толстого. Отмечая, что фигура Сергея Ивановича Кознышева в «Анне Карениной» создана из сочетания Чичерина с Юрием Самариным, Б. Эйхенбаум пишет: «От Чичерина взято много деталей, ясно указывающих на первоисточник. Труд Кознышева, над которым он работал шесть лет, озаглавлен «Опыт обзора основ и форм государственности в Европе и в России», это нечто вроде парафразы на заглавия и темы книг Чичерина, из которых «Опыты по истории русского права» изданы в 1858 году, «О народном представительстве» — в 1866 году, а обширная «История политических учений» выходила по томам... как раз во время работы Толстого над «Анной Карениной» (Б. Эйхенбаум. Лев Толстой. М.; Л.: Гослитиздат, 1931. Кн. 4. С. 35—36).

Во взаимоотношениях Толстого и Чичерина ощущалось двойственное и резко противоречивое начало.

«Читал Чичерина ст(атью) о промышлен(ности) в Англии. Страшно интересно. С некоторого врем(ени) всякий вопрос для меня принимает громадные размеры. Много я обязан Чич(ерину). Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве я, кроме условий самого предмета и обстоятельства, невольно ищущу его место в вечном и бесконечном, в истории».

Такую запись делает Толстой в дневнике 20 марта 1858 года.

И в этот же самый период встречаются записи совсем другого рода: «Дома с Чичер(иным). Философия вся и его — враг жизни и поэзии. Чем справедливее, тем общее и тем холоднее, чем ложнее, тем слаще (?)». «Чичерин эллин, но хорош». «Один Чичер(ин). Страшно узок, зато силен». «Чичер(ин) не очень симп(атичен) и узок».

В переписке, всегда искренней и порою очень душевной, видны разногласия, в которых проявляются совершенно противоположные натуры. Б. Н. Чичерин не понимал своеобразие личности Толстого. Он заботился о том, чтобы развить эстетический вкус молодого романиста, но в весьма традиционном смысле: талантливый писатель должен создавать изящные произведения, а не тратить время на деревенских мальчишек в ясно-полянкой школе, не заниматься философскими вопросами, педагогикой,

тем более крестьянским трудом. И все самое дорогое и самое важное для Толстого считал потерей времени.

Толстой решительно, а иногда даже раздраженно отстаивал свой путь в литературе.

«Ты небрежно и ласково подаешь мне советы, как надобно развиваться художнику, как благотворно Итал(ия) действует, памятники, небо... и т. п. Избитые пошлости. Как вредно бездействие в деревне — халат, как мне надо жениться и писать милые повести и т. д. — Как ни мелка и ложна мне кажется твоя деятельность, я не подам тебе советов. Я знаю, что человек (то есть существо, которое живет свободно) в каждой вещи, в каждой мысли видит свое особенное, никем не видимое, и это только одно может привязать его до самопожертвования к делу», — пишет Толстой в письме 1 марта 1860 года.

Второе письмо, датированное 6/18 апреля 1861 года, не было отправлено Толстым: видимо, он счел его слишком резким. Но с этого времени переписка Толстого и Чичерина становится преимущественно деловой. Взаимоотношения Левина и Кознышева точно воспроизводят сущность отношений Толстого и Чичерина. Только Левин — не писатель, а просто помещик.

«Чичерин, неловко с ним», — писал Толстой 1 апреля 1858 года. «Левину было в деревне неловко с братом», — говорится в «Анне Карениной». Живая, деятельная, широкая натура Левина противопоставлена ученому книжнику Кознышеву, с его «методическим умом» и «узким» взглядом на вещи. И еще есть одна черта, сближающая Кознышева с его прототипом: Чичерина, как и Кознышева, мучил вопрос о плодотворности его ученой деятельности.

«...От многолетней своей деятельности я не видел осязательных плодов... — писал он в «Воспоминаниях», — ...книга выходила за книгою, не встречая ни отзыва, ни признательности. Я не замечал, чтобы высказанные мною, частью совершенно новые мысли были кем-нибудь усвоены или развиты».

Но на этом связь между Чичериным и Кознышевым и ограничивается. Бесхарактерность Кознышева, его оторванность от реальной жизни, его колебания не были свойственны Б. Н. Чичерину, более того, противоположны его натуре. Он был человеком волевым, твердым, прекрасно знавшим, чего он хочет, «сильным, упорным», по мнению самого Толстого.

Основательно ли предположение Эйхенбаума, что прототипами Сергея Ивановича Кознышева были не только Чичерин, но и Юрий Самарин? Мне кажется, что Самарин, энтузиаст практической общественно-политической деятельности, человек с деловым складом мысли, к тому же рьяный славянофил, не подходит ни для завершения, ни для истоков образа Кознышева. По складу мысли он ближе к Левину, к его стремлению отметить рассудочные формы, к его своеобразному практицизму. Это сказывается и в письмах Самарина, и в его публицистике. И сам Толстой воспринимал Самарина как человека ему созвучного.

У Кознышева был ряд других прототипов; в этом отношении сыграли свою роль Кавелин и даже Тургенев.

— *Существует различие отношение к проблеме изучения прототипов. Выказывалось мнение, что этот вопрос не очень существен для литературоведения. Вместе с тем поиски прототипов героев — очень живое, интересное и нужное дело, у которого много сторонников и среди ученых, и среди исследователей-литературоведов.*

— Необоснованное пренебрежение к вопросу о прототипах, который является частью более общей проблемы взаимоотношения писателя и изучаемой им действительности, шатко и коварно.

Вопрос о прототипах должен занимать в истории литературы свое подчиненное, второстепенное место, но ясность в этом вопросе совершенно необходима, и вспомогательное значение добытых в этом разрезе знаний по своему существенно.

— *Алексей Владимирович, удалось ли вам встречаться с другим своим знаменитым родственником — Георгием Васильевичем Чичериным?*

— В 1918 году, когда он только что приехал, я ходил в Наркоминдел, на Спиридоновку, чтобы посмотреть на него. Он, занятый и озабоченный, пробежал мимо меня, но я подойти к нему постеснялся. В 1920 году, вернувшись в Москву, став студентом, после долгих откладываний, я начал его разыскивать.

В какой-то весьма захудалой гостинице уборщица мне заявила, что Чичерина нет, что сюда он приходит спать только под утро, немного поспит и убегает к себе в наркомат. Только там он и принимает, а здесь у него не бывает никто. Я попытался объяснить, что я не иностранный дипломат, не посетитель — родственник...

— Все равно.

И действительно, до его тяжелой, смертельной болезни весьма редко кто-нибудь бывал в комнате, где он «жил», потому что на самом деле жил он в рабочем своем кабинете, да и комнату ему потом дали около кабинета.

Там, в «Метрополе», я был принят поздно вечером «в порядке живой очереди». Передо мною прошли какие-то люди в чалмах. Кабинет обширный и хорошо обставленный, через него был протянут плакат. На плакате рабочий класс приглашал т. Чичерина покруче разговаривать с буржуазией. Видно было, что человек здесь живет, даже корочки черного хлеба на краю стола.

У Анатолия Васильевича Луначарского кабинет в наркомате служил для приема посетителей, а где-то был другой, домашний, тихий кабинет — для размышлений и для работы. Здесь же все было вместе. Мне очень жаль, что в 20-е годы опасение быть навязчивым, отсутствие одинаковых интересов свели мое знакомство с Георгием Васильевичем к нескольким встречам, довольно беглым.

А потом общение стало уже невозможным: «...я вообще абсолютно никого не вижу, ни с кем не переписываюсь, никаких сношений ни с кем не имею, никаких дел не делаю, никому ничем помочь не могу, абсолютно изолирован, физическое состояние и нервное крайне тяжелое, полиневрит

все более мучителен, колит принял острые формы... Покой, покой, покой, ничего больше» (письмо к брату Николаю Васильевичу от 14 апреля 1930 года). Интересен документ, который оставил Георгий Васильевич в последние годы жизни, полно и глубоко отразивший внутреннюю работу его души.

В 1930 году тяжело больной, умирающий основатель советской дипломатии поставил перед собой вопросы, на которые, как бы подводя итог всей своей философско-эстетической жизни, дал исчерпывающие ответы. Хотя многое кажется неожиданным и странным в этих итоговых ответах, написанных рукою тяжело больного и нравственно глубоко страдавшего человека, в них и большая глубина жаждущего духа, и необычайный размах мысли.

Ответы приоткрывают внутренний облик этого необыкновенного скитальца. ореол чудака всегда окружал его. Говорили, что в 5 часов утра он входил в канцелярию и испытывал недоумение, даже негодование, видя, что сотрудники все куда-то разошлись.

— Известный музейный деятель Н. С. Моргунов в одной из своих статей о сохранении культурных ценностей в годы революции пишет: *«Прежде всего следует отметить большую работу, сделанную в усадьбе Караул... Здесь, как всем известно, был особенно разлит бандитизм...»* Вы были одним из тех, кто участвовал в спасении сокровищ Караула?

— В отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина хранится черновой набросок рукописной поэмы под названием «Странствия трех мушкетеров по Тамбовской губернии в 1919 году». Эта веселая поэма, вызывающая у меня до сих пор улыбку и приятные воспоминания, — своего рода документ, который имеет непосредственное отношение к истории советской культуры. Борис Николаевич Чичерин, страстный коллекционер, собрал в своем имении Караул множество миниатюр, старинных гравюр, изделий прикладного искусства, редких книг.

После революции Караул был взят под охрану Советского государства. Но летом 1919 года все наиболее ценное пришлось из имения срочно эвакуировать, так как в Кирсановском уезде, на территории которого располагалась дача Чичериных, вспыхнул контрреволюционный антоновский мятеж.

Все художественные ценности из усадьбы вывозили с опасностью для жизни московские эмиссары — так назывались сотрудники музейного отдела Наркомпроса, командированные для вывоза культурных ценностей.

Эмиссарами были два однофамильца — Алексей Васильевич и Николай Николаевич Лебедевы. Алексей Васильевич Лебедев — один из организаторов и руководителей созданного в мае 1918 года музейного отдела Наркомпроса и его коллеги, автор ряда прекрасных научных трудов, человек незаурядный, ярко одаренный. Тонкое знание изобразительного искусства сочеталось в нем с остроумием и талантом прирожденного стихотворца. Алексей Васильевич и был автором поэмы о похождениях в Карауле «трех мушкетеров»:

...Картин повсюду вереницы,
из золоченых старых рам
глядят внимательные лица
монахов, кавалеров, дам.

Вторым эмиссаром был «студент-техник», как записывал сам свою профессию Николай Николаевич Лебедев, молодой, легкий на подъем, активный участник сохранения художественных ценностей национализированных помещичьих усадеб.

А третьим «мушкетером» был я, в то время двадцатилетний инспектор Тамбовского губернского отдела народного образования, студент Московского университета. Эмиссары, прибывшие в Тамбов в начале июня 1919 года, прихватили меня с собой как сотоварища и гида. Мы и вывозили из Караула все самое ценное сначала в Тамбов, а затем в Москву.

— *Известна ли судьба спасенных ценностей?*

— Из спасенных в то время жемчужин Караула представляет большую ценность полотно «Аполлон наказывает Марсия» работы художника школы Веронезе. Оно теперь экспонируется в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В Тамбовской картинной галерее хранятся портрет Б. Н. Чичерина работы В. А. Серова, два полотна В. А. Тропинина — «Старуха с чулком» и портрет А. А. Санникова, «Плотина» и «Летний день» Л. Л. Каменева. В Тамбовском краеведческом музее хранятся портреты родителей Б. Н. Чичерина, созданные кистью хорошего знакомого Бориса Николаевича — художника В. О. Шервуда. В Тамбове же хранится и прекрасное собрание старых голландцев, фламандцев и многих других западноевропейских мастеров, приобретенных Б. Н. Чичериным. Здесь «Оплакивание Христа» Якопо Пальмы Младшего, «Портрет бургомистра Харлема» Питера Х. Назона, «Пейзаж с водопадом» и «Ущелье в горах» Сальватора Розы.

Великолепное собрание старинных гравюр Дюрера, Рембрандта, Остаде, Луки Лейденского, Бархема вошло в коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Тамбовской картинной галереи и Тамбовского краеведческого музея. В состав Библиотеки имени Ленина вошла тщательно собранная фундаментальная библиотека Чичериных, а в отделе рукописей хранится часть фамильного архива Чичериных.

— *Алексей Владимирович, занимаясь исследованиями старых рукописей, вы их специально разыскивали, коллекционировали?*

— Специально я не коллекционировал рукописи, они как-то сами попадали ко мне. В 1940 году в Костроме мне принесли рукописный сборник, писанный на бумаге с водяными знаками и датированный 1797 годом. В сборнике 288 страниц, содержащих в среднем по 1150 знаков.

При всем разнообразии сборник образовывал строгое единство. В него вошли: перевод письма Руссо к Вольтеру и перевод главы из Эмиля — «Исповедание веры г. наместника Савоярда», сочинение славного г. Ж. Ж. Руссо, глава из «Риторики» М. В. Ломоносова (в сборнике она выглядит как законченный философский трактат). Следующие произведе-

ния сборника — «Рассуждение о размножении душ» Феофана Прокоповича, перевод письма Фридриха II Прусского к Кейту и три анонимные философские статьи: «Письмо одного мусульманина к своему другу», «Зерцало безбожия» и «Рассуждение о душе». Сборник, названный по первому произведению «Письма русса» (название оттиснуто на корешке), критически остро, с разных точек зрения рассматривал различные философские вопросы.

Переписанный единообразным, но не одним и тем же и не типично писарским почерком, без завитков и прикрас, сборник принадлежал вологодскому купцу Михайле Свешникову. Это один из таких же любителей чтения, как и те, чьи имена вошли в довольно обширный «Каталог собрания рукописей Ф. И. Буслаева», составленный в 1897 году И. А. Бычковым. Среди таких любителей чтения встречаются и «купецкие сыновья», и «посадские люди», и «земских дел подьячий», и «копейист государственной юст-коллегии», и «дворовой человек», и даже «зимогородск ямщик». А за читателями стоят авторы, переводчики, редакторы, переписчики рукописных сборников. Все они усердно трудились, шлифуя и обогащая русский язык. С этой точки зрения сборник представляет интересный документ, позволяющий исследовать процессы формирования языка не в верхнем, чисто литературном, слое и не в самой гуще устной речи и частной переписки, а в том среднем слое, который до конца XVIII века имел исключительное значение и который еще очень мало изучен. На основе этого сборника можно показать некоторые процессы в жизни русского языка преимущественно 50—80-х годов XVIII века. Но это может быть только предварительный материал для обобщений, необходимо сравнение с более обширными фактами.

Сборник, в частности, интересен и с точки зрения проблем перевода, существовавших в то время. Основной переводчик Башилов в лексике убежденно придерживался принципов Сумарокова: это принцип национальной самостоятельности, смелого словообразования в духе родного языка и решительного ограждения его от варваризмов: «Творец (автор) дарует мысль, но не дарует слово». Эта система перевода определялась прежде всего потребностями читателя, с которым переводчик разговаривал на понятном ему языке. Соответствующие французские слова, например, на русский язык переводились как *ученость*, *склонность*, *сумасбродство*. Слова *эрудиция*, *характер*, *фанатизм* в переводах в то время еще не употребляли: читатель их не понял бы. Интересно, что в одном из случаев, когда переводчик сохранил французское слово *скептиком*, переписчик его не понял и отчетливо написал *снептиком*.

Постоянная борьба с варваризмами затрудняет перевод. Передавая непринужденные и ясные выражения Руссо, переводчик испытывал большие трудности, проявляя для их воплощения в русском языке большую изворотливость. Интересен был сам этот процесс: напряжение переводчика при передаче самых простых и живых философских выражений отражало узорную работу формирования русского философского языка.

— *Алексей Владимирович, многие годы вы преподаете в университете. Как начиналась эта деятельность?*

— В 1922 году, усердно закончив философское отделение филологического факультета, я пошел в Московский отдел народного образования, робко надеясь получить уроки логики или психологии. На лестнице мне встретился преподаватель подвижных игр в Институте детской дефективности — Сергей Григорьевич Розанов. Узнав, зачем я пришел, он, предварительно повозмущавшись: «Какая может быть логика? Какая психология?» — взял меня за руку и провел в следующую комнату. Там сидела лохматая девочка, больше никого. В ее присутствии Сергей Григорьевич вдохновенно и горячо рассказал мне значение художественного воспитания детей, сообщил, что в Москве создана такая школа, где в основу воспитания и обучения будет положено искусство. И тут же мне было сделано приглашение преподавать в этой школе русский язык и литературу. Директором, создателем школы и в то же время создателем и директором Детского театра была эта лохматая девочка, пристально поглядывавшая на меня из угла, — становившаяся уже знаменитой Наталья Ильинична Сац. Тогда ей было девятнадцать лет. В этой необыкновенной школе главный предмет назывался «Выражение музыки в движении». Преподавал сам директор — Н. И. Сац. Второй по важности предмет — драматизация. Ученики сами создавали основу пьесы, распределяли и разучивали роли и наполняли их жизнью. Какие из этого вырастали спектакли! Третьим по важности было изобразительное искусство. В эти годы многих захватило увлечение детским рисунком. И в нашей школе под руководством Георгия Павловича Гольца школьники расписали все, что только можно было расписать и в классах, и на чердаке, и на крыше. В моем ведении была мастерская слова. Школьники сочиняли повести и рассказы. Была еще работа «с ограниченным материалом»: давались несколько десятков глаголов, столько же существительных, прилагательных, добавлялись другие части речи, и из всего этого составлялось что-то звонкое и выразительное. Были у нас и обсуждения литературных произведений, и самостоятельные чтения литературы. Все прочие обязательные предметы тоже были с эстетической приправой. Как любили ученики свою ни на что не похожую школу! Прошло шестьдесят лет, и они продолжают по-прежнему любить ее. У меня хранятся письма моих первых учеников. Я их всех помню, умерших и живых, своих самых первых. Чудесную эту новаторскую школу в свое время вычеркнули, истребили. Сдали в архив идею творческой школы, где бы подростки начинали с того, что в своем поэтическом слове растили в себе творческое отношение к чужому зрелому слову, рисуя, учились постигать Рафаэля и Репина.

— *И все-таки жизнь подтверждает необходимость таких школ. В ряде городов возвращаются к идее создания эстетических школ для детей. В этих школах есть музыкальные и хореографические классы, классы изобразительного искусства, но нет мастерских слова. Вместо них обычные уроки литературы по школьной программе.*

— Живописное слово многое теряет. Литературу нужно постигать душой, самому участвовать в словотворчестве, держать в памяти все прекрасное, что создано классиками. Мало теперь читают вслух, почти не устраивают совместных чтений и обсуждают прочитанное вяло, без огня.

Но вот, читая Тургенева, вслушиваясь в звучание его строк, видишь создаваемые им образы. Они не то же самое, что в реальной жизни: поэтическое слово все пронизывает, всему придает сияние смысла. Вот при слабом ночном освещении показалась на балконе Лиза, «вся белая, легкая, стройная остановилась на пороге». Эпитетом *белая* раскрывается и душевная ее чистота, воспринимаемая в тот миг Лаврецким, и то, что она в белом платке. Эпитет *легкая* означает свежесть ее души, духовную необремененность, а также свободу: непринужденность ее движений. *Стройная* — это и тип ее фигуры, и внутренняя ее настороженность. Все эти три эпитета сочетают раскрытие душевного состояния Лизы в ту минуту с постоянной глубиной ее натуры.

В дискуссиях, совместных чтениях высекалась искра вдохновения и формировались художественные вкусы.

— *Под чьим влиянием формировались ваши эстетические вкусы?*

— Мои эстетические вкусы в годы перехода от отрочества к юности слагались под влиянием гравюр Дюрера, которые учили меня видеть непобедимую могучую силу и природы, и самого искусства, поэзии Блока, в которой было слово, трепетное и живое, как человеческое сердце, и... игры Алисы Георгиевны Коонен на сцене московского Камерного театра. Алиса Коонен создавала разного рода образы: исступленной Саломеи и нежной, глубоко страдающей Адриенны Лекуврер, бурно темпераментной героини драмы «Два мира» и сдержанно, глубоко страстной Сакунталы, веселой, кокетливой Жирофле... Главное же было в том сокровище, которое актриса пронесила через все свои роли: в ее философии человеческой личности, философии жизни и искусства. В ее игре всегда обнаруживалось огромное духовное могущество человека.

— *И наконец, такой вопрос: какой, по вашему мнению, должна быть настоящая библиотека?*

— Мне нравятся домашние беспорядочные библиотеки с неостывающими книгами. Я вспоминаю библиотеку моего давнего гимназического друга Макса — Максима Максимовича Кенинсберга. У него была теплая, живая библиотека, все книги в ней — читанные и читаемые. Покидая друга, я уносил с собою книги, и это означало продолжение приятной беседы с ним. И когда книги возвращались назад, мы подолгу обсуждали каждую из них, вместе читали запомнившиеся строки. Книги друга создавали вокруг него атмосферу, которая проникала в разум и в сердце, пробуждая множество вопросов. Еще не всегда находились ответы, художественный вкус начинал только-только устанавливаться, но уже срывались и неслись живые стрелки летучей энергии.

К сожалению, есть домашние библиотеки и другого типа — холодные систематизированные сборища нечитанных томов. Их владелец с гордостью говорит, что у него полностью подобраны многие серии. Томы

энциклопедий, важные, как дома богачей, теснят книги помельче. А малоформатные книги запряваны, чтобы не портить пейзажа, величественного и однообразного. Одинаково безразличны Марат и Сезанн, зато вся серия налицо!

В такой антибиблиотеке книга — уже не книга, а мебель. Отсюда вам неохотно дают книгу: нарушится гармония тщательно подобранных корешков. Неохотно и берешь такую книгу: она холодна, как лед. Не то что книга, взятая из теплой библиотеки, — она навсегда сохраняет тепло!

Юлий Кагарлицкий

УЭЛЛС В МОЕЙ ЖИЗНИ

Удивительно, какими неожиданными и странными путями мы приходим к тому, что составит потом главный предмет наших занятий!

Как всякого ребенка тридцатых годов, меня учили в школе немецкому языку, но мне очень хотелось прочитать несколько английских книг, стоявших у нас в шкафу. Одна из них и сейчас стоит у меня на полке, поражая дичайшей викторианской безвкусицей, но для детского восприятия она была на редкость красива. И я силком заставил свою мать урывками учить меня этому языку. Она его преподавала — сначала в нефтяном институте, потом в МГУ, — и ей совсем не хотелось, вернувшись домой, делать то же, что на работе. Но в конце концов свою первую английскую книжку я все-таки прочитал. Нет, это был не Уэллс, а «Робинзон Крузо». Потом, окрыленный успехом, я принялся за филдинговского «Тома Джонса» и, к ужасу своему, ничего в нем не понял. Пришлось возвращаться к адаптированной серии, помогавшей мне на первых порах, и тут-то мне и попался Уэллс. Правда, никак не фантаст. Но понравился он мне от этого ничуть не меньше. Это был юмористический рассказ «Каникулы мистера Ледбеттера», и я как сейчас помню превосходную обложку этой брошюрки, на которой был изображен симпатичный и глупый очкастый школьный учитель, решивший окунуться в мир приключений. Было мне тогда лет одиннадцать-двенадцать, и то, что Уэллс — знаменитый фантаст, я просто не знал, как, впрочем, не знал и вообще о существовании западной фантастики. Конечно, и «Пятнадцатилетнего капитана», и «Детей капитана Гранта», и «Таинственный остров» я прочитал, но Жюль Верн казался мне просто приключенческим писателем, только похуже Дюма, а «Восемьдесят тысяч лье под водой» (роман, до сих пор убежден, скучнейший) вообще на долгое время прекратил мои с ним отношения. Кстати, прочитав в шестнадцатом выпуске «Альманаха библиофила» статью О. Н. Трубачева «Книга в моей жизни», я убедился, что был не одинок в своем восприятии Жюль Верна как «приключенца», а не фантаста. И в самом деле: может ли ребенок двадцатого века счесть за фантастику рассказ о плавании на подводной лодке или полете на воздушном шаре? Это не значит, конечно, что к фантастике я относился плохо. «Гиперболоид инженера Гарина» печатался тогда в «Пионерской правде», «Человека-амфибию» и «Голову профессора Доуэля» (более популярных среди мальчишек книг я просто не помню) я не без труда, но достал, а вот про Уэллса-фантаста до некоторых пор просто слыхом не слыхивал.

И вдруг мне в руки попала гослитовская «Фантастика» Уэллса с предисловием А. Старцева. Это было второе (1936) издание, вышедшее через год после первого, от меня ускользнувшего, но я не решаюсь точно сказать, когда именно я его прочел. Думаю, через год или два. Вообще это издание сыграло очень большую роль в истории «русского Уэллса». Уэллса много издавали в двадцатые годы, но затем наступил перерыв в шесть лет,

и для людей моего возраста он заново возник лишь во второй половине тридцатых годов. В этом «старцевском», как я его до сих пор называю, издании были «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров», повесть «Страна слепых» и множество рассказов. Что со мной случилось, когда я прочел эту книгу! Какое-то время я ни о чем другом не мог думать и принялся доставать Уэллса, где только удавалось, так что, когда много позже я взял его темой курсовой работы, я был к ней, по тогдашним стандартам, неплохо уже подготовлен. А еще через сколько-то лет мне предложили в Гослитиздате написать крошечное, без подписи (подпись потом все-таки поставили) предисловие к «Человеку-невидимке». Я обратился за разрешением к Старцеву. «А я Уэллсом давно уже не занимаюсь», — сказал он. Помнится, меня это донельзя удивило. Как можно?!

Так вошел в мою жизнь — на этот раз в мою литературную жизнь — Герберт Уэллс.

Впрочем, я бы не стал разделять эти понятия. Писать о ком-то, по-моему, нельзя, не сделав этого автора в известном смысле частью себя самого — может быть, даже не всегда самой приятной. Так и с Уэллсом. В чем-то мне удалось его полюбить, в чем-то — только узнать. Мои недостатки он, во всяком случае, не компенсировал. И тем не менее я уверен: мне на роду было написано заниматься именно Уэллсом. Меня привлекает в нем огромный масштаб мышления, определенность суждений и одновременно — юмористическая жилка, понимание людей и невозможная в каждом случае простота. Он — писатель без фокусов. Ему важно не себя показать, а пробиться к сознанию как можно большего числа читателей и заставить их задуматься о самом существенном в себе и других и о человечестве в целом. Этим-то он меня и притягивал. И чем дальше, тем больше.

В занятиях литературой есть еще одна особенность. Всякая новая работа, если хочешь, чтобы она получилась, должна как-то вытекать из предыдущей. Иногда эти взаимозависимости бывают очень сложными. Для меня они на первых порах оказались очень простыми. Пятидесятые — шестидесятые годы были периодом большого подъема фантастики — сначала в США, потом у нас, но писали о ней немного. В Америке, правда, появилось уже несколько книг о научной фантастике, но они находились на совершенно детском уровне (с тех пор с литературоведческими работами о фантастике в США стало много лучше, да вот беда — с самой фантастикой хуже). Мне и захотелось заполнить этот вакуум. Сначала — для себя самого. В 1960 году я закончил книгу об Уэллсе (три года спустя ее даже издали) и убедился, что о фантастике как таковой знаю явно недостаточно. Я решил написать статью «Что такое фантастика?». К моему удивлению, она оказалась никому не нужна. Пришлось писать книгу. Сейчас она издана в ГДР, Польше, Чехословакии, Венгрии (главами), Испании, но это — лишь малая компенсация за все, чего я тогда натерпелся. Выяснилось, что людей, которые знают, что такое фантастика, — великое множество и каждый из них требовал, чтоб я изложил его точку зрения. А я держался своей. Кончилось дело тем, что тогдаш-

ний заведующий редакцией литературоведения Гослитиздата явился в техническую редакцию, где лежала уже готовая рукопись, вынул и унес куда-то последнюю главу. Она была уже к этому времени напечатана в «Вопросах литературы» и переведена в США, но это делу никак не помогло. Может быть, даже наоборот. Но поскольку всякий пишущий может рассказать подобных историй во множестве, довольно об этом. Расскажу лучше о книгах.

Пословица «На ловца и зверь бежит» оправдалась в этом отношении самым буквальным образом. Едва я начал в МГУ заниматься Уэллсом, Александр Абрамович Аникст, в те времена молодой доцент, любимым занятием которого было рыться на полках букинистических магазинов, сообщил мне, что в одном из них продается «Опыт автобиографии» Уэллса; не имея его под рукой, я потом потратил бы куда больше труда на свою книжку о нем. С тех пор разные издания Уэллса чуть ли не сами стали прыгать ко мне на полку. Я никогда не ставил себе специальной целью собрать полную уэллсовскую библиотеку, да скоро понял, что это и невозможно. Самая полная (хотя, как я недавно узнал, не исчерпывающая) коллекция уэллсовских книг и литературы о нем, собранная в публичных библиотеках Бромли — города, где он родился, — содержала, согласно каталогу 1974 года, 1296 названий. Сейчас их значительно больше. Русская библиография, составленная И. М. Левидовой и Б. М. Парчевской, указывает 867 названий. Но эта библиография кончается 1965 годом, следующий же год, юбилейный (сто лет со дня рождения Уэллса), принес такой обильный урожай, да и потом было столько издано, что легко понять, сколько в этой библиографии не хватает. Переиздать ее в дополненном виде было бы сейчас очень полезно. И, в известном смысле, поучительно: за пределами англоязычного мира Уэллса нигде в таком количестве не издавали и столько о нем не писали, как у нас. Нетрудно понять поэтому, сколь многого у меня недостает. Но зато некоторые книги, счастливым обладателем которых я стал, обозначают для меня вехи в русском познании Уэллса. Прежде всего это, конечно, первый том первого завершеного русского собрания сочинений Уэллса, выпущенного издательством «Шиповник» в 1907—1917 годах с очень интересной вступительной статьей и под редакцией В. Г. Тана, и тома из зифовского «Полного собрания фантастических романов» под редакцией М. Зенкевича. С Михаилом Александровичем я потом познакомился, и впечатление он на меня произвел совершенно очаровательное. Он был человек удивительно интеллигентный и доброжелательный.

Вообще, Уэллс свел меня с немалым числом очень интересных людей.

Как-то, когда я вернулся из Ленинской библиотеки, жена встретила меня на пороге словами: «Ты знаешь, твою книгу издают в Англии». Происходило это в 1965 году, других книг у меня тогда не было, и я, как легко понять, без труда догадался, что речь идет об Уэллсе. Как выяснилось впоследствии, это вообще была первая монография об английском писателе, написанная иностранцем, которую англичане издали, и, разумеется,

это не могло не сказаться на моей дальнейшей судьбе. Думаю, и премией «Пилигрим», которую мне дали потом в США, я обязан в первую очередь именно этому обстоятельству. Но вот что странно — тогда это сообщение не произвело на меня особого впечатления. Приятно, конечно, но к текущим-то моим делам какое это имеет отношение? А уж дальнейшие слова жены и вовсе меня огорчили. Как выяснилось, приехала переводчица и уже назначила мне время для встречи — завтра, в десять часов утра. А у меня недочитанные книги! Но адрес, который мне показала жена, привел меня в некоторое смущение. Да это же особняк Горького! И зовут переводчицу Мария Игнатьевна. Сейчас уже не могу припомнить, каким путем, но я пришел к заключению, что речь идет о Марии Игнатьевне Закревской, которой посвящен «Клим Самгин», она же — баронесса Будберг, она же — Мура Будберг, многолетний секретарь Горького, помогавшая Уэллсу во время его второго приезда в Москву (он очень тепло писал о ней в «России во мгле»), и последняя его любовь. Сейчас я, разумеется, знаю о Марии Игнатьевне гораздо больше, чем тогда, — частью из книг, частью благодаря изысканиям эстонского литературоведа, писателя и поэта О. В. Крууса, которыми он со мной поделился, и, само собой, из многих с ней разговоров в Москве, куда она все время наезжала, и в Лондоне, где постоянно жила, — но и в то утро, когда я вошел в квартиру на верхнем этаже Дома-музея Горького, я был исполнен живейшего любопытства. За столом, вокруг которого могли бы разместиться полторы дюжины гостей, завтракали две очень уже немолодые женщины. Мне тоже предложили перекусить и тоже выпить рюмашечку. Что я там ел — не помню, что пил — помню отлично. В этом доме (не знаю, может быть, лишь при Марии Игнатьевне) экзотических напитков не пили — только водку, экзотических сигарет и папирос не курили — один «Беломор»...

Мария Игнатьевна была женщиной крупной, грузной, но при этом держалась так прямо, двигалась так легко (даже потом, когда взяла в руки палку), была исполнена такой простоты и непринужденного достоинства, что словно бы и не прошло сорока лет с тех пор, как в нее — тоненькую, молоденькую — влюблялись с первого взгляда. По-английски она говорила с ужасающим акцентом, но зато так свободно, точно и остроумно, что, наверное, ее собеседники-англичане начинали сомневаться, правильно ли говорят они сами. Как она разговаривала на других языках, не знаю, наверное, точно так же, но разговаривала она на *всех* европейских языках. Включая русский. Увы, о родном ее языке тоже приходится упоминать. В памяти современников сохранилось немало интереснейших ее фраз. Я запомнил только одну: «У вас сейчас происходит дурная погода», но с тех самых пор исполнен сомнения: а может быть, так и полагается говорить. Книгу мою она перевела превосходно. Я не раз слышал, как восхищались этим переводом. Но вот цитаты мои из Уэллса она, вероятно ради экономии времени, в книгах не посмотрела, а сама и перевела. Неплохо. Жаль только, что у Уэллса — иначе.

В Лондоне она жила на богатой Кромвел-роуд, в доме со швейцаром, в большой квартире, но вдоль стен стояли грубо сколоченные и

явно по дешевке заказанные книжные полки (я на них без труда обнаружил издания, в которые она не заглянула, когда меня переводила), и общество ее составляла полубезумная компаньонка, за которой она заботливо ухаживала. Никогда не забуду, как мы переходили однажды эту самую Кромвел-роуд. Я хотел дождаться красного света. Но Мария Игнатьевна взглянула на меня с удивлением, подняла палку и пошла через улицу. И машины остановились!

Ее вообще почему-то все слушались. Мой лондонский издатель пытался меня обмануть. «Он немедленно перед вами извинится», — сказала Мария Игнатьевна. Так и случилось.

В чем тут дело? Думаю, прежде всего в абсолютном своеобразии личности, доставившей ей даже в Англии, стране, столь богатой людьми своеобразными, широчайшую известность, и в не меньшей независимости взглядов, суждений, поступков. Однажды я ее спросил, почему она перевела книжку никому не известного литератора — после своих переводов из Горького и других классиков. «А она мне понравилась», — ответила она. Я уже знал к этому времени о полном безразличии Марии Игнатьевны ко всяким там литературоведческим концепциям и поинтересовался, чем же книга ее прельстила. «А вы написали ее так, словно были знакомы с Уэллсом». Исчерпывающим ответом я бы это никак не назвал, но, ей-богу, большего комплимента я в жизни не получал... В том же, что книгу, ею переведенную, сразу напечатают, она, видимо, нисколько не сомневалась.

В последние годы Мария Игнатьевна много болела. Дважды она ложилась на серьезные операции, но работать не переставала и в больнице. Конечно, она могла себе позволить отдельную палату в частной клинике, но денег на ветер бросать не любила и ложилась в городскую больницу. Нисколько от этого, кстати говоря, не страдая. Об одном таком случае она рассказала нам так: «Берет сестра мои вещи и ведет меня в общую палату. Проходим мы одну пустую одиночную палату, другую, третью. Я ее спрашиваю: «А это что за палаты? Мне ведь надо работать». Она мнется, не отвечает. «Душка, — говорю я ей, — что это все-таки за палаты?» Она смутилась, говорит: «Это для умирающих». «Вот и прекрасно, — говорю я ей, — это как раз для меня», — вхожу в одну из этих палат, она несет за мной мои вещи...»

Когда ей стало совсем плохо, журналист Бернард Левин потихоньку сговорился с «Таймс» и заранее заготовил некролог, но кому-то проболтался, и Мария Игнатьевна, разумеется, сразу про это узнала — Лондон ведь «город маленький». Мария Игнатьевна страшно возмутилась, позвонила Левину и велела ему немедленно к ней прийти. «И некролог свой захватить не забудь». Это, собственно, и было главной ее целью: некролог она тщательно отредактировала и отдала обратно — «пусть пока полежит». Редактором она, впрочем, оказалась совсем не придиричивым. В тексте, ею отредактированном, сохранилась, например, такая фраза: «На ее приемах можно было встретить людей блестящих и знаменитых, а рядом с ними — никому неизвестных зануд». Цитирую я, правда, по памяти

(текст ксерокопии с тех пор почернел, и в нем сейчас не разобрать ни слова), но, надеюсь, достаточно точно: фраза эта так выразительна, что ее не забыть. Должен признаться еще в одной вольности: медсестру она, конечно, назвала по-английски *darling* — «дорогая моя», но по-русски она всех молодых женщин называла «душка», и никак иначе. Слово это из лексикона начала века не всегда, может быть, точно характеризовало женщину, к которой было обращено, но зато удивительно вписывалось в манеру речи Марии Игнатьевны.

Ни до ни после я не встречал людей с такой мерой независимости. Уэллс рассказывал, как он после девятилетнего перерыва встретил ее в Берлине, явно голодную, чуть ли не оборванную, — но держалась она все с тем же достоинством. Вскоре он предложил ей выйти за него замуж — и она отказалась! Они уже давно были близки, он был богат и находился на вершине славы. Из всех английских писателей, за исключением Шоу, никто не мог с ним в этот момент соперничать. Его общества искали люди, руководившие общественным мнением во всем мире и возглавлявшие государства, не говоря уже о великом обилии женщин. А она отказалась! Трудно передать, как он был обижен. Но поврать с ней до самой смерти не мог.

И при этом видимо безразличии к тому, что о ней подумают, как к ней отнесутся, она умела удивительно быть приятной и поведение свое контролировала очень точно. Как это уживалось все вместе, не знаю, но уживалось.

Последний раз мы видели Марию Игнатьевну в 1973 году, за год до смерти. У нас переменялся телефон, она появилась в нашем доме неожиданно, меня не было, и я на другой день поехал к ней в гостиницу. Она лежала в постели, глаза у нее слезились, голос был старушечьим, и все-таки оставалась в ней какая-то твердость. Умерла она в Италии, у своего сына Пауля, восьмидесяти двух лет от роду. Уже потом в Лондоне, когда я сидел в гостях у русистки Аманды Колверт, нашей приятельницы, туда пришла со мной познакомиться дочь Марии Игнатьевны Татьяна Ивановна Александер. Разговаривали мы с ней по-русски.

Но пора хоть ненадолго вернуться к началу этой истории. Книжку мою отослала Марии Игнатьевне Екатерина Павловна Пешкова (объяснила она мне это точно так же, как Мария Игнатьевна: «...понравилась»), и Уэллс таким образом доставил мне знакомство еще и с этой замечательной женщиной. В Москве и сейчас полно людей, которые знали ее гораздо лучше меня, и не мне подробно о ней рассказывать. Скажу только несколько слов. В год ее смерти я последний раз ей позвонил и поздравил с Новым годом, и она не сразу меня вспомнила. Но как она при этом извинялась, как объясняла, что вообще стала последнее время забывать людей, с которыми знакома не слишком давно!

Про фантастику говорят, что она в чем-то сродни приключениям. В справедливости этих слов я убедился на собственном опыте. Во всяком случае, благодаря моим занятиям Уэллсом, а потом и другими фантастами начались главные приключения моей жизни.

Писательские приключения — особые. Это встречи с новыми людьми и жизненный опыт, благодаря этим встречам приобретаемый, это встречи с новыми городами и впечатления, без которых ты сам был бы немногим иным, это книги, которые в других обстоятельствах не были бы написаны.

В 1966 году, как я уже говорил, праздновалось столетие со дня рождения Уэллса. Меня пригласили на юбилей. Опыта заграничных поездок у меня не было тогда никакого, я верил, что все мероприятия, отмеченные в программе, состоятся (с моим участием), и заранее радовался каждому из них. Особенно мне хотелось попасть в дом Уэллса Спейд Хаус, куда я не попал, опоздавши с приездом, но все равно, покидая Лондон, я понимал, что большего количества впечатлений в меня просто бы не вместились.

В Лондон я летел через Париж, но в город меня не впустили. Прилетел я утром, мой лондонский рейс был вечерним, и я решил его поменять. Девчонки из «Эр Франс», однако, не пожелали мною заниматься: у них были какие-то свои дела, с которых они тараторили без умолку. Я покорно присел на лавочку, но понял, что долго так не высижу. Я уже закипал. И тут я увидел английского летчика. «Помогите мне выбраться из этой проклятой страны!» — чуть не закричал я ему. В какой восторг я его привел! Его стюардесса (он оказался командиром корабля) подошла к тем же самым девчонкам, и они мгновенно поменяли мне билет на его самолет, летевший, кстати говоря, чуть ли не пустым; я прошествовал к трапу рядом с каким-то толстым английским командированным, тащившим, отдуваясь, две полные сумки французской еды, а когда мы поднялись в воздух, мой летчик вышел ко мне со словами: «Ну как, чувствуешь себя как дома на борту английского самолета?» В руках он держал два бокала виски, мы сказали друг другу «привет» и выпили.

В те времена полеты над городом не были еще запрещены, мы заходили на посадку через лондонские окраины, и город этот сразу меня поразил: какое-то бескрайнее море крыш...

И все-таки на другой день, когда я проснулся ранним воскресным утром, я понял, что в Лондоне, каким я увидел его по дороге из аэропорта Хитроу и за минувшие полдня, мне чего-то не хватает. Я вышел из гостиницы и поехал куда-то, сам не знаю куда, в первом же, наверно, вышедшем из парка автобусе, болтая по дороге с кондуктором. От служебных дел я его не отвлекал: других пассажиров не было. И вдруг я понял: вот сюда-то мне и надо. Мы пожали друг другу руки, и я остался один на старинном мосту. Первое, что я увидел, — высеченное на камне объявление: «Отправлять естественные надобности с моста запрещается. За нарушение штраф». Судя по состоянию камня, за те полтора-два — двести лет, что он простоял, никто его не почистил, но никто на него и не покусился. Потом я прошел на маленькое заброшенное кладбище во дворе церкви, а совсем рядом был полицейский участок с закрытыми ставнями — воскресенье! На доске объявлений висели призыв к жителям района опекать выпущенных на свободу преступников и просьбы самих жителей. Один просил помочь ему сыскать потерянную кошку по кличке

Киска, другой — собаку по кличке Собака. Конечно же, это был диккенсовский Лондон! Под мостом, через который я перешел, хоть разок, а переночевал Сэм Уэллер в те времена, когда Тони Уэллер определил его в надежнейшую из школ — школу жизни, в этот участок, конечно, таскали Сайкса, на этом кладбище наверняка похоронен маленький Пол... Из ворот участка тихонько выехал полицейский в черном комбинезоне, но и он не нарушил иллюзию: он был как две капли воды похож на одного из двух мотоциклистов-спутников Смерти из фильма Кокто «Орфей»...

И вдруг я вспомнил, что Уэллс родился за четыре года до смерти Дикенса, а Диккенс умер, даже по моим тогдашним представлениям, достаточно молодым. Этот диккенсовский Лондон был и уэллсовским. Во всяком случае, он принадлежал к тем временам, когда Уэллс написал свои самые знаменитые фантастические романы. Таким он застал этот мир. Но виделся он ему уже совершенно иным. И, по глубокому его убеждению, он скоро и должен был таким именно стать, больше похожим на мир, куда воображаемый. Свое первое путешествие Диккенс совершил одиннадцатилетним ребенком в почтовой карете — железным дорогам суждено было появиться два года спустя, начало им положила в 1825 году крохотная линия между Стоктоном и Дарлингтоном протяженностью в двадцать миль. Газеты тогда обсуждали вопрос, не вредна ли для здоровья поездка с такими невообразимыми скоростями. Потом, конечно, сеть железных дорог быстро покрыла страну, газетные споры подобного рода прекратились, но Диккенс «чугунку» не любил, героев своего «Пиквикского клуба» отправил в путешествие в каретах (не для того ли он отнес действие этого романа, написанного в 1836 году, к 1827 году?), и поезд прогрохочет в «Домби и сыне» под окнами дома лишь для того, чтобы под него бросился Каркер. Уэллс о поезде как чуде века думал не больше, чем мы сейчас, мечтал о самолетах и скоро на них летал, мечтал о космических полетах и до полета Гагарина не дождал какие-то полтора десятилетия, уже в 1913 году предостерегал против атомной войны. Но он ходил по тем же, мало изменившимся со времен Дикенса, улицам, общался с людьми, пришедшими из старых времен, и тот динамичный мир, в который он юношей вступил, был ему самому немного в диковинку. Он говорил о нем то с восторгом, то с ужасом, но всякий раз со свежестью чувств, которая доступна лишь тому, кто увидел что-то совершенно новое. Да и так ли уместно здесь слово «увидел»? Черты будущего были еще расплывчаты, аналогии с прошлым ненадежны. Они не бывают надежны, когда предвидится какой-то огромный переворот. А Уэллс его-то как раз и предвидел. Он многое предугадал по малейшим намекам. Он не был единственным. Но не удивительно ли это для мальчика из провинциальной мещанской семьи, да к тому же столь явно пришедшего из прошлого века?

Впрочем, Уэллс был из тех, кто умеет нужду обращать в добродетель. То, что грозило ему приземленностью, обычно обращалось у него в человечность. Меня отвращают романы и фильмы, где изображены не-

кие отвлеченные «люди будущего» с просящимися в пародию именами. Наверное, это потому, что я читался Уэллса. Конечно, он и сам разок другой поддался подобному искушению, но не потому ли он ненавидел свои фильмы, где это выразилось сильнее всего! В хороших его вещах необычное случается с самыми обыкновенными людьми. Конечно, с людьми не без странностей. Но кто знает, какие странности были у тех, кто лежит сейчас вот на этом кладбище?

Не стану утверждать, что все эти мысли пришли мне в голову среди могил на церковном дворе близ полицейского участка в каком-то богом забытом лондонском закоулке, но атмосфера, которую я тогда вдохнул, думаю, не могла со временем меня на них не навести.

Вообще, если б я потом больше не попал в Лондон, я считал бы, что время своей первой поездки потратил самым бессмысленным образом. Я не посетил ни одного из положенных туристских объектов, за исключением разве Тауэра (но у меня был к нему совсем особый интерес, связанный с моими занятиями), не видел даже смены караула у Букингемского дворца. Вместо этого я все свободные часы просто шатался по городу, разглядывая улицы, названия которых были знакомы с детства, разговаривал с папами и мамами, гулявшими с детьми в Кензингтонском парке у памятника Питеру Пэну, всматривался во всякие мелочи, пытаясь понять, что такое лондонская повседневность. Мне удалось даже провести вечер и утро в рабочем районе, и мне в тот момент заменило все британские музеи на свете зрелище того, как заскакивают в свой «паб» местные работяги, хлопают по заднице хозяйку, опрокидывают по маленькой, чтоб веселей начинать рабочий день, закусывают куском пирога и бегут себе дальше...

Конечно, этих свободных часов было не слишком много — я все-таки приехал на «мероприятие», вернее, на целую серию мероприятий, и не всюду мне удавалось быть просто зрителем. Как ни странно, легче всего мне далось выступление по телевидению, хотя опыта у меня в этом отношении не было тогда никакого. Нас с Марией Игнатьевной и еще одним журналистом, выступавшим с нами, так мило приняли, что я почувствовал себя как дома, да и разговор оказался очень простой — меня попросили рассказать о пятнадцатитомном Собрании сочинений Уэллса, которое я за два года до того редактировал. Из вопросов и объявлений ведущего я понял, что оно произвело в Англии очень большое впечатление. В год юбилея, после долгого перерыва, в Англии было опубликовано более двадцати книг Уэллса, но все равно о таком предприятии, которое было в 1964 году осилено в Москве, никто не мог и помыслить. Впрочем, уэллсовский бум 1966 года тоже говорил за себя, и я, помню, выразил удовольствие, что слава Уэллса, распространяясь по миру, достигла, наконец, Лондона. Все посмеялись, и я совсем успокоился: шутки здесь, вроде бы, понимают.

Выступление в международном ПЕН-клубе далось мне много труднее. Перед поездкой я обещал в «Литературной газете» дать подробный отчет об этом уэллсовском заседании (потом, разумеется, потребовалась

совсем другая статья), и все время, пока выступали, минут по пять — десять, английские писатели, чуть ли не в полном составе съехавшиеся на этот вечер, я сидел и старательно записывал, что они говорили. И чем дальше, тем больше приходил в ужас: я все вернее убеждался, что моя речь, предусмотрительно заготовленная в Москве, никак не вписывается в происходящее. Все здесь было как-то очень по-своему, в манере, одним англичанам, наверно, присущей, — сразу и очень запросто, вроде бы совсем неофициально, и очень по делу. Почти обязательно с каким-нибудь занятным поворотом мысли, но и без лишних слов. И ко всему прочему — незнакомая аудитория. Я уже работал к тому времени несколько лет в ГИТИСе, а до этого и в других местах, так что некоторый лекторский опыт у меня был, но единственное, что он мне в тот момент подсказывал, это, что будет трудно. Я чувствовал себя еще хуже, чем когда начинал новый курс в калмыцкой студии. Они меня не знают, я их не знаю. Особенно меня подавлял Пристли. Он вел заседание, и у него были все повадки великого человека. Я понимал, что нормальному человеку трудно пережить тот обвал славы, который обрушился на него в годы войны, когда его голос по радио изо дня в день поддерживал веру и надежду в миллионах англичан, но одно дело понимать, а другое — видеть. Перед заседанием нас познакомили. Он дал мне минутку полюбоваться на себя, сказал, что да-да, в Москве он тоже был, хорошо принимали, и куда-то исчез. Я не успел даже заметить, как это случилось. Потом, много лет спустя, я с искренним чувством написал статью к девяностолетию со дня его рождения: я очень хорошо представлял себе, как тяжело должен был такой человек пережить крах своей театральной карьеры после прихода в 1956 году «рассерженных», но тогда я почему-то об этом не думал и только с возрастающим нетерпением — чтоб не томиться больше — ждал, когда он меня объявит. Наконец этот момент наступил. Пристли сказал несколько слов, сделал величественно-снихождительный жест в мою сторону, и я вышел на трибуну. Я глянул в зал, увидел перед собой человек триста английских писателей — все — писатели, все — английские, все пишут на своем родном языке — и понял, что спасения ждать неоткуда, надеяться приходится на себя самого. Выручило то, что я не стал подделываться под их манеру: все равно бы не получилось, и начал просто с ними разговаривать, ожидая момента, когда между нами протянутся какие-то человеческие нити. И вот кто-то посмотрел на меня повнимательней, кто-то улыбнулся, значит, можно было переходить к делу. Московский текст все-таки пригодился: я, во всяком случае, не думал, о чем дальше сказать. Говорил я дольше положенного, но меня дослушали, даже похлопали, и я достаточно твердым шагом дошел до своего места в первом ряду, где сидели все выступающие. Но когда я попробовал записать речь следующего оратора, то обнаружил, что не понимаю ни слова...

К счастью, заседание скоро закончилось. Все стали понемногу подниматься и переходить в соседний зал, где был накрыт банкетный стол. Я пока с места не двинулся. И тут ко мне подошел молодой огром-

ный парень (мы потом выяснили, что он на год старше меня) и сказал: «Здравствуй, Юлий! Я — Брайан Олдис. Ты знаешь — я писал про тебя!» Да, я знал, что Олдис написал одну из рецензий на мою книжку, и притом очень умную и доброжелательную. «Спасибо, Брайан, — сказал я, — но я, кажется, разучился говорить по-английски». «Ничего, пойдем выпьем, заговоришь». В самом деле, я скоро заговорил...

Олдис был тогда начинающим писателем (кстати говоря, свою лучшую книгу он тогда-то и написал), на литературные заработки существовать не мог, работал в газете, придерживался очень левых взглядов и жил в деревне в трехкомнатном доме под соломенной крышей. Я побывал у него в гостях. В деревню мы почему-то въехали на самой малой скорости, и у каждого домика стоял и чем-то занимался его хозяин. Потом Брайан мне объяснил, что соседи специально просили показать им русского.

Сейчас Олдис живет в большом доме в Оксфорде. В Бодлеянской библиотеке, как называют библиотеку Оксфордского университета по имени ее основателя сэра Томаса Бодлея (1545—1613), существует постоянная выставка его книг, он — признанный стилист, что достаточно редко можно сказать про писателя-фантаста, и, кажется, он перестал, наконец, жалеть, что у него нет университетского образования. Зато тем чаще вспоминает, наверно, что начинал приказчиком в книжной лавке. Он меня в эту лавку специально возил.

Имя Уэллса еще раз возникло потом перед нами обоими. Об этом случае стоит специально рассказать.

Году, если не ошибаюсь, в 1970-м Мария Игнатьевна попросила меня помочь Норману Маккензи, работавшему прежде в лейбористском еженедельнике «Нью стейтсмен», и его жене Джинни. Они решили написать книгу об Уэллсе. Я охотно откликнулся, и мы вступили с супругами Маккензи в оживленную переписку. Переписка оборвалась в тот самый момент, когда авторы, чья дотошность мне очень нравилась, получили от меня все сведения, в которых нуждались. Книгу свою они мне, разумеется, не прислали: она, как-никак, стоила около шести фунтов. Я получил ее из журнала «Лейбор мансли», редактором которого был тогда Палм Датт, с просьбой написать на нее рецензию. И месяц примерно спустя после того, как я рецензию отослал, я получил от Олдиса ксерокопию его собственной рецензии на ту же самую книгу. Называлась эта заметка не очень, я бы сказал, для газеты привычно — «Как варил котелок у одного человека» и помещена была в «Оксфорд мейл» (14 июня 1973 года), где Олдис когда-то работал редактором. И там (честное слово, мы не стоваривались!) было написано почти то же, что я написал для «Лейбор мансли»! Олдис тоже отдавал должное обилию материалов, собранных в маккензиевском «Путешественнике по времени» (1973), и тоже просил читателя вспомнить, что Уэллс был не только человеком со сложной, запутанной и не во всех мелочах похвальной биографией, но и чем-то большим, чего авторы не сумели ни понять, ни по достоинству оценить. Кончалась рецензия Олдиса так: «У Герберта Уэллса было много недо-

статков, но это факт, что его присутствие в нашем мире сделало жизнь лучше для миллионов людей по всему свету. Сегодня нет никого, кто бы походил на него, со всеми нашими Маршалами Маккланами, Артурами Кларками, Германами Канами и Уильямами Голдингами». Вместе с ксерокопией я получил и письмо, где говорилось примерно то же самое, но в испарламентарных выражениях. Думаю, супругам Маккензи письмо это понравилось бы еще меньше рецензии. А также и многим фантастам, в рецензии не упомянутым.

Но пора вернуться к уэллсовскому юбилею 1966 года.

В этот раз случилось то, о чем я раньше не смел и мечтать, — я побывал в Бромли, городе, где родился Уэллс. Я сел в поезд на одном из лондонских вокзалов и отправился в путь. Но хотя я старательно смотрел в окно, я не заметил, где кончился Лондон и начался Бромли. Жители по-прежнему считают его отдельным городом, но административно он уже вошел в состав Большого Лондона и официально именуется «лондонский боро Бромли». Переводить слово «боро» просто как «район» было бы не совсем точно. Это историческое понятие, связанное с правом посылать депутата в парламент, нечто вроде избирательного округа, или, скажем, самоуправляющейся административной единицы, но дело, в конце концов, не в административных понятиях. Бромли, хотя его не отделяет ныне от Лондона даже узкая полоска полей, до сих пор все же отдельный город со своим центром, своей хозяйственной жизнью и, главное, своим самосознанием. Город старательно хранит память о прошлом, и ему есть что вспомнить. Здесь родились Уильям Питт и Герберт Уэллс, долго жил Кропоткин, неподалеку находилось имение Дарвина. Но Бромли растет стремительно. Это не только Лондон достиг Бромли, но и Бромли — Лондона. В нем уже больше трехсот тысяч жителей. Прошлое нуждается сейчас в специальной заботе, и если дом Кропоткина по-прежнему в целостности и сохранности, то жалкая лавчонка, в которой вырос Уэллс (словно смеха ради она называлась «Дом Атласа»), да и соседние лавки давно разрушены. Ушла в прошлое Большая улица с прижавшимися друг к другу домиками, исчез великолепный мясник, сфотографировавшийся некогда около развешанных на улице туш, погибла приспособленная под классную комнату судомойня, в которой проходил курс наук восьмилетний Уэллс. Удивительное совпадение: и дом Уэллсов, и вся эта улица разрушены в 1934-м, в тот самый год, когда Уэллс на обратном пути из Москвы, в Калли-ярве (Эстония) завершил два тома своей автобиографии. Дом и улица словно перешли на бумагу, сделались достоянием литературы, и им уже незачем было существовать в действительности. На их месте был построен большой новый дом с магазином; в 1959 году на его стене появилась мемориальная доска. К юбилею в его витринах устроили выставку мод времен детства Уэллса.

В том месте, где была дверь, лежат оставшиеся от Уэллсов ключи — большие, почти амбарные, на огромном кольце. Такие ключи плохо умещались в кармане, их, должно быть, носили у пояса и с внушительным клацающим отрывали дверь маленького, приземистого домика.

Впрочем, если не точный вид, то во всяком случае дух Большой улицы Уэллс запечатлел еще раньше, задолго до того, как ему могла даже прийти в голову мысль, что он будет писать, а сотни тысяч людей читать «Опыт автобиографии», — в своих произведениях о мещанском быте. Прославился он тогда «Киппсом», но лучшая его вещь подобного рода — это, по-моему, все-таки «История мистера Полли». Сам Уэллс, во всяком случае, любил этот роман больше всего. Ему он пытался потом подражать в «Билби», и повесть получилась совсем неплохая, но, как он считал, уровня «Мистера Полли» он уже не достиг.

В Бромли мне довелось познакомиться с совершенно замечательным человеком — мистером Уоткинсом, директором бромлейских публичных библиотек. Это он водил меня по городу и показывал его достопримечательности. А потом мы пришли с ним в бромлейский муниципалитет, часть которого представляла в эти дни особый интерес: в нескольких залах с 15 сентября по 1 октября демонстрировалась выставка, посвященная столетию со дня рождения Уэллса.

Выставка эта была так хороша, с таким знанием дела и любовью подобрана, что о ней стоит рассказать поподробней. Открывалась она всеми доступными на сегодняшний день фотографиями той части города, где жил Уэллс, и мест, которые он любил посещать. Для людей, только что пришедших с бромлейских улиц, словно бы открывался старый Бромли с какими-то сходными чертами и при этом во всей своей непохожести. Тут же висели фотографии всего семейства Уэллсов — аккуратной, чопорной матери писателя, прожившей часть жизни в услужении у господ, а часть — в вожделенной независимости, которая неожиданно оказалась сопряжена с бедностью, по временам — ужасающей, его братьев и, что показалось мне всего интереснее: его отца, в прошлом младшего садовника в том же поместье, где служила камеристкой, а потом домоправительницей его будущая жена, затем неудачливого торговца посудой и профессионального игрока в крикет, необычайно популярного в своей округе. Этот человек совсем не походил на мелкого лавочника. Лицо у него было правильное, можно даже сказать красивое, взгляд прямой, твердый и просветленный. Так вот кто впервые прославил имя Уэллсов — пусть не в литературе и не в пределах целой страны, как его сын и внук, Джим из «Волшебной лавки», как-то вдруг превратившийся в профессора зоологии и члена Королевского общества. Да и разве не он, когда его маленький сын Герберт (тогда еще Берти) сломал ногу, заваливал его библиотечными книгами о путешествиях, животном мире, истории, биографиями великих людей? Книги эти предназначались для взрослых, но мальчик проглатывал их одну за другой. Эти месяцы он считал впоследствии поворотными в своем умственном развитии. А потом Уэллс покидал семейный стенд и проходил фотографиями через всю выставку, каждые несколько метров — сперва взрослея, затем старея и становясь все более и более грустным. Его настроение соответствовало моему. Мне почему-то всегда грустно смотреть на череду фотографий сначала ребенка, потом старика — даже когда этот старик успел уже добиться такой меры успеха, как

Герберт Уэллс. И может быть, особенно грустно, когда речь идет о таком человеке, как Герберт Уэллс. Ведь Уэллс не просто хотел оставить свой след в мире. Он мечтал изменить этот мир. Так ли это ему удалось?

Оружием Уэллса было слово. Не только печатное. Он много выступал на всякого рода собраниях и политических митингах, особенно в 1922 и 1923 годах, когда безуспешно пытался пройти в парламент; ездил с лекциями по родной стране и за границей, излагая свои идеи о переустройстве общества и ликвидации угрозы войны, и одним из самых интересных экспонатов оказались представленные Би-Би-Си записи выступлений Уэллса. Не того, конечно, периода, когда он только начинал свою карьеру оратора и, по воспоминаниям современников, от смущения «адресовался по преимуществу к своему галстуку», — в те времена звукозапись была достаточно сложна, а Уэллс недостаточно известен. Посетителям проигрывали запись его диспута с Бертраном Расселом, относящегося к концу тридцатых годов. Но и здесь Уэллс, увы, явно не отвечал тому идеалу, который сам для себя создал. Да и слишком велик был этот идеал. Когда Уэллс кончал свою журналистскую карьеру, ему предложили однажды место театрального критика, о котором он хлопотал уже достаточно давно. Теперь ему это было не очень нужно — на подходе была «Машина времени», — но он с готовностью принял это предложение и чуть ли не первый раз в жизни пошел в театр. Там он увидел высокого рыжего ирландца, в котором сразу признал Бернарда Шоу, подошел к нему, познакомился и потом дружил и ссорился с ним всю жизнь. Шоу и был на протяжении десятилетий лучшим непарламентским оратором Англии. Как хотелось Уэллсу в этом отношении походить на него! И как он был от этого далек! Особенно остро он это чувствовал, когда сталкивался на каком-нибудь публичном диспуте непосредственно с Шоу. Это кончалось для него полным конфузом. И, слушая запись голоса Уэллса, я отчасти понял, почему так получалось. Уэллс просто, что называется, не был рожден оратором. Голос у него был тонкий, манера речи чересчур возбужденной, да к тому же — после стольких-то лет успеха! — довольно простонародная.

Уэллс по-настоящему был силен в писаном слове. И разумеется, большая часть выставки была отведена его книгам. Точнее — тому, что он написал, ибо за перо он, оказывается, взялся еще ребенком, и посетители могли увидеть его детские сочинения. И очень много детских рисунков. А потом и сделанных во взрослом возрасте. Уэллс рисовал всю жизнь, притом в очень своеобразной манере. Этими своими смешными «рисунками», как он их называл, он часто заканчивал письма, а иногда даже их ими и заменял, оставляя внизу место для одной только строчки. Есть у Уэллса и целая книга с собственными иллюстрациями, даже большая, хотя только лишь по формату. Это коротенькая детская сказка «Приключения Томми» — о мальчике, который спас из воды одного спесивого богача, и тот подарил ему слона. Она у меня есть, и я с удовольствием ее время от времени разглядываю.

Думается, на этой выставке многие впервые узнали, что Уэллс в молодости писал и философские работы. Одна из них, единственная его опубликованная философская статья «Новое открытие единичного», касающаяся вопроса о детерминизме и свободе воли, была представлена на выставке. Когда она мне впоследствии понадобилась, я понял, как труднодоступна она за эти годы стала.

Уэллс начинал с журналистики, но специальные исследования по этому вопросу тогда только-только начали появляться. В 1964 году вышла превосходная книга молодого американского профессора Уоррена Уэйгера «Г. Дж. Уэллс. Журнализм и пророчество», но и в ней ранней журналистике Уэллса было уделено очень мало внимания — литературоведов и тогда и теперь больше интересует, что другие журналисты писали об Уэллсе, чем что писал молодой журналист Уэллс. В 1962 году в Норвегии появилась очень академически добротная книга Ингвальда Ракнема «Уэллс и его критики», в 1972 году в Англии и США — антология Патрика Парриндера «Г. Дж. Уэллс. Критическое наследие». Уэйгер и Парриндер мне свои книги прислали, Ракнема я тоже где-то достал, но воспользоваться по-настоящему этими книгами для своей не успел — добавил кое-что в итальянское издание 1972 года, но можно было бы сделать все это серьезнее. Я не считаю, что лучшая работа о том или ином иностранном писателе обязательно должна появиться в стране, где он жил. Наше литературоведение, по-моему, методологически гораздо серьезнее западного. Но отрицательные стороны своей географической отдаленности от мест, где жил Уэллс, я тоже не мог не заметить. Я, например, до 1966 года в руки не брал «Журнал научных школ», который Уэллс основал еще будучи студентом. А стоило бы. Правда, некоторым извинением мне служит то, что английские литературоведы тоже достаточно долго не проявляли к нему ни малейшего интереса. Но когда Бернард Бергонци, готовя свою книгу «Ранний Уэллс» (1961), его просмотрел, он обнаружил в нем, помимо статей и заметок, еще два художественных произведения Уэллса: «Рассказ о XX веке» и «Аргонавты хроноса» — незаконченную повесть, кладущую начало всему раннему циклу научно-фантастических романов Уэллса. Сам Уэллс ее стыдился и предпринял попытку уничтожить все экземпляры номера, где она была напечатана, но не преуспел, и мы вправе рассматривать это как подарок судьбы: благодаря его упущению гораздо лучше, чем прежде, представляем себе его «писательскую кухню». Бергонци обе эти вещи опубликовал в качестве приложения к своей книге, и теперь они напечатаны и по-русски — «Аргонавты хроноса» (под заглавием «Аргонавты времени») в № 9 журнала «Дон» за 1964 год, «Рассказ о XX веке» в «Литературной газете» (12 февр. 1963 года) и в первом томе пятнадцатитомного Собрания сочинений (1964). Но как интересно мне было взять в собственные руки то, о чем я знал только от других! Не могу объяснить, почему, но увидеть первое издание какой-нибудь книги — это не совсем то, что увидеть перепечатки. Особенно когда речь идет о журнальных публикациях. Листая журнал, понимаешь, в каком окружении эта вещь появилась. Она «привязывается ко времени». В какой-то мере,

может быть, это относится и к отдельным изданиям: оформление тоже ведь о чем-то говорит.

В этом смысле выставка была для меня источником не просто интереса, но, я бы даже сказал, радости. Я чувствовал себя как никогда приобщенным к Уэллсу. Здесь были практически все первые издания книг Уэллса и книги, в которых он так или иначе принимал участие. Их число достаточно велико: Уэллс считал своим долгом помогать молодым авторам, а лучший вид помощи видел в том, чтобы писать предисловия к их книгам. Увы, эти предисловия остались чем-то вроде акта благотворительности, не более; ни одного значительного литературного имени Уэллс не открыл. И тем не менее эти «проходные» вещи тоже являли особый характер этой выставки. Она оказывалась чем-то гораздо большим, нежели просто собранием книг. Это было нечто вроде музея Уэллса. Музея, где он представлен был самым главным — своим творчеством.

Посетителям раздавались крохотные буклетики. Я знал, сколько трудов вложил в устройство выставки мистер Уоткинс, и удивился, не увидев его имени в перечне тех, кого благодарили за помощь. Мистер же Уоткинс, в свою очередь, удивился моему вопросу: он ведь муниципальный служащий, это его обязанность, и не может же он, в конце концов, сам себя благодарить!

Был он уже тогда человеком не первой молодости, утомил я его за эти полдня основательно, и за обедом он чуть ли не засыпал, хотя в общем-то подобная опасность ему не грозила: тут же были два внука, за которыми он присматривал. Все эти годы я продолжаю с ним переписываться, прежде всего по делам Уэллсовского общества. Но не только. В одном из последних писем он поинтересовался, помню ли я еще йоркширский пирог, которым меня в тот день угощали. Его жена считает, что он никогда еще так ей не удавался.

Последние письма мистера Уоткинса были и самыми для меня интересными. Он рассказывал, как оживился в последнее время интерес к Уэллсу. Нет, никаких радостных событий, вроде тогдашнего столетия со дня рождения, не произошло. Скорее печальные. Умер младший сын Уэллса, кинематографист, работавший еще с Александром Кордой, но не слишком преуспевший в своей профессии. Потом за ним последовал его старший брат, зоолог. Умерла «дама» (звание, соответствующее для женщин званию «рыцаря», дающему право именоваться «сэр») Реббека Уэст, известная в свое время писательница и журналистка, родившая Уэллсу сына Энтони, тоже писателя, хотя и не унаследовавшего талантов своих родителей...

С Реббекой Уэст я не познакомился. Насколько помню, в дни юбилея ее просто не было в Лондоне. Уэллса-академика и Уэллса-кинематографиста встретил на большом юбилейном приеме, устроенном Обществом писателей. Первый был очень похож на отца, хотя, как мне говорили, был лишен и доли его обаяния. Но во всяком случае, при первом же взгляде на него никаких сомнений в том, что этот человек в жизни преуспел, и очень, возникнуть не могло. Второй, напротив, был образцом

застенчивости. Он сунул мне руку, минуту постоял, глядя в пол, пробормотал весь положенный набор вежливых фраз и куда-то заспешил.

Прием Общества писателей был устроен в помещении лондонского планетария. Поначалу он походил на великосветский раут. Дамы в вечерних туалетах, мужчины, одетые к торжественному случаю, вдоль стен — столы с напитками и какими-то умопомрачительными закусками, веселое оживление среди присутствующих, обмен улыбками, рукопожатиями, любезностями... Но то ли натура у меня такая прозаическая, то ли я не рожден для высшего света, но меня во всем этом больше всего заинтересовало то, что относится к совершеннейшей повседневности. Кто, например, эти не то чтоб очень уж взрослые девушки, стоящие за праздничными столами? Выяснилось — писательские дочки. И все это роскошество — самодеятельность. Все приготовлено в семьях, потом сюда принесено и здесь разложено. Это, признаться, и показалось мне самым симпатичным. В писательских семьях слуг ведь теперь не держат. И в деньгах не купаются...

Все это происходило в фойе. Постепенно шум начал стихать, и мы повернулись к лестничной площадке, от которой широкие ступени вели в зал планетария. На площадке стоял Уэллс — восковая фигура из расположенного по соседству музея мадам Тиссо. Сейчас он вернулся в запасник, но в те дни стоял в зале, оттуда прямо его и принесли. И вот рядом с Уэллсом начали одна за другой возникать фигуры ораторов. Уэллс был маленького роста, и музей ему — как, впрочем, никогда никому другому — не польстил. Но не хотел бы я так вот стоять с ним рядом!

А потом, один за другим проходя мимо Уэллса, мы поднялись к звездным мирам в зале над нами. Нам показали в этот день самую обычную программу, но от этого все сделалось только значительней и интересней. Мы слушали об Уэллсе, Гагарине, Гленне, о будущих полетах к далеким галактикам, и было радостно знать, что этот именно текст слышат изо дня в день тысячи жителей Лондона и других городов — приезжих в английской столице бывает в день до миллиона.

Самый известный фильм, снятый по сценарию Уэллса, назывался «Облик грядущего» (сценарий его, кстати, дважды публиковался в русском переводе). Уэллсовский вечер в Международном ПЕН-клубе, о котором я немного раньше говорил, назывался «Облик прошедшего». Но это название вполне соответствовало и увиденному нами в этот вечер...

Я уже успел пожаловаться, что не попал в Спейд Хаус — дом, в котором Уэллс прожил много лет. Но два дома, к которым он имел отношение, я в тот приезд все-таки посетил. Первый из них — Глиб Хаус. В нем и находится Международный ПЕН-клуб. Уэллс был его председателем с 1933 по 1936 год, заняв этот пост после смерти Голсуорси. Другой не имеет названия. Он, в нарушение всех английских традиций, как мне тогда показалось, обозначается просто адресом — ХанOVER Террэс, 13. Там Уэллс провел последние одиннадцать лет своей жизни, там и умер. Дом этот он очень любил. И мне, конечно, очень хотелось его увидеть.

Когда это случилось, я понял все-таки, почему дом никак не называется. Сразу расшифровалось для меня и название улицы. Дом Уэллса оказался никаким не домом, а просто одним подъездом длинного красивого дома, расположенного на высоком холме. Улица пролегала где-то внизу, а вдоль всего дома шла большая каменная терраса.

На этой террасе и собрался митинг, посвященный открытию мемориальной доски. Она появилась на стене этого дома 21 сентября 1966 года — большой металлический овал, покрытый синей эмалью: «Здесь жил и умер писатель Герберт Джордж Уэллс (1866—1946)». Только этой надписью эта доска и отличалась от всех других мемориальных досок, установленных в Лондоне. Они в этом городе подчинены установленному стандарту. Среди великих людей посмертно устанавливается некое равенство. Но в этот день и час мы думали именно о человеке, который жил здесь, за этими дверями. О нем, открывая доску, произнес превосходную речь Чарлз Сноу.

Да, это был не дом, а всего только подъезд. Но Герберт Уэллс, во всяком случае, заставил свой подъезд выделяться среди других. Ему достался тринадцатый номер, и эту цифру он написал фосфором слева от дверей — такую большую, какая только могла уместиться; она и горела ночами высоко над улицей. Новый хозяин замазал зловещую цифру, а заодно, не подумав, и фрески, нарисованные Уэллсом во дворе, на стене сарая, и долго, до 21 сентября 1966 года, стоял дом, ничем не отличаясь от остальных...

Я сейчас нечаянно сказал «дом», но, пожалуй, все-таки не оговорился. Потому что, когда после митинга гостеприимно распахнулись двери за спиной Сноу и новые хозяева пригласили нас всех в гости, я увидел, что это действительно целый дом — просторный, светлый, с красивой лестницей, ведущей на второй этаж. Какая разница, стоит дом отдельно или пристроен к полутора дюжинам других?

«Южный Кензингтон», как по месторасположению называли педагогический факультет Лондонского университета, который в свое время окончил Уэллс, я увидел уже в другой свой приезд. Здание стоит неподалеку от естественно-научного музея, и это не случайно — факультет был создан специально для того, чтобы поднять уровень преподавания естественных наук в английской школе, и назывался поначалу, в подражание знаменитой парижской Нормальной школе, Нормальной школой науки. Потом его переименовали в Имперский колледж науки. Некоторая неопределенность названия (наука вообще) объяснялась достаточно просто: этот факультет готовил учителей широкого профиля. Срок обучения был три года, причем год был отведен биологии, год физике и астрономии и год минералогии. Для человека с таким широким кругом интересов, как Уэллс, в этом были свои преимущества, да вот беда: его собственный план занятий, включавший социологию, искусство и литературу, не совпал с академическим, и в конце третьего года он не сумел сдать экзаменов и был отчислен. Звание бакалавра он, в отличие от большинства своих однокашников, получил только спустя три года, и эта ранняя неудача

мучила его всю жизнь. Уэллс всегда завидовал своим друзьям, достигшим высоких степеней и отличий в науке, забывая, что сам он как-никак — великий писатель. Когда в 1936 году Лондонский университет присвоил ему звание доктора литературы, он отнесся к этому более чем равнодушно, — это ведь не означало, что он входит в элиту ученых-естественников. Он болезненно пережил свой прежний провал: его не избрали ректором Глазговского университета, о чем он очень старался. Произошло это еще в 1922 году, но звание доктора литературы, присвоенное четырнадцать лет спустя, никак его не утешало. Он к этому времени уже шесть лет как был автором огромной популярной (но при этом и вполне самостоятельной по концепции, и очень достоверной по материалу) книги «Наука жизни», написанной при помощи двух признанных биологов: своего сына и внука своего учителя Томаса Хаксли — Джулиана Хаксли. Но и эта работа по общей биологии, нашедшая широкое распространение, не принесла ему научных лавров, и свой реванш он взял лишь за три года до смерти: в 1943 году Лондонский университет присвоил ему звание доктора биологии за работу, специально для этой цели написанную.

Сейчас я стоял и смотрел на здание, с которым было связано столько надежд и разочарований Уэллса. Сюда он пришел, окрыленный мечтами о великой научной карьере. Здесь он провел год, который, по его собственным словам, значил больше любого другого года его жизни: он слушал на первом курсе лекции Томаса Хаксли в том самом зале, где совсем недавно преподавал сам Чарлз Дарвин. Здесь он, незаметно для самого себя, сформировался как личность, занявшая потом такое заметное место в мире. И здесь же он голодал, мучился больным самолюбием, замечая (или воображая), что студенты из интеллигентных и обеспеченных семей не признают его за равню, здесь познал крах ранних надежд.

Здание было из красного кирпича, характерного для викторианской готики, но оно оказалось гораздо оригинальнее и красивее, чем я ожидал, — с белыми колоннами, поддерживающими стрельчатые аркады у входа, квадратными эркерами по бокам, белой баллюстрадой вдоль верхнего этажа, украшенной спереди колоннами, а с торцов чем-то совсем уж затейливым, и небольшими, но очень соразмерными с целым башенками по бокам. На человека, приехавшего из захолустья, да и в Лондоне обитавшего первое время почти что в трущобах, это здание должно было произвести немалое впечатление. На противоположной стороне улицы в стеклянной будке была выставлена легковая машина девятисотых годов, и весь этот уголок довольно в тот час безлюдный, выглядел как запovedник.

Внутри меня не пустили: уже шла волна терроризма, в вагонах метро висели предупреждения: «Увидев оставленный без присмотра предмет, не касайтесь его и сразу же сообщите поездной бригаде или полиции». Даже у входа в Британский музей (а тем самым и в столь нужную мне библиотеку) два не первой молодости веселых охранника просматривали сумки и определяли наметанным глазом, не топорщится ли у кого карман. В Британке, как я скоро стал называть для себя Британскую библиотеку.

меня подобные предосторожности не касались: пронизательные старички скоро поверили, что взрывать музей не входит в число моих первоочередных дел, да и не с руки, а может, просто неловко было им каждый день обыскивать человека, с которым уже и о погоде успели поговорить, и о ценах, и о жизни вообще. Но столь же бодрый старик у входа в «Южный Кензингтон» был не из таких. Чувство долга у него было огромное, оно заменяло ему все на свете. Студент по имени Герберт Джордж Уэллс, он знал точно, в списках не числится, профессор Хаксли, если такой и есть, работает, наверно, в каком-то другом месте, узнать всегда можно в ректорате, но это не здесь, в другой части Лондона. Может дать адрес... Так я и ушел, испытывая разочарование, но отнюдь не какие-либо недобрые чувства по отношению к этому старику в некоем подобии униформы; во-первых, его для того и поставили, чтобы не пускать, ибо специально для того, чтобы пускать, никто еще никого никуда не ставил, а во-вторых, он конечно же разглядел во мне «проклятого иностранца» — одного из тех, от кого все беды. Во всяком случае зал, где в числе двадцати других студентов низкорослый, исхудалый и обшарпанный юноша в целлулоидовом воротничке слушал некогда лекции ученика и друга Дарвина Томаса Хаксли, я не осмотрел. Зато, как легко понять, простоял какое-то время у двери, где единственный раз в жизни Уэллс непосредственно общался с Хаксли. Увидев, что его повседневными заботами. Многие писатели пробивались к самостоятельному творчеству, изучая своих великих предшественников. С Уэллсом дело обстояло иначе. Литературным откровением для него была книга очень милого, но и достаточно незначительного (исключение составляет только «Питер Пэн») писателя Джеймса Барри «Когда человек один». С Барри он потом подружился — Барри вообще со всеми дружил и всем нравился, — но особого интереса к нему не испытывал, да испытывать и не мог: они были люди разного масштаба личности, дарова-

Я перешел на другую сторону улицы, оценил во всех подробностях автомобиль в стеклянной будке (красивые тогда делали автомобили!), глянул еще раз на здание напротив и отправился восвояси. Можно было, конечно, обратиться за содействием в Британский совет, но я и без того успел им надоесть со своими делами.

Когда в 1987 году я вознамерился все-таки осмотреть Имперский колледж, мне показали прекрасное новое здание на той же улице. Старое здание давно уже отдали естественно-научному музею.

Ну а первое мое свидание с «Южным Кензингтоном» происходило в 1976 году, и моя неудача была тем обиднее, что к тому времени — через тринадцать лет после выхода книжки и будучи уже автором многих других работ об Уэллсе — я начал понимать, как мало о нем знаю.

В «Опыте автобиографии» Уэллс рассказывает, почему ему так трудно было сформироваться как писателю. Он привык думать о законах, управляющих миром, и никак не мог приблизиться к отдельно взятому человеку с его повседневными заботами. Многие писатели пробивались к самостоятельному творчеству, изучая своих великих предшественников. С Уэллсом дело обстояло иначе. Литературным откровением для него была книга очень милого, но и достаточно незначительного (исключение составляет только «Питер Пэн») писателя Джеймса Барри «Когда человек один». С Барри он потом подружился — Барри вообще со всеми дружил и всем нравился, — но особого интереса к нему не испытывал, да испытывать и не мог: они были люди разного масштаба личности, дарова-

ния, мысли. Друзьями Уэллса были Шоу, Генри Джеймс, Беннет, Гиссинг, Голсуорси, а предтечами своими он считал Свифта, Томаса Мора, Кампанеллу, Диккенса. И вдруг — Джеймс Барри! Но Барри он был благодарен необычайно: тот научил его писать о мелочах!

Для литературоведа эта история, наверно, куда поучительнее, чем для писателя. Мы ведь живем концепциями. И поневоле отстраняемся от человека, который дал нам материал для этих концепций. А это не только несправедливо. Это, боюсь, обедняет сами концепции. Ибо литература — дело очень личное, я бы сказал, интимное, и как бы ни велико оказалось впоследствии общественное значение того или иного произведения, оно никогда бы не возникло, не пройдя через душу и ум человека, его создавшего. Оно выражает всю его органику. И проникнуть в нее совершенно необходимо.

В какой-то момент передо мной и встал этот проклятый вопрос: насколько это мне удалось. Мне, казалось, винить себя особенно не в чем. Я никогда не писал о том или ином авторе, отстраняясь от него как от личности. Об этом я уже говорил. Но до какой степени я сумел понять эту личность? Скажем, того же Уэллса, которым занимаюсь всю жизнь?

Уэллс в этом смысле представляет особую трудность. Он сам был концептуалистом. Он ничего не написал «просто так». Он всегда мечтал внушить людям свой взгляд на жизнь и всегда требовал от них определенной линии поведения. Это писатель сугубо тенденциозный. Так что в отношении Уэллса опасность, о которой шла речь, возрастает до ни с чем не сравнимых размеров. Но тем более важным становится ее преодолеть. Ибо этот «концептуалист» был в известном смысле субъективнее лирического поэта. Про него нельзя сказать, что он не сумел достичь должной отстраненности от материала. Он просто никогда к ней не стремился, он ее ненавидел. Работы натуралистов, в том числе и горячо им любимого как человека Гиссинга, вызывали в нем дикое раздражение. Он, по существу, всегда «писал о себе», и, когда учитель русского языка его детей С. С. Котлянский, имевший отношение к издательскому делу, навел его на мысль написать свою автобиографию, Уэллс за это предложение сразу же с энтузиазмом ухватился: здесь он нашел самый прямой выход своим писательским амбициям. Только странная это получилась автобиография. Дописана она была (в том варианте, который мы до сих пор знали) в 1934 году, но события жизни Уэллса сообщались лишь до 1900 года. Весь почти второй том был посвящен изложению его идей и его взглядов на жизнь. Но это тоже была неотъемлемая часть автобиографии. Это было то, чем Уэллс жил и что, следовательно, составляло часть его личности.

Здесь уместно вспомнить слова Писарева о Генрихе Гейне. Гейне, говорил Писарев, всегда писал только о себе, но нам интересно все знать о таком человеке, как Гейне. С Уэллсом все и так и не так: он писал о себе, даже когда писал о чем-то весьма отвлеченном. Такой уж это был писатель.

В книгах Уэллса порою встречаются очень похожие эпизоды. Объясняется это отнюдь не тем, что он, как принято говорить, «списывал

у себя самого», — просто у всех этих близких сцен был какой-то общий реальный источник, от которого Уэллс, что называется, не мог отделаться: то или иное жизненное впечатление все время возвращалось к нему, и ему казалось, что он все никак не сумел передать его до конца. Так и с идеями. Они, конечно, модифицируются на протяжении его жизни, те или иные их стороны выходят на передний план или прячутся в тень, но идеи эти в целом — одни и те же. Если начать формулировать их не с социологической, а с чисто писательской стороны, то главную из них можно определить как страх перед растратой человеческих жизней. Нет, не времени, а именно жизней в целом. То, что осталось от детства, отрочества и юности — боязнь не осуществиться как личность, остаться прозябать на задворках жизни, — понять легче всего и легче всего передать в привычных литературных терминах. Это ведь не новая тема, и, когда Горький задумал свою «Историю молодого человека XIX столетия», перед ним не возникло трудностей в нахождении материала. Жизненный успех — кто к нему не стремился? Но тема эта не оставляет ни Уэллса, ни его героев, когда жизненный успех уже давно достигнут. Перейдя в другой социальный слой, общаясь с самыми значительными литературными и общественными фигурами, живя богато и расточительно, Уэллс продолжал мучиться тем же самым, и крупный капиталист Вильям Клиссольд, герой его сравнительно позднего романа «Мир Вильяма Клиссольда», такой же «alter ego» автора, как и герои его «приказчицких» романов. Он, кстати, и писал те и другие романы попеременно. Потому что успех ничего еще во внутренней жизни героев Уэллса не определяет — разве что увеличивает их меру ответственности перед человечеством.


В Уэллсе была одна удивительно трогательная черта — верность учителю. Он не просто возносил всю жизнь хвалу Томасу Хаксли, он раз и навсегда проникся его идеями. Человек сумел выжить перед лицом природы лишь как общественное существо, доказывал Хаксли. «Коллективизм» Хаксли восходил к самым истокам человечества. Таков же был «коллективизм» Уэллса, заставивший его с равным рвением написать популярное введение в биологию «Наука жизни» и популярнейший в свое время (он вышел тиражом в два миллиона экземпляров) очерк истории человечества от самых его доисторических начал, даже раньше — от формирования нашей планеты. Именно *человечества*. Писать историю отдельных стран уже казалось Уэллсу уступкой национализму. Человеческая жизнь, по мнению Уэллса, и должна быть отдана служению человечеству. Сумел ты ему послужить, значит, прожил свою жизнь не зря. Социальные теории, в которые облеклся этот общий взгляд на мир, в творчестве Уэллса варьировались — от идей весьма радикальных до весьма и весьма умеренных — в духе правого крыла социал-демократии.

Впрочем, рассказать о идеях, которыми руководствовался тот или иной человек, еще не значит рассказать о самом человеке. Последнее, в общем-то, гораздо сложнее. Но за истекшие годы задача эта значительно упростилась. До 1984 года все знали, что Уэллс написал свою двухтомную автобиографию. И вдруг выяснилось, что написал он не два, а три

ИЗ ФАКСИМИЛЬНЫХ РАБОТ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«КНИГА»

ЛИС. 7
1917. XI. 8. (X. 26)

**СОВѢТ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ**

201102

**ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪѢЗД СОВѢТОВ РАБО-
ЧИХ СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕ-
ПУТАТОВ**

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Образовать для управленія страной, впредь, до созыва Учредительнаго Собранія, временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет именоваться **СОВѢТОМ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ**. Завѣдываніе отдельными отраслями государственной жизни поручается комиссиям, состав которых должен обезпечить проведеніе вниз провозглашенной Съездом программы, въ тѣсном единеніи с массовыми организациями рабочих, работниц, матросов, солдат, крестьян и служащих. Правительственная власть принадлежит коллегіи предсѣдателей этих комиссій, т. е. **Совѣту Народных Комиссаров**. Контроль над дѣятельностью народных комиссаров и право смѣщенія их принадлежит Всероссийскому Съѣзду Совѣтов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов и его Центр. Исполнит. Комит. В настоящій Момент Совѣт. Народных Комиссаров составляется из слѣдующих лиц:

Предсѣдатель Совѣта **Владимир Ульяновъ** (Ленин)

Народный Комиссар по внутренним дѣлам. **А. И. Рыков.**

Землѣдѣлія **В. П. Милютин.**

Труда **А. Г. Шляпников.**

По дѣлам военным и морским комитет в состав: **В. А. Авсѣнко, Антонов, Н. В. Крыленко, Ф. М. Дыбенко.**

По дѣлам торговли и промышленности **В. П. Ногин.**

Народнаго просвѣщенія **А. В. Луначарскій**

Финансов **И. И. Скворцов.** (Степанов.)

По дѣлам иностранным **Л. Д. Бронштейн** (Троцкй).

Юстиціи **Р. И. Оппоков** (Ломов).

По дѣлам продовольствія **И. А. Теодорович.**

Почт и телеграфов **Н. П. Авшлов** (Глѣбов).

Предсѣдателем по дѣлам національностей **І. В. Джугашвили** (Сталин).

Пост народнаго Комиссара по дѣлам желѣзнодорожным временно остается незамѣненным.



Разносчикъ посуды
Le vendeur de la vaisselle
Der Verkäufer von Fischgerath

Разносчик посуды
(«Волшебный фонарь».
1988)



Мясникъ.
Un boucher.
Ein Metzger.

Мясник
(«Волшебный фонарь».
1988)



Колонисты
(«Волшебный фонарь».
1988)

Слышавъ же по шгъ рязански како гра
дениъ князь великий побѣдиъ во ма
маева паки начавъ плакати зъблості
за сѣгоде мнѣ грѣшномъ и шпѣпниѣ
ктерѣ хрѣтоуы . ѿ по пользѣхъа что си
дѣо безболіномъ црго приеміноу ѿвѣта
града своѣго рязані іповѣте ко ѿвѣдлітоуо



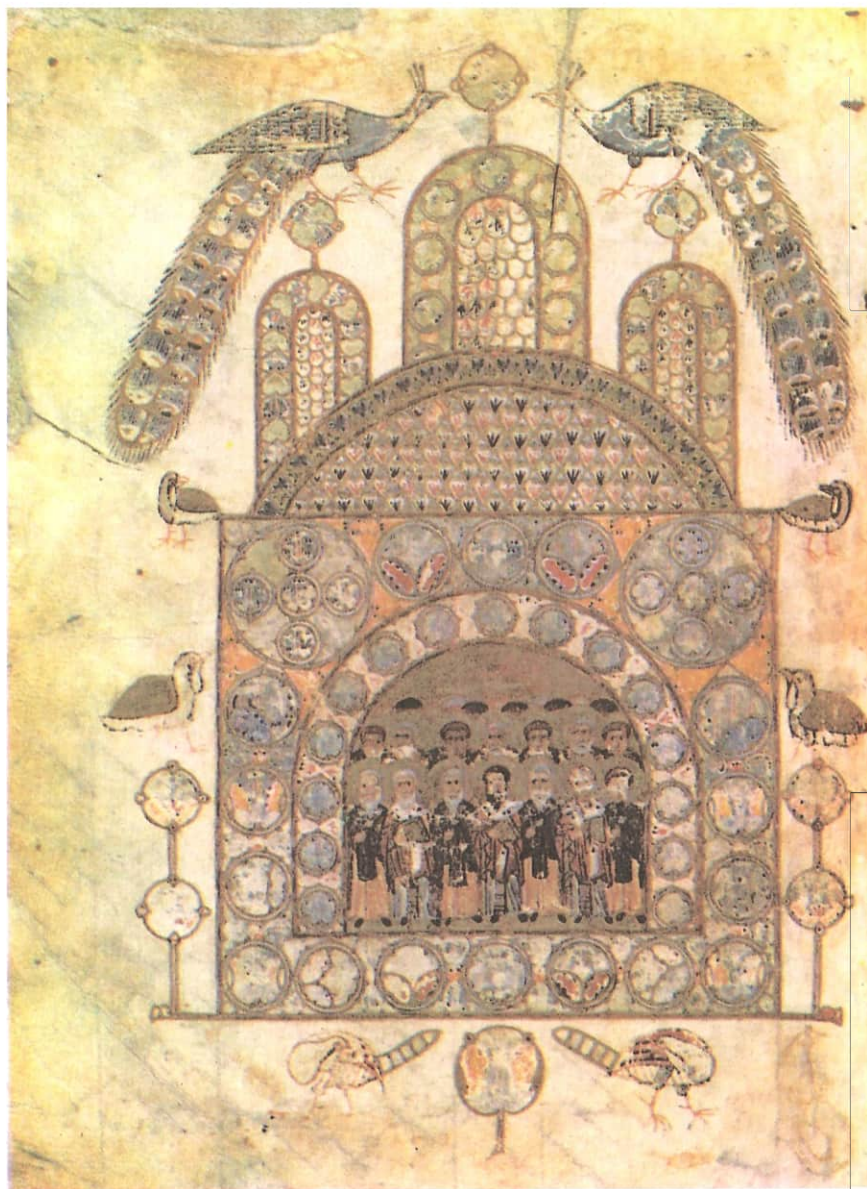
Фрагмент рукописи
(«Сказание о Мамаевом
побоище». 1980)

ИСПИТИШЕМО
ДОНОЦ



Тодакъстоци
игорькнзквзла
ѡ ѡ

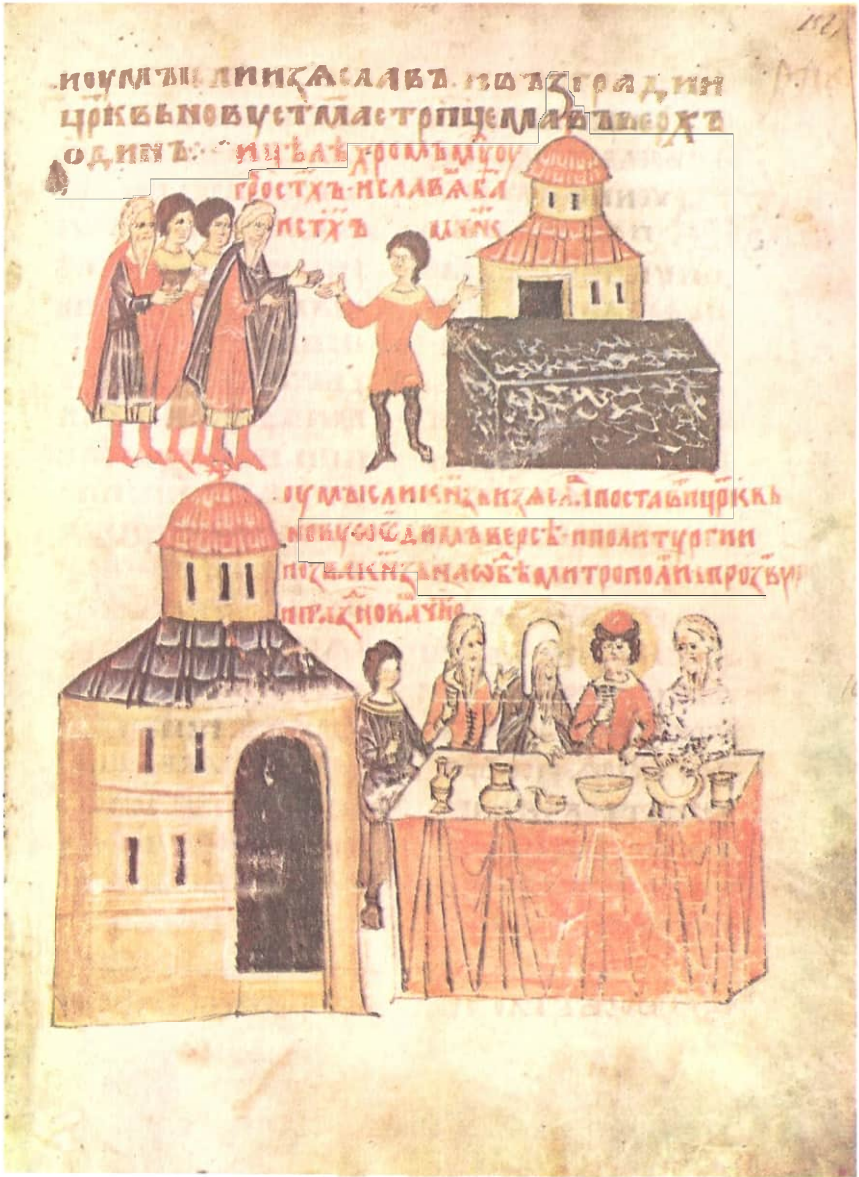
Страница книги
«Слово о полку Игореве».
1988)



Миниатюра
(«Изборник Святослава
1073 года». 1983)



Страница рукописи
(«Изборник Святослава
1073 года», 1983)



Страница рукописи
(«Сказание о Борисе
и Глебе», 1986)



Страница рукописи
 («Сказание о Борисе
 и Глебе». 1986)



Миниатюра
(«Повесть о Соловецком
Восстании». 1982)



Миниатюра
(«Повесть о Соловецком
Восстании». 1982)



і Тогоже герасима . Єже видѣху
педокнаго зосимоу и анѣргію .
тотойже старецъ герасимъ повѣда .
І прїидохъ рече испоуеты и в мо
настырь . востыи белкии четве
ртокъ . в шешоумнѣ трапезоу .
и стахъ блнзъ дверен . и видѣхъ
в трапезоу вхоща старца и зрѣ
на него , прилѣжно и позна . яко

стынъ зоснмапрінде индевъцрискъ
 наъзъволаѣего идохъвъцрискъ
 истахъпостранѣдверенцрискныи
 зоснмѣжевъцрисквнстоашднзрѣ
 на него . и по сѣвершеніи лнть
 ргн . братіи прнчашащнмса
 претгы хътаннъ тѣлн кровнса
 бланшго . пречемн стын и дннты .
 и прнчастн . наъшѣ и прнчастн
 хса . стын же зоснмастоаше бл
 таннъ хъ бланшго . дондеже в бл
 тн прнчастнша . и та конь н
 днмъ бысть .



ликіи новъ градъ . и моли ти архіеппа .
да быі емоу былъ помощникъ шогни
длщину хълікъ . и творщій пако
сть монастырю его . на члгъстро
и ти елико поутномоу шествѣи . и
пѣвшемолѣбнагоу егоу . и пречи
стѣи ецы . за слотоу брныи кнѣз
і архіеппа . и шземьскомъ оустро
еніи . и за все православное хртіан
ство . и призываи на помощь бла
женнаго саватіа . еже посодѣтво
валіи емъ вножа . и по исокоу нѣкіа
швратіи . и твораше шесткѣіе кве
ликомоу новъ градуу .



тома. Третий том он озаглавил «Постскрипtum к Автобиографии» и запретил издавать до того момента, когда умрет последняя из упомянутых в ней женщин. В 1983 году умерла Реббека Уэст, и начались подготовительные работы к изданию этого тома. Год спустя он вышел из печати. В качестве редактора выступил академик Уэллс, который и придумал для книги свое название: «Уэллс в любви». Думаю, причин для этого было несколько. Во-первых, конечно, коммерческая. Книга сразу пошла нарасхват, и рецензии на нее появились во всех, наверно, английских газетах, не говоря уже о специализированных издательских журналах. Во-вторых, слово «постскрипtum» звучало бы странно по отношению к столь объемистой книге. А в-третьих, название нисколько не противоречило содержанию. Это был полный и искренний отчет во всех любовных историях, которыми Уэллс успел прославиться при жизни разве что чуть меньше, чем своими книгами. А ведь их (я имею в виду книги) было немало — больше сотни!

Издание получилось сенсационным. Но сенсация всегда все-таки не более чем сенсация. И последний случай не был каким-либо исключением. Об Уэллсе (книги, в которых о нем только заходит речь, не в счет) написаны на сегодняшний день пятьдесят две литературоведческие и биографические книги, причем — только в Англии, США, Франции, СССР. Сведений по другим странам никто не собирал, и нас могут ждать еще совершеннейшие неожиданности, хотя, по чести сказать, я не предполагаю, что новый свет на этого писателя прольет какая-нибудь книга, появившаяся, скажем, на острове Фиджи. Так вот, в этих книгах рассказано об Уэллсе уже достаточно много. Итак, надолго отложив публикацию своих посмертных признаний, Уэллс совершил рискованный шаг. Дело в том, что архив Уэллса был после его смерти продан Иллинойскому университету (США), причем хранитель этого архива, профессор Гордон Рэй, приобретший в свое время широкую известность своей книгой о Теккере, тут же очень решительно закрыл к нему доступ всем посторонним лицам. Он объявил, что следующей его работой будет большая книга о Герберте Уэллсе, и не отвечал даже на письма, где его просили уточнить тот или иной частный вопрос. Однако гора обещаний родила литературную мышь. Гордон Рэй в 1959 году выпустил (взяв себе в соредакторы Леона Эдела) сборник материалов «Генри Джеймс и Герберт Уэллс», который снабдил предисловием, а много лет спустя, воспользовавшись материалами, предоставленными в его распоряжение Реббекой Уэст, фактографическую и очень отстраненную по позиции автора книгу «Уэллс и Реббека Уэст». Он к этому времени получил очень ответственный и, разумеется, высокооплачиваемый пост главы одного из крупнейших благотворительных культурных фондов, и его интерес к Уэллсу, а может быть, просто вера в то, что у него когда-нибудь достанет времени и сил написать обещанный труд, совершенно угасли. Во всяком случае он открыл, наконец, доступ к материалам Уэллсовского фонда, в результате чего появились книги «Джордж Гиссинг и Уэллс» и «Арнольд Беннет и Уэллс» (обе — в 1960 году). Это, впрочем, было только началом. По-

настоящему пробиться к материалам Уэллсовского архива удалось лишь Норману и Джин Маккензи, о которых я уже упоминал, и они в своей книге «Путешественник по времени» буквально опустошили его. В результате, если говорить о чисто фактической стороне дела, «Постскриптум к Автобиографии» сделавшись не очень нужен, тем более что женщины, о репутации которых так заботился Уэллс, за это время и сами рассказали всем, кому могли, все, что могли. Да и многое стало известно из давно уже опубликованных дневников Беатрисы Уэбб. В отличие от своего мужа Сиднея Уэбба, Уэллса не выносившего, она относилась к нему строго, но с пониманием и интересом и оставила чуть ли не летопись той части его жизни, что протекала у нее на глазах.

Выручила Уэллса, как не раз выручала при жизни, все та же Ребекка Уэст. Сблизилась она с Уэллсом, когда ей было девятнадцать лет, ему — сорок шесть, а прожила до девяноста. Запрет на публикацию «Постскриптума...» продолжал все это время действовать, и от момента выхода в свет «Путешественника по времени» прошло десять лет. Книгу супругов Маккензи и тогда-то широкая публика не прочла, а за эти десять лет и прочитавшие успели основательно позабыть. Так 1984 год и сделался своеобразным «Годом уэллсовского возрождения». Просматривая книжные каталоги английских и американских фирм, поражаешься количеству переизданий Уэллса, причем — не обязательно самых лучших его книг. В издательском деле вступила в действие та сложная и не всегда уловимая цепь взаимозависимостей, которая и приводит к того или иного рода книжному буму.

И не только к нему одному. В 1986 году Уэллсовское общество устроило в Лондоне научную конференцию, посвященную современному осмыслению творчества этого писателя. На нее съехались ученые из неожиданно большого числа стран мира. Я был уже к тому времени вице-президентом этого общества, но на конференцию почему-то не попал и приехал в Лондон со своим докладом восемь месяцев спустя. И тут я снова соприкоснулся с «уэллсовской Англией». Ничего не потерявшей, скорее обогатившейся.

Конечно же, я сразу поехал в Бромли к милейшему мистеру Уоткинсу. С момента нашей первой встречи ему прибавилось два десятка, и, должно быть, поэтому он просил меня звать его просто Бобом. И он как когда-то горел желанием показать мне в Бромли все, что связано с Уэллсом. Кое-что и правда прибавилось. На торце одного из зданий центральной улицы появилась огромная фреска, изображающая Уэллса среди его героев. Она показалась мне нарисованной в слишком уж плакатной манере, но, решил я, важно, в конце концов, чтобы она нравилась не заезжим иностранцам, а самим жителям города. Нравится она им или нет, я, впрочем, понять не мог. Она всем примелькалась, на нее никто и не смотрит. Но гостям, наверно, всегда показывают.

Главной гордостью Уоткинса была новая библиотека, действительно, во всех отношениях превосходная. В этом здании Уэллсу стало очень просторно — ему отдан целый отдел.

К одной из витрин Боб (я пользуюсь его разрешением именовать его именно так, и не иначе) подвел меня с видом таинственным, почти заговорщицким. Это была постоянная выставка моих работ по Уэллсу. Увы, мне не хотелось разочаровывать этого милого человека, и я скрыл от него, что давно уже про нее слышал. Но одно обстоятельство и в самом деле меня поразило: эту небольшую экспозицию венчала фотография всей моей семьи! Я немного оторопел, но вспомнил, что нахожусь в Англии, и успокоился. Так, наверно, у них, патриархальных англичан, полагается!

По-настоящему меня поразила, конечно, не эта витрина, где, право же, я не увидел ни одной книги, прежде мне неизвестной, а возможность наконец побывать в Ап-парке. Осуществилась долгожданная моя мечта. Ап-парк перешел в веденье организации по охране памятников старины, «Национального треста» (может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что «Национальный трест» работает много лучше, чем соответствующие наши организации), приведен в полный порядок, и в него открыт широкий доступ публики.

Здесь я понял — слишком поздно, конечно, для человека, всю жизнь занимающегося Уэллсом, — с какой наглядностью явился некогда Уэллсу, совсем мальчишке, образ «верхнего» и «нижнего» мира, легший в основу «Машины времени». Господский дом этого огромного поместья отделан и обставлен со всей роскошью, присущей XVIII веку, а служебные помещения под ним, где распоряжалась одно время в качестве домоправительницы мать Уэллса и где он сам провел немало времени, больше всего соответствуют позднему понятию функциональности. Здесь ничего не предназначено для «улады глаз» — все только для работы. Эти подвалы соединены подземными туннелями с другими службами, расположенными поодаль. Туннели сырые и проветриваются при помощи вентиляционных колодцев, во всем напоминающих описанные в «Машине времени». До чего прозаическими оказываются порой реалии, легшие в основу будущих литературных символов!

В эти последние годы Герберт Уэллс повернулся немного иной стороной. Он возвращается к нам уже не только в качестве автора ставших классикой или просто наделавших в свое время шума книг, а как бытовая фигура. Или, может быть, точнее сказать — как литературная фигура? Как персонаж существующего лишь в неоформленных фрагментах, но тем не менее психологически чрезвычайно изощренного романа.

В XVIII веке принято было кончать повествование женитьбой героя. В XIX веке от этого обычая отказались. Однако в рассказах о жизни писателей продолжало, а отчасти и сейчас продолжает действовать почти что схожее правило. Мы очень любим рассказывать, как тот или иной автор пробивался в литературу, какие претерпевал лишения, как набирался житейского опыта, но вот он добился успеха, и отныне человек куда-то исчезает, теперь перед нами писатель, и ему, бедняге, остается только сидеть и писать, и писать... Хорошо бы так! Но, увы, жизнь литератора подвержена тем же случайностям, что и жизнь остальных смертных, не

говоря уже о том, что его преследует страх, другим незнакомый, — боязнь исписаться, истощить свой запас впечатлений, выпасть из времени, не выдержать в какой-то раз нервного напряжения, которого требует каждая книга. Да и жизненный опыт приобретается не только в юности. Если даже специально его не искать, он сам тебя ищет.

Все это стоит помнить, когда речь заходит об Уэллсе, каким он явился нам в последнее время. Особенно после выхода посмертного тома его автобиографии. Факты все те же, но разве Уэллс позаботился о том, чтобы оставить нам свой донжуанский список? Нет, он рассказал, как мучительно жил все эти годы. Виделся он сам себе без всяких прикрас, писать о себе старался со всей возможной объективностью, хотя, надо сказать, и без излишнего недоброжелательства: в отличие от Руссо с его «Исповедью», он отнюдь не пытается выпячивать одни свои пороки для того, чтобы скрыть другие.

Всегда ли это ему удавалось? Боясь, что нет. Ребекка Уэст со смехом рассказала Гордону Рэю, как однажды, когда они отдыхали в Гибралтаре и у Уэллса слегка заболело горло, а местный врач оказался в отлучке, он потребовал от хозяина гостиницы, чтобы тот немедленно связался с командующим английским флотом, и попросил его выслать ему своего врача. «Передайте ему, что заболел Герберт Уэллс!» — кричал он. Об этом и других подобных случаях в книге Уэллса, конечно, ни слова. Но и престарелой рассказчице не мешало бы вспомнить, что Герберт Уэллс, этот ступок энергии, был очень больным человеком, несколько раз находился при смерти, а потому и пугался порой малейших своих недомоганий. Что же до приступов важности, на него находивших (та же Ребекка Уэст рассказала, что после встречи с Лениным он сделался совершенно невыносим), то сколько, напротив, сохранилось свидетельств необыкновенной его простоты, легкости в обращении, готовности помочь!

Сложный это, как принято говорить, был человек. Но разве одним словом отделаешься?

Передо мной снова лежат фотографии, успевшие перекочевать с выставочных стендов на страницы книг. Десятилетний мальчик сидит в богатом кресле, какие ставили во всяком уважающем себя фотографическом ателье, перед столиком-вертушкой. На столике — раскрытая книга, но он смотрит не в нее, а, как полагается, прямо в объектив, и взгляду у него твердый, губы чуть насмешливые. Неужто ему только что сказали: «Вот посмотри, вылетит птичка», или фотограф был человек умный (занятия фотографией вообще числились тогда среди интеллигентных профессий) и догадался: *этому мальчику* такого говорить не следует. И вот что удивительно: кресло чужое, столик чужой, книга, очевидно, тоже чужая, а сидит он так, словно все это его — издавна и по праву. Костюмчик на нем аккуратный, узенький белый воротничок накрахмален, и если одет он не слишком богато, то кто же дома надевает выходные костюмы? А он здесь как дома!

Уэллсы старательно скрывали свою бедность, но маленький Берти ее просто не чувствовал. Младший сын, на котором сосредоточилась

скупая ласка этой убежденной пуританки, его матери, мальчик слабого здоровья, но при этом необыкновенно живой и драчливый и уже, видно, начинающий догадываться, какими необыкновенными способностями он обладает, — отсвет всего этого лежит на старой фотографии, сделанной в каком-то провинциальном ателье.

А вот еще одна фотография. Тридцатилетний Уэллс сидит в свободной позе, полуобернувшись к аппарату, уже за своим столом, внушительного фолианта перед ним нет, лишь пачка бумаги, из которой еще предстоит возникнуть книге — *им же самим и написанной*. Костюм на нем чуть мятый, в самом деле домашний, он оторвался на минуту от работы и сейчас снова без промедления за нее примется. А пока тебя фотографируют, можно на минуту расслабиться. Важно только не потерять мысль... Всего год, как вышла «Машина времени», критики уже во всех газетах поносят «Остров доктора Моро» и не догадываются, какие еще ждут их сюрпризы.

И еще фотография. Под ней подпись: «Уэллс — фигура мирового значения». Что ж, лучше не скажешь! Ему здесь лет пятьдесят, но возраст как-то не чувствуется. Позади все прославившие его фантастические романы, «Предвиденья», ошеломившие современников и заставившие супругов Уэббов усесться на велосипеды и отправиться приглашать его в Фабианское общество, где он вскоре чуть не разогнал все старое руководство, включая, разумеется, и самих Уэббов; «Новые миры вместо старых», одна из лучших социалистических книг, написанных в Англии, романы о судьбе «маленького человека», бывшие для того времени литературным открытием. Ни капельки позы, фальши, самолюбования. Но лицо из тех, что запоминаются сразу и навсегда, — умное, волевое, значительное, серьезное и сильное, с правильными и нестандартными чертами. Поза, исполненная достоинства и свободы. На этой фотографии изображен человек, имеющий, по его собственным словам, доступ к любви, самой важной особе в мире и желающий разговаривать с ней на равных.

Но между этими фотографиями и вслед за ними есть еще и другие. И они тоже говорят нам о многом.

Вот худой мальчишка, позирующий с черепом в руке в обнимку со скелетом обезьяны, который Томас Хаксли использовал в качестве наглядного пособия на своих лекциях о происхождении человека. Мальчишка явно гордится этим своим родством, которое только что удостоверял любимый профессор, но и превосходство свое сознает: он ведь совсем скоро тоже, совсем как Хаксли, станет великим ученым. Конечно, для этого надо еще потрудиться, но он к этому готов: посмотрите, какой у него сосредоточенный вид! Вот только что отпустивший усы тот же худой мальчишка, но выражение лица уже совершенно иное: в глазах застыло выражение какой-то легкой растерянности...

Приступов отчаянья, нападавших на Уэллса после того, как с «Южным Кензингтоном» все провалилось, фотоаппарат не фиксировал, о них нам рассказал сам Уэллс. Нет, он никогда не терял ощущения, что в мире

ему предназначена какая-то особая миссия, но череда неудач, а потом и открывшееся кровохарканье сильно поколебали его уверенность, что миссия эта осуществится. Он неистово мечтал овладеть этим миром, но с годами желание это подкреплялось уже не радостной надеждой, а страхом: он знал, что если не он одолеет мир, то мир — его.

Между Уэллсом-победителем, чья фотография украшена такой торжественной надписью, и мальчиком, расположившимся как дома (хотя и при гостях) в ателье бромлейского фотографа, и находится тот Уэллс, о котором следует больше всего говорить, ибо книги, составившие славу Уэллса и славу английской литературы, написал не первый человек и не второй, а кто-то третий, не совсем, разумеется, им посторонний, но и не во всем им тождественный.

Этот третий Уэллс прежде всего необыкновенно человечен. Он столько узнал о самом себе, что научился наконец-то понимать что-то и в окружающих. Его самососредоточенность, для писателя неизбежная, порой оборачивалась комичнейшими приступами самовлюбленности, а замечательное чувство независимости, ему от природы присущее, приводило иногда (к счастью, не слишком часто) к тому, что он позволял себе позорнейшие высказывания и поступки. Что там говорить, он не был ни интеллигентом в русском понимании слова, ни джентльменом — в английском, а потому немало злился на тех и на других, но как он мечтал в глубине души таким именно и казаться и как часто это ему удавалось! Притом — без всякого лицемерия, ибо интеллигентом и джентльменом какой-то стороной своей природы он тоже был. И поэтому он так легко забывал о своей мировой славе и делался просто веселым, бесшабашным товарищем, готовым на какую-нибудь мальчишескую выходку, поэтому во всей Франции больше всего дружил не с Франсом и Барбюсом, с которыми, разумеется, был знаком, а с семьей садовника своего французского поместья, и поэтому же он приходил в состояние совершенного иступления, когда видел, что кто-то обнаружил его проявления, ему самому подозрительные. А тем более когда от него это не скрывали. Однажды он получил от Элеоноры Рузвельт телеграмму: «Позор, мистер Уэллс!» Это было ему поделом. Но, боже, что с ним творилось!

Впрочем, если говорить просто о вспыльчивости Уэллса как таковой, то это не более чем свойство характера, она ни обсуждению, ни осуждению особому не подлежит. В воспоминаниях гувернантки его детей есть такой эпизод. Однажды Уэллс (он лежал больной) попросил ее принести ему какие-то книги. Она принесла, и он поблагодарил ее с той теплотой и тем обаянием, которыми она всегда в нем восхищалась. И вдруг, когда она уже выходила из комнаты, она услышала за спиной дикий крик и в нее полетели книги: оказывается, она принесла не те! Но рассказала она об этом без всякой обиды. Да и сам Уэллс не знал потом, куда деваться от стыда. Что, впрочем, дела не меняло и изменить не могло: во вспыльчивости обвиняли еще его отца, Джозефа Уэллса; образ Гриффина-невидимки, существа до крайности импульсивного, он рисовал с себя, но тогда ему едва исполнилось тридцать, а теперь шло к пятидесяти...

Да, Уэллс оставался Уэллсом. И все-таки в чем-то он продолжал меняться. На фотографии, о которой все время заходит речь, — ум, воля, сила. На последующих фотографиях все яснее прочитывается новое качество — человеческая умудренность.

Она пришла потому, что он внимательно следил за мировыми событиями и предсказанные им катастрофы надвигались с непревзойденной быстротой. Он порою начинал бояться своего мрачного пророческого дара. Но и оптимизм его подводил. Он, к возмущению многих своих друзей, стоявших на левых позициях, поддержал первую мировую войну, потому что верил: в конечном счете она приведет к установлению мирового государства, построенного на социалистических принципах. И в самом деле, в России произошла революция. Он выступил на ее стороне, вернув себе симпатии тех, кто от него перед тем отшатнулся. Но на Западе все как-то слишком уж оставалось по-старому. Не напрасной ли оказалась моральная жертва, которую он принес своей книгой «Война против войны»?

Но были и другие причины, на этот раз личного свойства. Когда Уэллс начал сражение за преобразование Фабианского общества в социалистическую партию, у него появилась довольно обширная группа молодых последователей — «Фабианская детская», как ее именовала «старая банда» (иначе их Уэллс не называл), руководившая обществом. В значительной своей части это были взбунтовавшиеся дети старых членов Фабианского общества, что, как легко понять, несколько не улучшало отношений между исполкомом общества и обитателями «детской», мечтавшими ее поскорей покинуть. Особое беспокойство родителей вызывала Эмбер Ривс, дочь одного из директоров основанной Сиднеем Уэббом на деньги Фабианского общества (это было секретом, разоблачения которого Уэбб смертельно боялся) Лондонской школы экономики. Они гордились ее блестящими успехами в Кембриджском университете, где она сумела еще и организовать ячейку Фабианского общества, но ужасались ее политическим симпатиям. 8 ноября 1906 года Уильям Ривс писал, например, Уэллсу: «Эмбер только что выступила со своей первой речью, и целью ее было выразить солидарность с русскими, которые бросают бомбы и грабят банки!» Окружающих она пугала еще больше, чем родителей. Так, Беатриса Уэбб, встретившись с дочкой Ривсов в 1907 году, сделала запись в дневнике, из которой следовало, что Эмбер — существо необыкновенно живое и очень умное, но при этом тщеславное, самососредоточенное и совершенно не желающее считаться с мнением окружающих. Она заметила, какая дружба успела уже завязаться между ней и Уэллсом, и сочла, что жене Уэллса есть чего остерегаться. Она оказалась права. В 1908 году все уже знали, что между Эмбер Ривс и Гербертом Уэллсом установились близкие отношения.

То, как повела себя при этом Джейн, всех поразило. Близость между супругами прекратилась навсегда. Но дом Уэллса продолжал оставаться его домом, Джейн по-прежнему трудилась не покладая рук. Она не только вела хозяйство, принимала много гостей, которых без счета

всегда зазывал Уэллс, занималась его литературными делами и растила детей, но и, ни разу себя ничем не выдав, встречалась и у себя, и у общих знакомых с Эмбер, а когда та родила дочку, подарила ребенку приданое. Она, видимо, никогда не забывала, что и сама в молодости увела Уэллса у жены. Так считали многие. Но что бы ни таилось за ее всегдашним спокойствием, деловитостью и приветливостью, ясно одно — у этой маленькой, хрупкой женщины была железная воля. Чего нельзя сказать об Уэллсе. Он не сумел устоять, когда на шею ему, сорокадвухлетнему мужчине, бросилась девчонка, за которой тянулся хвост поклонников. Но он мучился, метался от возбуждавшей его горячую страсть Эмбер к Джейн, которую не переставал любить и которой чем дальше, тем больше восхищался, а когда Эмбер забеременела, впал в совершенную панику. С тяжелым сердцем он предложил ей жениться, но та отказалась и вышла замуж за другого. Разрушать семью, заявила она, не входит в ее намерения.

В известном смысле семья все равно была разрушена. Жизнь Уэллс отныне вел беспорядочную, то появляясь с чемоданами в собственном доме, то из него исчезая, мечтая о том, чтобы целиком сосредоточиться на работе, и тут же растрачивая свои душевные силы самым бессмысленным образом. Он мечтал о тихой пристани и боялся ее обрести. За его спиной все время стояла тень Джейн — самой сильной и навсегда потерянной его любви. Его десятилетний роман с Реббекой Уэст превратился в серию скандалов, в десятилетней связи с Одеттой Кюн — немного писательницей, немного авантюристкой — ему виделось что-то унижающее, он чем дальше, тем больше ее не выносил, хотя, судя по всему, сначала хотел именно с ней начать заново строить жизнь. Но когда в их дом во Франции дошла весть о том, что Джейн заболела раком, он немедленно все бросил, вернулся в свой Истон Глиб и до последнего дня оставался рядом с терявшей силы женой — всегда внимательный, заботливый, ласковый, преисполняясь час от часу все большего восхищения этой женщиной. Джейн умирала, как жила. Каждое утро она появлялась за завтраком аккуратно причесанная, в отутюженном платье, сперва держась за стену, потом в кресле-каталке, но со своей неизменной улыбкой, приветливая с мужем, детьми, прислугой, больше всего боявшаяся кого-то чем-то обременить. И, сколько могла, предлагала свою помощь. В какой-то день она перестала выходить из комнаты. У нее была теперь одна мечта: дожить до свадьбы Фрэнка, младшего сына, назначенной на 7 октября 1928 года. Не хотелось портить торжества своей смертью. Она умерла шестого...

На похоронах, писала Шарлотта Шоу, было ужасно, ужасно, ужасно! Заиграл орган, и Уэллс начал плакать. Сначала он пытался скрыть свои слезы, но потом зарыдал, как ребенок. А орган все играл и играл... Шоу, казалось, готов был убить органиста. Но вот музыка прекратилась, и священник начал читать по бумажке прощальное слово, написанное Уэллсом. При словах: «Она никогда в жизни никого не осудила» — воцарилось гробовое молчание. И тут из гортани Уэллса вырвался какой-то

протяжный вой... «Это было ужасно, это было пугающе, это было страшно!»

Та растерянность, которая когда-то промелькнула в глазах истощенного мальчишки из «Южного Кензингтона», теперь стала грустью, навсегда поселившейся в душе этого преуспевшего человека. Он не хотел сдаваться. Он продолжал упорно отстаивать свои идеи и по-прежнему верил, что послан в этот мир с определенной миссией. Но знал и другое — мир не перестал сопротивляться ему. Напротив, сопротивлялся еще упорнее. Уступчивый в мелочах, в главном он упорно стоял на своем. Все, чего было в избытке — слава, женщины, деньги, — сделалось неважным. Вопрос о том, удалось ли осуществить свою миссию, оставался нерешенным. И все чаще начинало казаться, что нет, не удалось. «Надо жить так, словно всего этого нет», — сказал себе Уэллс в юности, размышляя о проклятом вопросе физики — об энтропии. «Надо жить так, словно всего этого нет», — повторил он, когда речь зашла о более близких опасностях, грозящих человечеству; надо уметь радоваться солнцу, любви, добрым душевным порывам. Но последнее, что произнес Уэллс, было криком отчаянья. Эта маленькая книжка была озаглавлена «Разум у предела».

Во сне он все чаще возвращался к детству. В минувшие времена ему снились кошмары. Теперь пришло просветление. Во сне, писал он, торжествовала «более взрослая, современная, цивилизованная часть моего существа». Страх, отчаянье, растерянность куда-то ушли, старые друзья, давно покинувшие этот мир, опять были с ним. Но потом он возвращался к дневной реальности.

Он записывал процесс своего духовного ухода, как великие врачи диктовали окружающим симптомы своего умирания. Он до последнего дня пытался постичь себя как личность, но видел за собой одну лишь вину: он часто обижал людей, даже близких. И его не оставлял один вопрос, которым он задался еще в своей первой напечатанной статье: что же такое личность? Он верил в предопределение, обусловленное двумя факторами: внешними обстоятельствами и столь же заданной психологической структурой той или иной индивидуальности. Но кроме всего этого существует, считал он, еще свобода воли. Она ограничена достаточно узкими пределами. Но там, где она есть, есть и личность. И когда он думал о прожитой жизни, в которой было столько срывов, его утешало одно: он все-таки был личностью. Это удастся не всем.

Себе ли одному задал Уэллс этот вопрос? Нет, конечно. Он ведь всегда рассматривал себя как частицу мира, и если он ставил эксперимент на себе, то на общую пользу. И поэтому слова «Уэллс в моей жизни» может произнести всякий, кто вчитывался в этого замечательного писателя.

Марина Цветаева

ИЗ ЦИКЛА «АХМАТОВОЙ»

Златоустой Анне — вся Руси
Искупительному глаголу, —
Ветер, голос мой донеси
И вот этот мой вздох тяжелый.

Расскажи, сгорающий небосклон,
Про глаза, что черны от боли,
И про тихий земной поклон
Посреди золотого поля.

Ты, зеленоводный лесной ручей,
Расскажи, как сегодня ночью
Я взглянула в тебя — и чей
Лик узрела в тебе воочью.

Ты, в грозовой выси
Обретенный вновь!
Ты! — Безымянный!
Донеси любовь мою
Златоустой Анне — Всея Руси!

Осип Мандельштам

* * *

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи —
На головах царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Владимир Набоков

БУДУЩЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

Ты, светлый житель будущих веков,
ты, старины любитель, в день урочный
откроешь антологию стихов,
забытых незаслуженно, но прочно.

И будешь ты как шут одет на вкус
Моей эпохи фракной и сюртучной.
Облокотись. Прислушайся. Как звучно
былое время — раковина муз.

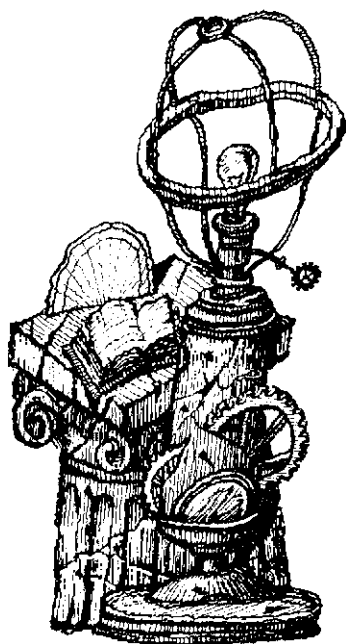
Шестнадцать строк, увенчанных овалом
с неясной фотографией... Посмей
побрезговать их слогом обветшалым,
опрятностью и бедностью моей.

Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.
К тебе на грудь я прынул через мрак.
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
из прошлого... Прощай же. Я доволен.

БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОФИЛЫ

Федор Кудрявцев
СЕМЬЯ РУССКИХ КНИГОЛЮБОВ

Владимир Купченко
«ЭНТУЗИАСТ МЕЧТЫ»



Федор Кудряцев

СЕМЬЯ РУССКИХ КНИГОЛЮБОВ

Если выехать через Калужскую заставу из Москвы по шоссе к Внуково и свернуть на двадцать третьем километре влево, то, миновав две-три деревеньки, мы увидим за березовой рощей высокую кирпичную ограду и мощные пилоны ворот, увенчанных фигурами оленей.

За воротами классический «*Château*» — парадный двор. В глубине — старинный двухэтажный дом с шестиколонным портиком, с бельведером, с галереями-колоннадами, соединяющими его с флигелями. За домом раскинулся хорошо сохранившийся парк. В нем несколько гротов — неперменный атрибут парковой архитектуры XVIII века — и полувысохшие пруды, когда-то тремя зеркальными ступенями спускавшиеся к реке. В парке среди местных деревьев много привозных: лиственница, туя, белолыстый ясень — дерево-отшельник. Ясень редко растет рощами, чаще отдельными деревьями. В конце парка над обрывом тихой живописной речки Ликовки стоит изящный Охотничий павильон.

Мы в старинной усадьбе Валуево.

В писцовых книгах XVI века упоминается находившаяся здесь, в «Пехорской десятине», а позднее «в Таракмановском стане», деревня Настасьино, принадлежавшая Огин-Плещеевым, а затем — Стрешневым. В крестьянскую войну XVII века Настасьино сожгли. Новое, возникшее в 20-х годах того же века село стало называться по имени владельца — окольничьего Григория Валуева.

Шли годы, менялись владельцы, разорялось дворянство. Лет за двадцать до революции усадьбу купил московский купец Лепешкин. Часть кустарника бывшего французского регулярного парка купчина приказал сразу же вырубить: не любил «стриженных деревьев». К парадным подъездам главного дома приставил уродливые, зато теплые тамбуры. Веранда паркового фасада показалась мала: пристроил новую, обширную, прочную — из железобетона. Врезал ее кровлю прямо в колонны старого деревянного дома. Что и говорить, своеобразный вкус имел купец Лепешкин.

Не о нем ли думал Чехов, когда писал «Вишневый сад»?

В усадьбе, проданной Лепешкину разорившимися князьями Четвертинскими, было много того, что он считал старым хламом: мебель красного и орехового дерева, разрозненные старинные фарфоровые сервизы, графины цветного стекла с мужичками в лапотках, стоящими на дне (соответственно пили «до опояски», «до лаптей»), множество книг, оставшихся не только от Четвертинских, но и от давних владельцев поместья — графов Мусиных-Пушкиных.

От всего этого Лепешкин поспешил отделаться, полагая, как многие и в те времена, и в наши, что «старое» и «плохое» — понятия тождественные.

Часть старых книг, на которые покупателей не нашлось, долго плесневела в одном из сараев усадьбы. Любознательный сын учителя



Охотничий павильон
и грот

валуевской школы рвался в них, унося домой показавшиеся занятными. Постепенно натаскал так много, что пришлось складывать на чердаке. Некоторые из них пролежали там до кануна Великой Отечественной войны и попали в руки автора этих строк.

...Покоробившийся, потрескавшийся, темный кожаный переплет. Толстая, шершавая бумага. Старинный шрифт. «Историческое замечание о начале и местоположении древнего русского, так называемого Холопья-города», «Историческое исследование о местоположении древнего русского Тмутараканского княжества», «Речи Флавиана патриарха Антиохийского к греческому императору Феодосию».

Нетрудно было представить себе седобородого, склонившегося над летописями ученого — историка, наверное монаха, — кому еще интересны речи какого-то патриарха Антиохийского? Велико же было мое удивление, когда оказалось, что автором-переводчиком был гвардейский поручик граф Александр Алексеевич Мусин-Пушкин, красивый молодой кавалерийский офицер! Ему не было и двадцати лет, когда он перевел с греческого эти «Речи...». Блестящий лингвист, он к семнадцати годам овладел полудюжиной иностранных языков, в том числе греческим и латинским. Писал стихи по-русски и по-французски. Много переводил — не только речи Флавиана. По словам современников, вел интереснейший дневник, заполненный не записями мелких каждодневных событий, а «философическими мыслями». Может быть, он случайно стал военным? Ведь и

Лермонтов пошел в гусары, как говорится, волею судеб, а потом не знал, как вырваться из военной службы. Да и Пушкин не стал военным лишь потому, что отец отказывался оплачивать предстоявшие большие расходы по службе в кавалерии и предлагал сыну идти в пехоту, на что поэт не согласился. Но нет, Александр Мусин-Пушкин был военным по призванию, как Денис Давыдов, как Петр Чаадаев, как Бестужев-Марлинский, и доказал это достаточно убедительно.

...В 1813 году разбитый в России Наполеон поспешно набирал новые полки. Русская армия под командой Кутузова стояла уже на Одере. В Германии началось брожение, участились нападения на французские посты. Вспыхнуло восстание и в маленьком городке Люненбурге, на нижней Эльбе. Но французский генерал Моран (только что оправившийся от тяжелого ранения на Бородинском поле) быстро подавил волнения, занял город, арестовал пятьдесят человек виднейших граждан Люненбурга и приказал их казнить. Жители успели дать знать об этом партизанскому отряду графа Чернышева. В дождливую темную ночь русские совершили отчаянно смелый рейд по французским тылам и на рассвете ворвались в Люненбург. В яростном уличном бою они истребили половину гарнизона, взяли в плен больше двух тысяч человек, освободили всех приговоренных к казни. Небольшая кучка храбрецов пробилась к французскому штабу, и здесь, в последней схватке, русский офицер смертельно ранил коменданта города генерала Морана, но тут же и сам был поднят на штыки французскими гренадерами. Этим офицером был Александр Алексеевич Мусин-Пушкин. Ему шел двадцать пятый год. Имя его занесено в «Пантеон славных российских мужей», изданный в прошлом веке.

Мусины-Пушкины, имевшие с Александром Сергеевичем Пушкиным общих предков, вели свой род от жившего в XV веке Михайлы Тимофеевича Пушкина, по прозвищу Муса. В XVII—XIX веках эта семья была в русском обществе одной из самых культурных. Самым видным в ней был отец Александра — Алексей Иванович Мусин-Пушкин, известный археолог и историк, президент Академии художеств и сенатор, образованнейший человек, друг Н. М. Карамзина и, прежде всего, книголюб, отдавший любимому делу всю свою жизнь. Много лет он разыскивал и приобретал редкие книги, старинные рукописи. Постепенно у него образовалась богатейшая библиотека, ее хорошо знали в Москве. Карамзин просиживал в ней целыми днями.

Подмосковную усадьбу Валуево он получил по наследству, несколько перестроил ее, соединил галереями дом с каменными флигелями и в одном из них — в правом — поместил часть своей огромной библиотеки.

Собрание манускриптов в ней особенно быстро стало пополняться, когда правительство начало закрывать маломощные монастыри, перемещать епархии. Беднейшие настоятели монастырей, епископы, митрополиты охотно расставались, как позднее и купец Лепешкин, со «старым хламом»: рукописями на пергаменте, «столбцами» — свернутыми в рулон узкими лентами склеенной по длине бумаги, — записями древних актов, сказаний, если на них находились покупатели. Иногда, покидая упразд-

ненный монастырь, «отцы церкви» бросали на произвол судьбы драгоценнейшие собрания книг и рукописей, как это было, например, в Ростове Ярославском. Груды старинных книг годами валялись в запустелых покоях митрополита, где были распахнуты двери, выбиты стекла или слюда в окнах. Сколько погибло в те годы интереснейших исторических материалов, сколько бумажных змеев понаделали из них ростовские ребяташки, можно лишь догадываться...

Алексей Иванович Мусин-Пушкин, помимо других должностей и званий, числился также обер-прокурором святейшего Синода, то есть был административным главой русской православной церкви. Он знал, где и какие монастыри закрываются и что в них может оказаться. Его комисионеры-агенты пересматривали тысячи книг и рукописей. Отбирали, скупали все интересное, везли в Валуево или в обширный дом Мусиных-Пушкиных на Разгуляе (теперь в нем Инженерно-строительный институт). И сам А. И. Мусин-Пушкин постоянно ходил по книжным лавкам, не гнушался и рынком, где можно было попытаться раздобыть интересную книгу.

Замечательные исторические материалы он получил, купив сразу несколько возов старых книг и рукописей, привезенных на продажу как макулатуру в одну из петербургских книжных лавок в Гостином дворе. Это было богатейшее собрание историка петровских времен Крекшина, и в нем «Лаврентьевская летопись» — самый древний список «Повести временных лет», написанный монахом Лаврентием в 1377 году. В этой летописи был и единственный дошедший до нас список «Поучений Владимира Мономаха».

В конце 90-х годов XVIII столетия Мусину-Пушкину привезли из Ярославля найденную там на чердаке монастырского здания рукопись на пергаменте, выполненную типичной для минувшего времени скорописью: без разделения слов, с надстрочными титлами. Такие рукописи не представляли тогда большой редкости, но что-то в ней заинтересовало Алексея Ивановича, он начал разбирать текст и скоро понял, что перед ним копия какой-то более древней повести, язык которой переписчик времен миновавших понимал уже плохо: «...Боян же, братие, не десять соколов на стадо лебедей пушца, но свои вещи персты на живая струна възскладаца: они же сами князем славу рокоташе...» Это было «Слово о полку Игореве». А. И. Мусин-Пушкин издал его в 1800 году. Он же был первым переводчиком и комментатором «Слова».

Когда в 1812 году Наполеон подходил к Москве, Алексей Иванович побоялся оставлять в Валуеве наиболее ценные из находившихся там книг и рукописей. Перевез их в Москву, на Разгуляй, там, казалось, они в большей безопасности.

Пожар Москвы, гибель драгоценной библиотеки были тяжким ударом для семидесятилетнего старика. Второй удар, смерть любимого сына на войне, свалил окончательно — разбил паралич. Правда, через некоторое время он немного оправился, начал говорить, передвигаться на костылях. Но это была уже тень прежнего человека. Почти безвыездно он жил в

Валуеве, сторонился людей, часто болел. В 1817 году, семидесяти шести лет, он умер. Но до самой смерти, полуживой, почти беспомощный, он продолжал собирать книги и рукописи. Пытался уверить себя и близких, что найдет новые экземпляры сгоревших летописей, но, кажется, понимал, что это лишь наивное самообольщение. Правда, незадолго до кончины ему удалось разыскать часть книг своего дяди Платона Ивановича Мусина-Пушкина. Парк другой подмосковной усадьбы — Вороново — помнил этого дряхлого, сгорбленного, всегда странно молчавшего старика, в прошлом одного из молодых сподвижников Петра Первого, блестящего дипломата, сенатора, президента Коммерс-Коллегии.

Платон Иванович Мусин-Пушкин был близким другом премьер-министра Артемия Волынского, последовательного противника иностранцев, влиявших на политику России. Борьба Волынского с ними, с их главой Бироном закончилась для него трагично. И в один день на той же Сенной площади в Петербурге, где отрубили голову Артемию Петровичу Волынскому, раскаленными клещами вырвал палач язык у Платона Мусина-Пушкина. Императрица Елизавета вернула его из ссылки. Одиноким, искалеченным стариком, потерявшим жену и детей, доживал свой век у родственников, в Воронове, под Наро-Фоминском.

Сохранились сведения, что Платон Иванович — книголюб и любитель отечественной истории — вел записки. Ему было с чем порассказать: не один раз бывал за границей, выполняя ответственные поручения Петра Первого. Ездил в Париж, в Копенгаген, «склоняя короля датского к возобновлению войны с Карлом Двенадцатым». Но имущество «государственному преступнику» конфисковали, все бумаги сожгли.

В библиотеке Платона Ивановича много было книг, собранных их с Алексеем Ивановичем общим дедом — Иваном Алексеевичем Мусиным-Пушкиным, сверстником Петра Первого. Иван Алексеевич начал службу в Потешном войске. Дрался под Нарвой. Штурмовал крепость Орешек на Неве. В Полтавской битве вел себя геройски: «много способствовал оной победе», за что получил там же на поле сражения титул графа от торжествовавшего «славную Викторию» Петра Первого. Служил потом воеводой в Смоленске, в Астрахани. Там «защитой жителей от мятежных казаков и кубанцев и увеличением государственных доходов снискал расположение императора».

С Астраханского воеводства началось возвышение рода Мусиных-Пушкиных, там было положено начало их огромному богатству. Но не только о государственных доходах заботился Иван Алексеевич, как, впрочем, и большинство «птенцов гнезда Петрова», за что не один раз знакомился со знаменитой царевой дубинкой. И все же относился к нему Петр весьма снисходительно и доброжелательно. На то были особые причины...

Семь лет Иван Алексеевич ведал Монастырским приказом. Очевидно, на этой службе он и научился разбираться в исторической ценности старинных книг и рукописей, стал их собирать. Часть им собранного перешла по наследству в сгоревшую в 1812 году библиотеку внука.

Но фамильный интерес и любовь Мусиных-Пушкиных к русской истории, старинным книгам появились еще раньше, в середине семнадцатого столетия. В те далекие годы в Москве все знали богатую усадьбу дьяка Алексея Козмича Луговского, «что в Овчинниках», на берегу Москвы-реки, против Китай-города. В первых по Москве считалась и «овчинниковская красавица», юная дочь Луговского — Ирина. Не раз заглядывался на нее еще холостой тогда, совсем молодой царь Алексей Иванович, когда, скромно опустив глаза, стояла она рядом с отцом в Благовещенском придворном соборе, куда имела доступ как дочь дьяка Посольского приказа. Быть ей царицей! Так думали многие. Но когда стали по царскому указу собирать невест на смотрины в Кремль, многочисленные и влиятельные бояре Милославские не допустили Ирину в число кандидаток, по «худородству ее»: дьяк Луговской происхождения был незнатного, выдвинулся службой. Царицей стала Марья Милославская.

Луговской служил под началом одного из самых замечательных русских людей XVII века боярина Афанасия Ордин-Нащокина, «первого западника», по выражению историка Ключевского, образованного и дальновидного дипломата, много лет успешно руководившего внешней политикой Московского государства. Естественно, что за таким начальником тянулись и подчиненные. Луговской тоже был довольно образованным человеком: знал латынь, владел польским языком. Дом его был устроен «на иноземный манер» — с картинами, зеркалами. Он и дочери постарался дать хорошее образование, приглашал к ней учителей из Немецкой слободы. Умная и развитая Ирина Алексеевна вовсе не была похожа на русских девушек, о которых писал сбежавший за границу подьячий Посольского приказа Григорий Котошихин: «...Московского государства женский пол грамоте неученый и не обычай тому есть, а породным разумом простоваты и на отговоры не смышлены и стыдливы; понеже от младенческих лет до замужества своего у отцов своих живут в тайных покоях, и oprичь самых близких родственников чужие люди и никто их, и они людей видети не могут, потому можно дознаться, отчего бы им быть гораздо разумными и смелыми...»

В Москве Луговскому приходилось держать дочку взаперти. Как и все девушки боярско-дворянского служилого сословия, выходила она из дому только в церковь. Зато в тихом Ростове, где у Луговского было поместье, пользовалась Ирина полной свободой: и гуляла, и на лодке по озеру каталась. У Луговского, страстного охотника, были кречеты бойцовые и псовая охота; вместе с ним выезжала охотиться с соколами и гончими и дочь, еще девочкой научившаяся лихо скакать на коне.

И вот красивая, смелая девушка приглянулась немолодому, но богатому ростовскому боярину. Он посватался. Луговской дал согласие (дочь не спрашивали). Назначили день обручения.

Но случилось непредвиденное: неожиданно исчезла Ирина, а с нею старый слуга, стремянный Афонька, и две лучшие лошади с конюшни. Поиски результатов не дали. Правда, донес Алексею Козмичу один из ростовских ночных сторожей, что «проскакала-де на зорьке боя-

рышня Ирина Алексеевна, а с ней челядинцев двое, да еще кто-то, неведомый...»

«Кто-то» был молодой боярский сын Алексей Богданович Мусин-Пушкин. Его давно уже «выглядела» Ирина Луговская — еще год назад, на празднике Покровá в ростовском Успенском соборе. И на святках приезжала в закрытом возке на берег озера, где заводились на льду кулачные бои «стенка на стенку», любовалась удалью статного богатыря. Через подружек-кумушек знала девушка, что и он ее «заприметил». И когда захотели родители выдать ее за нелюбимого, отбросила девичью робость и смело написала избраннику, что не хочет идти за другого: «Ты мне люб. Приди и спаси меня».

Беглецы скрылись в имени Мусиных-Пушкиных Иломле, на реке Мологе. Повенчались, жили тихо и дружно, а отцу Ирины вести о себе не давали, боялись отцовского проклятия.

Вскоре началась война с Польшей. Двинулись на запад стрелецкие полки иноземного строя: «солдатские» — пешие и «рейтарские» — конные. Их было до восьмидесяти тысяч. Застучали по бревенчатой московской мостовой колеса пушек и «гафуниц», отлитых на русских заводах, русскими мастерами. Артиллерия царя Алексея Михайловича признавалась иностранцами за одну из самых сильных в Европе.

Десятки тысяч пестрой конницы выставило и помещичье дворянство, обязанное идти на войну «конно, людно и оружно», то есть с пешими и конными войнами из крепостных крестьян, вооруженных, одетых в «тигилей», толстые кафтаны, стеганные на пеньке, с шитыми в стоячий воротник и на плечах кусками железа — для защиты от сабельных ударов. Количество воинов зависело от земельного надела помещика. Лошадей, да часто и людей, брали в это ополчение самых негодящих: «Убьют, так не жалко». Только сам дворянин да два-три его стремянных представляли определенную воинскую силу.

Отправился в поход и Алексей Богданович Мусин-Пушкин с многочисленной челядью и с младшим братом Иваном.

Война началась успешно. После двухмесячной осады 3 октября 1654 года русские штурмом взяли Смоленск, навсегда вернув его России. Братья Мусины-Пушкины отличились при ведении осады и во время приступа. Старший был ранен. Младшему камнем повредили ногу. Оба были признаны достойными награждения.

Орденю-медалей в Московском государстве не было. Принято было награждать различными ценными подарками. Делалось это торжественно: после церковной службы в соборе садился царь на «свое место» — на трон. Рядом стояли бояре, держали большие подносы с золотыми и серебряными монетами, кубками, ковшами. За ними менее чиновный люд держал в руках почетное оружие, конскую амуницию в драгоценных камнях, «мягкую рухлядь» — связки мехов соболя, куницы, бобра. Подводили по очереди награждаемых. Докладывали, читали «сказку» о том, когда, где и как отличился воин. «Ближний боярин» смотрел в спи-

сок: чем намечено пожаловать. Подсказывал царю. Тот «из своих рук» оделял наградами.

Когда подошли братья Мусины-Пушкины — рослый богатырь старший и стройный юноша — младший, один из царской свиты, окольный Алексей Козмич Луговской внезапно выронил из рук блюдо, золотые монеты покатались во все стороны.. Он узнал в Иване Мусине-Пушкине свою дочь Ирину.

После войны, помирившись с отцом, жила Ирина Алексеевна с мужем под Ростовом, в пожалованном царем поместье Угодичи, на берегу озера Неро. Часто бывали они и в Москве. Царь к ним благоволил, любил беседовать с умными и начитанными супругами. Ездили они в царской свите на богомолье в любимый монастырь Алексея Михайловича — Саввино-Сторожевский, под Звенигородом. Случалось молодой боярыне подолгу жить в Новом Иерусалиме, в покоях любимой сестры царя Татьяны Михайловны, рано принявшей монашество.

Муж Ирины и сама она интересовались историей Родины, собирали старинные книги, летописи, заложив начало традиционному книголюбию семьи и основу библиотеки правнука. Есть сведения, что в 1672 году Алексей Богданович Мусин-Пушкин написал и напечатал книгу «О славяно-русском народе и великих князьях русских, отколе произыде корень их на Руси». Но ранение, полученное им под Смоленском, видимо, было серьезным. Алексей Богданович начал хворать и рано умер. Вдова его продолжала дело, начатое вместе с мужем: пополняла книгохранилище в Угодичах. Вела обширную переписку — на польском языке, на латыни с иностранцами, побывавшими в Москве. Многие из приезжавших в Россию считали за честь познакомиться с «ученой московиткой». Мусину-Пушкину знали и в Париже, и в Лондоне. Жила она по-прежнему под Ростовом, в Москву приезжала редко: Вела большую хозяйство. Растила сына Ванюшу. Дружила с Ростовским митрополитом Ионой Сысоевичем — великим строителем, создавшим знаменитый ростовский ансамбль Митрополичьего двора с многочисленными церквями. Церкви внутри богато расписывались фресками. Не хватало красок. Случались затруднения с сюжетами росписей: способные, но малограмотные «изографы» — художники — не знали подчас, как написать то или иное библейское событие. Ирина Алексеевна помогала: выписывала через знакомых иноземцев то дорогой персидский «голубец» — редкую краску, то парижскую медную зелень. Подарила Ионе Сысоевичу Библию голландского издания с рисунками художника Пискатора — как пособие для мастеров по фрескам.

Не было у богатой, еще молодой и красивой вдовы недостатка и в женихах. Но она всем наотрез отказывала, не желала и разговаривать с назойливыми свахами. Одну из них, видимо, чрезмерно настойчивую, приказала даже высечь. Как на грех, наказанная сваха оказалась посланницей самого ростовского воеводы, вдовца боярина Бестужева, родного брата того, от готовившегося брака с которым сбежала в свое время юная Ирина Луговская. Так что обида была нанесена двойная.

Бестужев написал донос в Москву. А там давно уже косились на Мусину-Пушкину, на ее связи с иноземцами. Но дарь не позволял ее трогать, да не было и серьезных оснований для «слова и дела государева». Донос Бестужева дал такие основания, и в Ростов, в село Угодичи «вести розыск о воровстве боярыни Ирины Мусиной-Пушкиной» приехал ближний боярин, тесть царя по второй его жене, Артамон Сергеевич Матвеев.

«Воровством» в семнадцатом столетии и даже позднее называли не уголовные, а самые важные, государственные преступления: шпионаж, измену родине, богохульство. «Воровство» Ирины Алексеевны заключалось в общении с еретиками-иноземцами, в переписке с ними, в чтении чернокнижия и в несоблюдении постов. Последнее обвинение было самым тяжким и грозило ссылкой на всю жизнь в отдаленный монастырь. Пытались пристегнуть к обвинению и «лютерскую Библию», рисунками которой пользовались художники Ростова; но митрополит, понимавший, что под угрозу ставится и его благополучие, отвел это обвинение, заявив, что Библия на любом языке все равно книга священная. В богословские споры боярин Матвеев не стал вступать — знал, что митрополит Иона Сысоевич пользовался поддержкой патриарха. Отпало и обвинение в несоблюдении постов: митрополит заявил, что такого не бывало, он-то знает.

Поддержка ростовского духовного владыки спасла Мусину-Пушкину, но все же, по докладу Матвеева, «за неуместные воззрения» запретили ей въезд в Москву, переписку с иностранцами, а также отняли монопольное право на рыбную ловлю в озере Неро, издавна по традиции принадлежавшее хозяевам усадьбы в Угодичах.

Образованная и, очевидно, в какой-то мере свободомыслящая боярыня могла, конечно, вызвать подозрения и недоброжелательство, но главное было не в этом. Только что у второй жены царя родился сын, будущий Петр Первый. Родственники царицы — Нарышкины и ее воспитатель — боярин Артамон Матвеев смотрели на здорового и крепкого малыша как на вероятного наследника престола. Царь Алексей Михайлович хворал, и видно было, что дни его сочтены. Многочисленное его потомство от первого брака — почти сплошь дочери: Софья, Марья, Екатерина и другие. Сыновья Федор и Иван — болезненные и тоже явно не жильцы. Иван к тому же слабоумен. Долгое время наследником числился младший брат царя Дмитрий Михайлович. Но уж такое имя несчастлирое — Дмитрий: умер царевич, покушав грибов. Ходили слухи, что отравили его бояре Милославские, потому что вышел он в своего прадедушку Ивана Грозного, обещал стать таким же лютым.

А тут поступил донос Бестужева, а в нем сообщалось, что боярыня Мусина-Пушкина проговорила, будто сын ее Иван не от покойного мужа, а от царя Алексея Михайловича. Поэтому-то и послали Матвеева в Ростов с розыском: боялся конкурента, хотя бы и незаконнорожденного. Очевидно, в этих слухах была правда. Во всяком случае, Петр Первый признавал Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина братом. Однажды

за неуважительный отзыв о покойном царе Алексее Михайловиче ударил его по лицу, добавив: «Тебе-то о нем плохо говорить не следует».

Вскоре после розыска, произведенного Матвеевым, царь умер. На престол взошел Федор Алексеевич. Власть перешла к Милославским, а Матвеева поспешно сослали в далёкий Пустозерск. Ростовский митрополит Иона Сысоевич добился смещения воеводы Бестужева, написавшего донос, «низвергнул воеводу!» Но царь Федор процарствовал недолго, умер в начале 1682 года. На короткое время престол перешел к малолетнему Петру, а фактически к Нарышкиным. Примчался из ссылки Матвеев. Сменивший Бестужева новый ростовский воевода Балашев смекнул, чем угодить Нарышкиным, и настроил второй донос на Мусину-Пушкину, прямо обвиняя ее в намерении возвести сына на Московский престол. Никаких доказательств воевода представить не мог — суровая боярыня воеводу в свой дом не пускала. Зато не встретилось затруднений в подборе «свидетелей» из числа дворовых Ирины Алексеевны и какого-то «попа безместного Силантия». В Москве сделали вид, что поверили. Вторично прибыл в Ростов боярин Матвеев. На этот раз он начал розыск так грубо, с такими страшными угрозами, что на одном из первых допросов, когда он пообещал боярыне «сведать ее с дыбой и кнутом» и вызвал палачей, Ирина Алексеевна упала без сознания и через несколько дней скончалась. Розыск остался незаконченным.

Так оборвалась жизнь замечательной русской женщины, патриотки, за полтора столетия до Надежды Дуровой, в годы тяжкого церковного и правительственного гнета и полного женского бесправия, сумевшей проделать трудный и благородный путь женщины-воина.

...А боярина Артамона Сергеевича Матвеева вскоре после его возвращения из Ростова, во время первого стрелецкого бунта, когда рухнула власть царевна Софья, мятежные стрельцы скинули с высокого кремлевского крыльца «прямо на установленные на него копыя и бердыши».

Владимир Купченко

«ЭНТУЗИНАСТ МЕЧТЫ»

*Евгений Архиппов — библиограф
и библиофил*

Есть люди, которые, не будучи наделены ярким и самобытным талантом, тем не менее настолько ревностно служат культуре, что и сами оставляют след в ней. Библиографы, популяризаторы, литературоведы — они часто и сами пробуют себя в творчестве, но, понимая скромность своего дарования, не рвутся нести свои опыты на свет. Такая скромность, но беззаветным и бескорыстным служителем культуры — прежде всего поэзии — был Евгений Яковлевич Архиппов (1882—1950).

Он родился 22 декабря 1882 года в Москве, в семье почтового служащего. Евгений Яковлевич вспоминал о нем: «Отец собирал книги: старинные журналы, светские, наряду с духовными, подбирал серии романов западных писателей, много выписывал сам...» По-видимому, в 1891 году мальчик поступил в 3-ю мужскую гимназию. А в 1893-м состоялся переезд в Феодосию. Здесь он встречал И. К. Айвазовского и гимназиста М. А. Кириенко-Волошина (будущего поэта). По-видимому, в 1894 году Архипповы уезжают в Петровск-Дагестанский, а затем — во Владикавказ. С третьего по шестой класс Евгений учится в тамошней гимназии (в то же время там учился Е. В. Вахтангов). Позднее он вспоминал: «Из книг, прочитанных в детстве, особенно выделяю «Сказки Кота-Мурлыки» Н. П. Вагнера; помню: Жюль Верна, романы Фламариона... В последних классах очень полюбил Гофмана и — из лирики — выпуски «Веч(ерних) огней» Фета». С седьмого класса — Тифлис. В здешней гимназии Евгений встречает двух сверстников, под влияние которых быстро подпадает: это были П. А. Флоренский и В. Ф. Эрн.

По совету последнего в 1900 году он поступает на историко-филологический факультет Московского университета. Здесь, вместе с Эрном, он стал библиотекарем в студенческом общежитии; увлекся В. С. Соловьевым и В. О. Ключевским; штудировал античных философов. «С 1904 был захвачен лирикой Бальмонта, Бл(ока), А. Белого, В. Иванова и Брюсова». Затем состоится «открытие» Ф. И. Тютчева, Е. А. Баратынского, К. К. Павловой. «По окончании 4-х курсов ист(орического) отделения перешел на славяно-русское».

За участие в студенческой сходке Архиппов попал в феврале 1902 года в Бутырскую тюрьму. «Избег ссылки в Архангельск, благодаря ходатайству приват-доцента И. В. Преображенского». В декабре 1905 года он, живший на Грузинской площади, принимает участие в Пресненском восстании. Впоследствии, вплоть до 1913 года, находился под негласным надзором полиции.

Чтобы платить за учебу в университете и за общежитие, Евгений Яковлевич релетировал гимназистов, служил статистом в Московском Художественном театре. Эта служба в 1902—1904 годах привела его к



Е. Я. Архиппов
с женой и сестрой.
Новороссийск, 1928

знакомству с В. И. Качаловым и К. С. Станиславским. В 1903 году Евгению Яковлевичу довелось увидеть в театре — «на репетициях в партере и за кулисами» — А. П. Чехова и М. Горького.

Среди «внутренне ценных и решающих моментов жизни» этого периода он выделял свои встречи с литераторами. 9 января 1904 года посетил К. Д. Бальмонта, который подарил благоговевшему перед поэзией студенту томик своих переводов из Шелли и посвятил стихотворный экспромт. Евгений Яковлевич был в редакции «Весов», где встретил В. Я. Брюсова. На лекциях С. Н. Трубецкого и Л. М. Лопатина он часто встречал молодых Бориса Бугаева (Андрея Белого) и Льва Кобылинского (Эллиса).

Событиями духовной жизни 1905 года становятся для Архиппова первая книга стихов А. А. Блока и знакомство с поэтом Андреем Звенигородским, дружба с которым сохранилась у него на всю жизнь. Тогда же он сам начинает писать стихи.

В 1906 году учеба подходит к концу. Темами кандидатской работы по славяно-русскому отделению он выбрал лирику Тютчева, по историческому — жизнь протопопа Аввакума. 30 мая управление Московского учебного округа выдает Е. Я. Архиппову свидетельство о получении им диплома первой степени. С помощью отца он получает назначение в

женскую гимназию во Владикавказе — в главном городе Терской области. Здесь и суждено было Евгению Яковлевичу провести следующие 9 лет своей жизни...

Впрочем, скучать было некогда. Помимо курса истории, Архиппов берет на себя обязанности библиотекаря. Одновременно читает лекции в Обществе народных чтений и пишет в местные газеты. 16 мая 1907 года появляется первая статья (в газете «Терек») — о поэзии Аполлона Майкова. В дальнейшем он публикуется также в газете «Белый цветок» (Владикавказ), в «Нижегородской земской газете», в «Журнале министерства народного просвещения» и в «Трудах Кавказского учебного округа». Темой — снова поэзия: А. Н. Апухтин, К. Д. Бальмонт, А. К. Толстой, А. А. Фет. 1 апреля 1912 года «Терек» печатает статью Архиппова «Не давайте им умирать»: горячий призыв о помощи голодающему Поволжью. Это выступление было замечено и одобрено молодым С. М. Кировым, также сотрудничавшим в «Терек».

Внимательно следит Евгений Яковлевич за всем новым в русской литературе — особенно в поэзии. Событием становится для него в 1909 году «Серебряный голубь» А. Белого, в 1910-м — сборники стихов И. Ф. Анненского и М. А. Волошина, а также подборка стихов Черубины де Габриак в «Аполлоне». 1912 год знаменуется поэзией А. А. Ахматовой, Н. С. Гумилева и М. А. Кузмина... В этот период Архиппов начинает исподволь собирать материалы для библиографии ведущих русских поэтов-символистов — вырезая статьи и рецензии о них из газет, журналов, книг. Однако главным объектом его внимания становится Иннокентий Анненский. «Впервые обратился к его имени в Москве, в 1901 году, по поводу перевода «Алкесты», — вспоминал Евгений Яковлевич. Известие о внезапной кончине поэта 30 ноября 1909 года, а затем сборник «Кипарисовый ларец» потрясли его и вызвали «резкий поворот к Иннокентию Федоровичу».

С 1912 года Архиппов сближается с поэтом А. А. Альвингом (Смирновым), также страстным поклонником Анненского, организовавшим в Москве издательство «Жатва». В альманахе с этим же названием в 1914 году и публикуется архипповская «Библиография И. Анненского», вскоре выпущенная отдельным, расширенным изданием. На 34 страницах этой брошюры перечислены не только отдельные издания стихов, статей, трагедий и переводов Анненского, но и некрологи, отдельные упоминания имени, цитация, посвящения.

Весной 1915 года в издательстве «Жатва» выходит следующий труд Архиппова — сборник критических статей «Миртовый венец». Сборник объединил уже публиковавшиеся в периодике работы — о поэзии А. К. Толстого, А. Н. Апухтина, Е. А. Баратынского, К. Д. Бальмонта, А. А. Фета; впервые была напечатана лишь статья о лирике Анненского — «Никто и ничей». «Это наброски моих раздумий над поэтами... записи интуитивных образов», — определял сам автор. К сожалению, эти этюды, написанные в манере символистской критики, избыточные красноречиями, нельзя назвать удачными...



Е. Я. Архиппов (стоит)
с учителями гимназии.
Владикавказ, 1915

Думается, что слабым местом автора как критика и поэта было его эстетство. Но верному замечанию К. Д. Бальмонта, он был человеком, «который... молится Красоте». Это подметил и корреспондент владикавказской газеты, весной 1915 года писавший об Архиппове: «Красиво о красивых вещах говорит... Красивым почерком на красивые темы пишет... Слишком много красивого!» К счастью, это эстетство не породило у Евгения Яковлевича самовлюбленности; он оставался скромнейшим человеком и в глубине души, по-видимому, сознавал посредственность своих статей и особенно стихов...

Летом 1915 года Архиппов назначается инспектором реального училища в Нальчике — горном селении в Кабардино-Балкарии. Здесь он встретил поэта С. П. Боброва. В 1916 году состоится новый перевод — на этот раз в Новороссийск, в мужскую гимназию. «Запах древнего моря. Сладкий запах соли и ветра», — записывает Евгений Яковлевич.

В декабре 1917 года в Новороссийске установилась Советская власть. А в августе 1918-го город был занят белогвардейцами, продержавшимися до весны 1920-го. В этот период Архиппов познакомился с В. Э. Мейерхольдом; о котором оставил любопытную запись: «В смутном времени он все искал мистической ауры вокруг имени Дмитрия Угличского. В тюрьме потребовал «Доктора Дапергутто» и «Жезл Аарона». Помню,

ему очень хотелось, чтобы хоть раз Дмитрий Царевич и Самозванец встретились в отроческих годах...» Мейерхольд попал в белогвардейскую тюрьму осенью 1919 года — значит, встреча Архиппова с ним произошла, как минимум, зимой.

27 марта 1920 года Новороссийск был освобожден Красной Армией, — а 12 мая состоялось открытие Театральной студии при Первом советском театре. В этой студии, руководимой Мейерхольдом, Архиппов читает лекции по античной трагедии. Удостоверение же «на право учета книжного и нотного имущества», выданное ему, свидетельствует о том, что и здесь он становится добровольным библиотекарем...

В 1921 году страшным ударом для Архиппова становится известие о смерти А. А. Блока. Тогда же он начинает переписку с поэтессой Е. И. Васильевой (Дмитриевой), выступавшей под псевдонимом Черубина де Габриак. Увлечение ее стихами было настолько сильным, что временно оттеснило на второй план поэзию Анненского. В 1921 году происходит и сближение с молодой учительницей К. Л. Иовиной, вскоре ставшей женой Евгения Яковлевича.

Работа в школе — теперь советской — продолжается, и она, без сомнения, потребовала от Архиппова определенной перестройки. Его идеалистическое воспитание, его приверженность к символизму плохо сочетались с новыми требованиями к школам (как именовали тогда школьных работников). Несомненное влияние оказали на него в тот период встречи с Ф. В. Gladковым, до конца 1921 года возглавлявшим Отдел народного образования в Новороссийске. В Доме народного просвещения Архиппов читал учителям школ лекции о Горьком, Маяковском, современной литературе; был избран председателем педсовета своей школы.

Не оставляет Евгений Яковлевич и библиографию. В 1922 году он завершает два тома библиографии символистов, в 1924-м составляет «Библиографию кн. А. В. Звенигородского». 1923 годом датирован «Опыт словаря поэтов»: список поэтов по группам, охватывающий 1895—1920 годы, с учетом нескольких десятков русских журналов, сборников и альманахов. В 1926 году, по просьбе Государственной академии художественных наук, Архиппов составляет справку о литераторах Новороссийска.

Событием 1926 года становится для Евгения Яковлевича приезд в Новороссийск Всеволода Рождественского, через которого, в свою очередь, завязывается переписка с М. А. Волошиным. А в марте 1928-го, по пути из Kisловодска, сам Максимилиан Александрович заезжает в Новороссийск. При расставании поэт дарит Архиппову свой сборник «Демоны глухонемые», которых, к слову, у него были считанные единицы! По-видимому, Волошин сразу почувствовал, насколько «бескорыстно предан» Евгений Яковлевич «интересам русской поэзии»...

Тогда же завершается работа над собиранием всех стихотворений Е. И. Васильевой: в апреле 1928 года машинописный том в 350 листов подготовлен. А в июле состоится выезд в Ленинград: первая его отлучка с Кавказа после университета! В автобиографии «Золотая маска» Архип-

пов вспоминал: «Эрмитаж. Комната Рембрандта. Зимняя канавка. Английская набережная... Две встречи с М. А. Кузминым...» В Царском Селе он встречается с сыном Анненского, В. И. Кривичем, и искусствоведом Э. Ф. Голлербахом. Происходит личное знакомство с литературоведом Д. С. Усовым, с которым давно шла переписка...

Вернувшись в Новороссийск, Архиппов работает над составлением томика избранных стихотворений Черубины, редактирует «автобиографию», составленную из ее разрозненных высказываний. В ноябре начинается «линия тяжелых испытаний»: кто-то из сослуживцев пишет донос — будто бы он «служил при дворе»! В середине декабря приходит известие о кончине Черубины, а 1 февраля 1929 года следует сокращение Архиппова со службы...

Узнав о случившемся, Волошин пишет «несколько слов» наркому просвещения А. В. Луначарскому (которого знал по Парижу). С резолюцией Луначарского: «Прекратить безобразие относительно Е. Я. Архиппова» — бумаги пошли во ВЦИК, но там, по-видимому, затерялись. Помогло вмешательство Ф. В. Гладкова: горячо возмущившись этой историей, он обратился к члену коллегии Наркомата РКИ СССР М. Ф. Шкирятову... 15 октября 1929 года Архиппов благодарил писателя за помощь: «Я — в той же 3-ей школе, правда, я не имею ставки...»

Событием 1931 года стала поездка Архипповых в Коктебель, к Волошину. 16 дней прошли в насыщенных беседах, чтении стихов, просмотре книг и картин. «Они поражают деликатностью, робостью, вежливостью, интересом к стихам и поэтам, — отмечал Волошин. — Было наслаждением показывать ему свои архивные и книжные сокровища и редкости». Гость, в свою очередь, вел подробный дневник — и позднее, в 1934 году, написал на его основе точный и вдумчивый «отчет» о пребывании в Коктебеле.

В том же 1931 году Архиппов переезжает во Владикавказ (только что переименованный в Орджоникидзе). Здесь он знакомится с молодым поэтом А. С. Кочетковым, горячим поклонником которого немедленно становится. Подчеркнем эту симпатичную черту библиографа — его особое пристрастие к поэтам недооцененным. Единственный раз осмелившись обратиться к А. А. Блоку, он сделал это в надежде получить одобрение стихам друга, А. Звенигородского. До конца жизни оставался Евгений Яковлевич верен поэзии А. А. Альвинга, Е. И. Васильевой, М. А. Волошина, В. А. Меркурьевой, А. С. Кочеткова, Д. С. Усова — несмотря на глухое непризнание, которое им сопутствовало. А ведь он сам был непризнанным поэтом — и мог бы приложить больше усилий для пропаганды и «продвижения» собственных стихов!

В середине августа 1932 года приходит известие о кончине Волошина. Последним приветом от старшего друга стала для Архиппова составленная им анкета «о любви к поэтам». 30 июня В. А. Рождественский записал ответы на нее Волошина: 37 позиций об его отношении к целому ряду писателей, ценнейший материал для исследований! Отметим, кстати, и это качество Архиппова: своими вопросами он не раз побуждал других к фиксации их мыслей, воспоминаний, деталей быта...

Автобиография «Золотая маска» заканчивается 1935 годом — и сведения о дальнейшей жизни ее автора довольно отрывочны. Он продолжал добросовестно работать в школе, по-прежнему писал стихи. В 1935 году составил схему «Противоречия во взглядах Л. Толстого» (по статьям В. И. Ленина); в 1937-м написал статью «Великий поэт-патриот» о Пушкине; в 1938-м составил «Книгу о Вере Меркурьевой»; в 1940-м написал статью «Памяти Александра Блока. (К 60-летию со дня рождения)». Вел переписку с Э. Ф. Голлербахом, П. Н. Лукницким, В. А. Рождественским...

В эти годы «отъединенный мечтатель» живет жизнью всей страны. Вместе со своими учениками выезжает летом на полевые работы в колхоз; в 1930—1931 годах, «в порядке общественной нагрузки», ведет занятия с начсоставом стрелкового полка (готовит командиров к поступлению в Высшую военную школу). Вместе со всем народом Архиппов и в тяжелые военные годы; свидетельством тому — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», полученная им в 1946 году. А в 1948-м за безупречный многолетний труд в области народного образования он награждается орденом Ленина. (В это время Евгений Яковлевич был уже преподавателем Северо-Осетинского педагогического института им. К. Л. Хетагурова.) 15 августа 1950 года, на 67-м году жизни, Архиппов скорострительно — от кровоизлияния в мозг — скончался.

* * *

Оценивая творческое наследие Е. Я. Архиппова, следует прежде всего назвать его литературные портреты и воспоминания: «Лектистернии» (по древнеримскому обряду чествования богов), «Рассыпанный стекларус» и другие очерки. Они легко читаются, содержат много интересных фактов — и вполне представимы в виде отдельной книжки. Непреходящую ценность имеют литературные анкеты Архиппова и его «Коктебельский дневник» — которые также могли бы войти в сборник его трудов. Много интересного материала содержат сохранившиеся письма Евгения Яковлевича и письма к нему.

Еще при жизни начали получать признание работы Архиппова по библиографии, причем не только анненскиана. В 1927 году В. А. Рождественский писал Евгению Яковлевичу: «В особенности благодарю Вас за библиографию Бодлера. Она оказала мне существенную помощь...» В наши дни литературоведы все чаще обращаются к «Словарю поэтов», к библиографии символистов и В. Ф. Эрна, к материалам о Черубине де Габриах.

Статья об Архиппове как о литературоведе (автором ее был Д. С. Усов) должна была появиться во втором томе библиографического словаря «Писатели современной эпохи», но том этот не увидел света. В настоящее время имя литературоведа включено в трехтомный энциклопедический словарь «Русские писатели. 1800—1917», подготавливаемый издательством «Советская энциклопедия».

Свой добрый след оставил и Архиппов-библиофил: и в государственных, и в частных собраниях хранятся созданные им рукописные сборнички-антологии различных поэтов. Каллиграфически выписанные, с раскрашенными инициалами, на бумаге разного сорта и любовно переплетенные, они «издавались» тиражом в несколько экземпляров и раздавались друзьям. Объем их обычно невелик: в сборничке «Петрокеравия» — по одному стихотворению М. Волошина, В. Ходасевича, С. Парнок, Ю. Верховского; в сборничке Волошина, озаглавленном «Россия», — пять стихотворений. Более объемистые сборники печатались на машинке: сборник стихотворных посвящений самого Архиппова (Брюсову, Гумилеву, Ахматовой, Рождественскому и другим) состоит из 35 листов, «Моя антология» (из разных поэтов) — из 76. В сборнике А. С. Кочеткова «Поэмы и стихотворения» 173 листа.

Сохранилась фотография одного из книжных шкафов Архиппова — с книгами «по лирике». Судя по этому снимку, книги он держал под стеклом, многие — в «штучных» переплетах безукоризненной сохранности. Клавдия Лукьяновна (вдова литератора) вспоминала: «Евгений Яковлевич очень любил книги: бережно, благоговейно к ним относился, переплетал их в редкие, красивые ткани». Чтение наиболее дорогих ему книг превращалось у Архиппова в своего рода ритуал, было праздником. Он отмечал: «1929. Размеренное (3-е) чтение "Преступления и наказания"; «1933... Размеренное, медлительное и воспоминательное чтение «Начала века» (А. Белого. — В. К.); «1935. Третье чтение "Идиота"».

Порой книги приводили Евгения Яковлевича в своего рода транс, заставляя забывать о том, где он находится. Летом 1925 года, забывшись на приставной лестнице, он упал «с высоты книжных полок». Очень показательно следующее признание Архиппова: «Взятая у меня книга, конечно, осквернена. Чиста, прекрасна и непорочна только та, которую я один знаю и читаю. И много надо пассов и приневоливания себя, чтоб отогнать от листов облившую и враждебную ауру грубых прикосновений. Без новых освящений книга может быть принята только от близкого человека и <от> любимой женщины...»

* * *

Большая часть материалов Архиппова (и о нем) хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР. Есть там и несколько фотографий Евгения Яковлевича. Высокий лоб, пышные волнистые волосы, ухоженная бородка клинышком, аккуратно подстриженные усы. Позируя, он обычно снимал очки, держал их в руке, — и слегка откидывался назад. Эстет! Недаром одна знакомая называла его в шутку Дорианом Евгеньевичем.

Однако эта его явная слабость не может заслонить от нас главные качества Е. Я. Архиппова: поразительное трудолюбие и огромную любовь к культуре. И лучшим определением этой светлой личности остаются слова Всеволода Рождественского, написавшего Евгению Яковлевичу 17 мая 1929 года: «А Вы для меня все тот же дорогой энтузиаст мечты... садовник вечных роз, хранитель ключей, лучший друг слова...»

*Иннокентий Анненский**МОЙ СТИХ*

Недоспелым поле сжато;
И холодный сумрак тих...
Не теперь... давно когда-то
Был загадан этот стих...

Не отгадан, только прожит,
Даже, может быть, не раз,
Хочет он, но уж не может
Одолеть дремоту глаз.

Я не знаю, кто он, чей он,
Знаю только, что не мой, ---
Ночью был он мне навеян,
Солнцем будет взят домой.

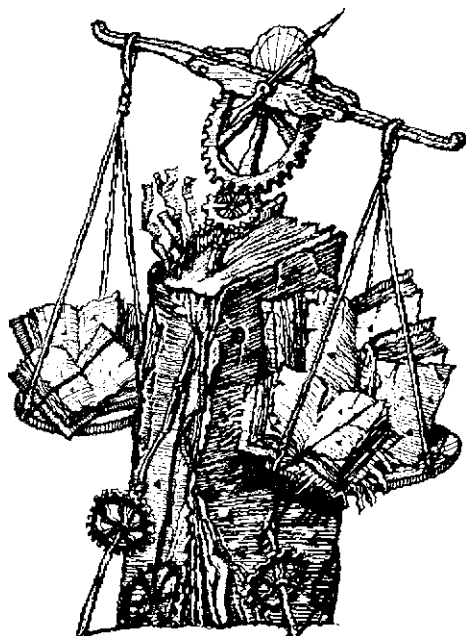
Пусть подразнит --- мне не больно:
Я не с ним, я в забытьи...
Мук с меня и тех довольно,
Что, наверно, все — мои...

Видишь — он уж тает, канув
Из серебряных лучей
В зыби млечные туманов...
Не тоскуй: он был — ничей.

ПОЛЕМИКА

Павел Горелов

«ИСТОРИЯ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ...»



Павел Горелов
«ИСТОРИЯ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ...»

Когда на склоне лет В. С. Печерин набрасывал свои автобиографические заметки, он прекрасно осознавал, что ему легко было бы просто пересказать основные факты своей внешней биографии, но вот как описать самое главное — «постепенное, медленное, многосложное развитие духа», «как размотать эти тонкие нежные нити мысли, крепко связанные неутомимую логику жизни, если они к тому же «вошли в сок и кровь», «перевились с моими нервами»?

Слово «мысль» здесь ключевое.

Еще в 1837 году, объясняя в послании гр. С. Г. Строганову сокровенную причину своего отъезда из России, В. С. Печерин писал: «Я извлек из своего сердца несколько капель крови и подписал окончательный договор с дьяволом, а этот дьявол — мысль». Если в этих выражениях вынести за скобки юношеские «вопли издыхающей сентиментальности», которая, вообще говоря, «издыхала» в Печерине долго и с трудом, то уже здесь можно обнаружить начало осознания им того «совершенного единства», которое сам Печерин на закате лет склонен был усматривать в «длинной поэме своей жизни». «Мне хотелось быть *практическим* поэтом. Оно и в действительности так осуществилось, и даже больше, чем я желал». Поэтому правы, конечно, те, кто вслед за самим Печериным пытается понять смысл и содержание этого предуказанного им единства, другое дело — в чём его видеть и какой ценой такого видения добиваться.

Так, например, М. О. Гершензон, в неустанном стремлении к совершенствованию, уже в 1904 году в № 10 «Научного слова» начал поправлять то, что приписал Печерину в № 4¹. Затем исследователь корректировал себя в 1908-м². Дополнял, исправляя, в 1910-м³. Уточнял в 1915-м⁴. И наконец, подготовил радикальное опровержение самого себя позднее, когда с появлением «Замогильных записок» В. С. Печерина⁵ стало невозможно удержать тщательно оберегаемое М. О. Гершензоном на протяжении всех предыдущих правок центральное положение его концепции, будто Печерина из России — этого будто бы «всемирного фокуса деспотизма» — влекла на Запад вдохновлявшая его всю жизнь (как и Макса Штирнера, кстати, по утверждению Гершензона) «мечта об осуществлении потенциальной красоты человека, о водворении на земле царства разума, справедливости, радости и красоты», чуждого всякой национальной окраски.

Не убежденный Гершензоном, что «прекраснее этой мечты человечество ничего не знает», Л. Б. Каменев в 1932 году попрекнул покойного исследователя за то, что его обстоятельная монография 1910 года «далеко не вполне отражает подлинный облик автора "Замогильных записок"», и потому сам предложил другое понимание искомого единства, объявив Печерина «первым русским политическим эмигрантом XIX века, сознательно и обдуманно вступившим на этот путь» и павшим на нем «жертвою русской истории». При этом как-то легко забылось, что «пасть» этой

жертве пришлось по собственному и очень страстному желанию и к тому же почти через пятьдесят лет после «эмиграции» и что куда логичнее было бы поэтому разглядеть в Печерине, две последние трети своей жизни проведенные за границей, хотя бы спрavedливости ради, еще и «жертву европейской истории», или, как своего рода предел подобной тенденции, — «жертву собственной судьбы».

Кстати, так, по существу, и поступил впоследствии А. А. Сабуров⁶. Печерин для него — «вечный беглец», вся жизнь которого — непрерывный ряд внутренних конфликтов и вопиющих противоречий, закончившихся полной жизненной катастрофой. Все же А. Сабуров верно отметил, что свое представление о последнем периоде жизни Печерина М. О. Гершензон строил на анализе приписанного им Владимиру Сергеевичу стихотворения «Прочь, о демон лучезарный...». Между тем на самом деле В. С. Печерин признавался в письме Ф. В. Чижову: «...ни физически, ни нравственно мне невозможно быть автором этого стихотворения...»

Итак, кощеница М. О. Гершензона, не говоря уже о спровоцированной ею же и только заостренной Л. Б. Каменевым тенденции, напора вновь открывающихся фактов не выдерживала и в конце концов закономерно распадалась. Правда, неприкосновенным оставался самый способ познания, «прием обобщений», практикуемый автором «Жизни В. С. Печерина», обобщений, которые умело игнорировали исторически-конкретное как качественно-единственное и исподволь стирали грань между модальным и действительным.

Вот только один пример. После упоминания Жоньо и Бушо, радикально, по его мнению, определивших судьбы Грановского и Герцена, М. О. Гершензон пишет: «К этому типу (французского радикалиста с немецко-швейцарским происхождением, живущего в России. — П. Г.) принадлежал, *по-видимому*, и гувернер Печерина. Он не мог не полюбить своего пылкого, одаренного живой фантазией ученика, и, *вероятно*, в пламенных речах завещал ему непримиримую ненависть к деспотизму, учил его гражданскому героизму и любви к свободе по Плутарху, и, *может быть*, ему самому, этому богато одаренному мальчику, слушавшему его с горящими глазами, пророчил, как Ромм Строгонову, великую будущность в первом ряду борцов за процветающую в древности, ныне попорченную свободу. А грубый гнет отцовской муштры делал впечатлительную душу мальчика еще более восприимчивой для радикальных идей учителя». Этот кусок написан от начала до конца в *условном* модусе ходульной беллетристики, но воспринимается, благодаря умело рассчитанному пафосу автора, как неоспоримое свидетельство строгого историка.

Вспомнить обо всем этом для начала было просто необходимо. Ведь, читая заметку А. Корнеева «Печорин и Печерин»*, очень легко обнаружить, как автор ее начинает на наших глазах заново возводить то самое здание, которое принужден был собственными руками разрушать уже первый его строитель. И это притом, что уровень знаний

* Альманах библиофила. Вып. 22.

А. Корнеева, если так позволено выразиться, еще явно догершензоновский... В самом деле.

Во-первых: для начала А. Корнееву стоило бы, пожалуй, упомянуть, что «нерв» его статьи — сопоставление фамилий Печорина и Печерина — вещь далеко не новая. Еще в 1907 году проф. Е. Бобров писал: «...фамилия Печерина (или Печорина, согласно произношению) не осталась чуждою Лермонтову и даже твердо засела у него в памяти, воскресши в «Герое нашего времени»... Очевидно, громкая история эмиграции профессора Печерина дошла и до сведения тех кругов общества, где тогда вращался Лермонтов»⁷. Оставим сейчас в стороне мало свойственное объективной корректности Е. Боброва утверждение о «громкости» вышеупомянутой истории: отъезд Печерина и с его стороны, вопреки мнению А. Корнеева, вовсе не был «вызовом, решительно брошенным обществу», а кроме того, как верно отметил Гершензон, и «в Москве ничего не шлохнулось». Достаточно сказать, например, что лишь в 1848-м, то есть только через 12 лет после отъезда Печерина, да и то по случайности, состоялось постановление Сената, признавшее его виновным в «недозволенном оставлении отечества» и «в отступлении от православного исповедания в римско-католическое», что и позволило в конце концов задним числом «счесть его навсегда изгнанным из отечества»⁸.

Во-вторых: даже если заняться вместе с А. Корнеевым «забавной арифметикой» школьного образца, предварительно согласившись с ним, что «герой Лермонтова действительно существовал», и путем весьма сомнительных подсчетов (отождествляющих, например, Лермонтова с его повествователем) добиться, в конце концов, того нелепого результата, что Печорины «оказались бы» ровесниками, то остается совершенно непонятным — зачем это «ровесничество» могло потребоваться Лермонтову (и откуда с такой точностью стало известным) и что, собственно, оно давало его читателям.

Ответ А. Корнеева: «Образ Печорина, безусловно, ассоциировался с Печериним в сознании современников».

Мы уже не будем упоминать, что число осведомленных современников можно было бы пересчитать по пальцам, важно другое — таинственный и чудесный процесс создания образа, так объясняемый, напоминает по комизму ту замечательно типичную сценку из романа М. Булгакова, где финдиректор Римский пытается наглядно представить себе волшебную доставку Лиходеева из Москвы в Ялту реальным способом — «в носках» и «в истребителе»...

Да, так в чем же видит сам А. Корнеев смысл этой очевидной для него ассоциации? Он пишет: «И реальный Печерин, и лермонтовский Печорин наделены острым аналитическим умом, позволяющим верно судить об обществе, созавать его пороки, и горячим сердцем, способным глубоко чувствовать и сильно переживать. Это — волевые, деятельные натуры, которые идут на решительный разрыв с окружающей действительностью, оба они покидают пределы Российской империи с намерением никогда не возвращаться обратно» (курсив мой. — П. Г.).

И это — все.

Неважно, что лермонтовский герой в отличие от В. С. Печерина «скачал в Петербурге, скачал на Кавказе, едет скачать в Персию»⁹, и вообще неважно, в чем могут обнаруживаться их различия: все эти «зачем», «куда», «почему» и т. п. для А. Корнеева, плененного звуковым сходством фамилий, просто ничего не значат, ведь, по его мнению, есть главный их «роднящий» и все искупающий факт — откуда уехали Печерины. Разнообразием аргументации А. Корнеев себя тоже не затрудняет: «Обладая глубоким аналитическим умом, позволявшим верно судить об окружающем обществе, видеть его пороки, будучи человеком деятельным и волевым, Печерин не может заставить себя примириться с действительностью николаевской России. Беспредельная тоска от сознания невозможности претворить в жизнь стремления, пасть применение своим силам, горестные думы о беспечности существования, овладевшие разумом Печерина, — все это так близко герою Лермонтова! Из этого заколдованного круга был только один выход...» (курсив мой. — П. Г.).

И этот всеспасающий выход — отъезд.

«— Я никак не был и не буду верноподданным! Я любил правосудие и ненавидел беззаконие и потому умираю в ссылке! Вот эпитафия к моей жизни и моя эпитафия после смерти», — с пафосом цитирует А. Корнеев Печерина, забывая, правда, поставить многоточие после первого предложения и не вспоминая, что идущие в источнике через страницу текста два следующих — это предсмертные слова папы Григория VII, но вовсе не последние слова самого В. С. Печерина.

Представители тенденции, к которой вольно или невольно примкнул и А. Корнеев, любят для полной ясности цитировать и еще:

Как сладостно — отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

Правда, они тоже совсем не хотят вспоминать, что через четверть века католический монах о. Печерин, словно отсылаясь на свои же строки, напишет: «О, Рим! — Как я тебя ненавижу!.. О, Рим! Я ненавижу тебя: ты арена честолюбия и подлых интриг. Здесь забывают о душе и думают только о должностях и повышении доходов, живут только для себя — "создадим себе имя!.."» А по поводу вышецитированных стихов о России разъяснит: «Неудивительно, что в припадке байронизма я написал эти безумные строки... Не осуждайте меня!..»

В-третьих: о юношеской поэме В. С. Печерина «Торжество смерти» А. Корнеев, в частности, пишет: «Ее... хорошо знал Ф. М. Достоевский, давший в романе «Бесы» обстоятельный пересказ многих эпизодов поэмы».

У нас нет места, чтобы подробно привести из «Бесов» те страницы, где Ф. М. Достоевский «обстоятельно пересказывает» поэму Печерина. Приведем только квалифицированную в этом отношении оценку Л. Б. Каменева: «Когда... в 1870 г. Достоевскому, в его направленном против

революционеров романе «Бесы», понадобился образчик «бессмысленных мечтаний» революционной интеллигенции, он вспомнил именно о поэме Печерина и пародировал ее в целях осмеяния социальных и богоборческих тенденций революционеров 40-х годов».

Замечательно, что и сам Печерин в 1853 году ответил А. И. Герцену на его предложение опубликовать поэму: «Я, право, на эти ничтожные произведения смотрю, точно будто другой писал; мне до них дела нет, как больному до бреда после выздоровления».

Надо сказать, что и сам Корнеев тоже видит в судьбе Печерина «цельность» и «единство». Правда, при таких познаниях и способах мышления это ему удается беспрепятственно. Ведь даже в обращении В. С. Печерина к религии для А. Корнеева выразился только «неосознанный протест против канонов действительности николаевской России, против канонов Российской империи». Чтобы быть настолько последовательным, требуется уже какая-то патологическая ненависть к России, которой В. С. Печерин явно наделен не был.

Он, кстати, писал: «Я был добросовестным сенсимонистом, фюреристом, коммунистом и логическим путем, без всякого *внешнего* влияния, дошел до католицизма».

По А. Корнееву же, вся судьба Печерина оказывается лишь добросовестным осуществлением заветов, преподанных ему еще в детстве гувернером В. Кесманом («пламенный бонапартист» и «вместе с тем отчаянный революционер», как описал его М. О. Гершензон, кончил самоубийством по причинам, далеким и от бонапартизма, и от революционности) и его ближайшим другом отставным поручиком Сверчевским, который был расстрелян в 1831-м по связи с польским восстанием. Но надо сказать, что ненависть к деспотизму у В. С. Печерина (А. И. Герцен точно писал о том, что единоло их с этим монахом: осуждение «императорского режима, установившегося при Николае») не означала ненависти к русскому народу.

Показательно, например, что кн. А. М. Горчаков, которого В. Печерин считал выдающимся деятелем славянской цивилизации, вспоминал о том времени: «Я первый в своих депешах стал употреблять выражение «Государь и Россия». До меня не существовало для Европы другого понятия по отношению к нашему отечеству, как только: «император». Граф Нессельроде даже прямо мне говорил с укоризной, для чего я это так делаю? "Мы знаем только одного царя... нам нет дела до России!"».

Соображения о Кесмане и Сверчевском, их значимости рождены у А. Корнеева, как и многие предыдущие его соображения, простым нежеланием выслушивать самого Печерина. Между тем он писал: «...у меня (до 1833 года. — П. Г.) не было никаких политических убеждений, да и никаких убеждений вообще. Был у меня какой-то пошленький либерализм, желание пошуметь немножко и потом, со временем, попасть в будущую палату депутатов конституционной России, — далее мысли мои не шли».

В-четвертых: ложный взгляд на Печерина приводит А. Корнеева к искажениям и манипуляциям с целым рядом общеизвестных фактов —

от сравнительно безобидных, когда «мнивший себя латинистом гр. С. С. Уваров» у М. Гершензона, под пером А. Корнеева превращается в дилетанта, «считавшего себя знатоком древней Эллады»¹⁰, до гораздо более серьезных, когда, не разобрав толком по пересказу Гершензона, о чем идет речь, А. Корнеев то представляет М. П. Погодина сочувствующим Печерину¹¹, то, когда оснований для сочувствия явно не видно, дает понять читателю, вслед за Гершензоном же, что в лице Погодина перед нами тот самый «грубый циник, который в своем дубовом патриотизме носил западную жизнь и западную науку».

Проф. С. П. Шевырев так и вовсе прямо предстает ходячей эмблемой — «благонамеренным старым профессором, насыщенным деньгами, крестиками и всякой мерзостью». Кстати, исключительно за то, что, по словам А. Корнеева, «подвизаясь много лет на поприще литературной критики», «тщился представить лермонтовского героя чуждым русской жизни» и, припомнив заодно о «мятежном» человеке «со сходной фамилией», выплеснул на них всю «желчь и раздражение».

Обвинения А. Корнеева просто неслепы, внесмысленны, ведь он совершенно всерьез склонен утверждать, будто М. Ю. Лермонтов провозгласил Печориных — действительными героями времени и единственно по причине их славного отъезда из России... в разных направлениях.

А какова Москва под пером А. Корнеева! «...Эта среда застоя, сытой пошлости, самодовольной тупости, мелкой зависти, интриг из-за чинов и орденов, прибавки к жалованью, расположения начальства». Прав был и здесь С. П. Шевырев: «...все, чему будто нельзя сбиться в другом городе, отсылается в Москву...» Сам М. Ю. Лермонтов предстает в соответствии с выводами А. Корнеева некой странной фигурой, единственный символ веры которой: «Прощай, немая Россия!..»

Нет никакой возможности, да и нужды, корректировать и уличать А. Корнеева в-пятых, в-шестых и так далее...

Да и можно ли вообще признать серьезной попытку писать об «истории души человеческой», пользуясь такими образами: «Судьба этого человека была яркой и необычной — точно метеор, промелькнула во тьме глухой ночи николаевской реакции» или: «Много страстей обуревало мятежную душу изгнанника, пока он не облачился в сутану католического священника и — погрузился в глубокий сон» и т. д.

Это лексика из словаря, номенклатуру которого нам теперь следовало бы поскорее забыть.

Но оставим, наконец, в стороне стихию полемического задора и попробуем, ничего не доказывая, *показать*, хотя и частично, лишь одну «тонкую и нежную нить мысли» Печерина, которая «вошла в его сок и кровь» и «перевилась с его нервами», нить, с обрывом которой для Печерина — по его собственному признанию — пропадало все...

* * *

Два самых ярких впечатления детства, которые навсегда с тех пор залегли в душу Печерина, — это потрясающая история смерти Спасите-

ля» и державные залпы пушек, возвестившие «об изгнании французов из России».

В 1831 году он писал из Петербурга своей кузине, с нетерпением ожидая выхода в свет романа Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 г.», отрывок из которого он читал в «Телескопе»: «...душа воспламеняется, сердце бьется, когда видишь утраченные черты подлинного национального характера...

Негде вам склонить главы,
 Бедные сыны России!
 Гибнете под игом вы
 Чужеземной тирании!
 Где ты, где, святая Русь?
 Где отцов простые нравы?
 Где живые их забавы?
 Ах! куда не оглянусь —
 Племя хладное, чужое
 Подавило все родное...

Где ты, где, святая Русь?»

Первые четыре года пребывания за границей были для Печерина непрерывной сменой одних фантазий другими, каждая из которых восходила к его вере в личное избранничество: «Сам бог с младенчества меня избрал, да буду я вождем его народу...» Тогда временами даже казалось, что он «и к богу кричит»: «Я не хуже тебя и мир перестрою по своему я!»

Ф. В. Чижов, дружбой которого Печерин дорожил всю жизнь, трезво оценивал этот период в судьбе своего друга: «...он поставил себя в такое положение, в котором, как в воде, чтобы спастись, хватаешься за все».

Кстати, об одной из фантазий Печерина, которые сам он был склонен расценивать как «политические планы», мы знаем более подробно. Она нашла позднейшее отражение и в русской литературе, особенно у Ф. М. Достоевского. «Будучи в Цюрихе, — писал Печерин в своих мемуарах, — я предложил было нескольким русским ехать в Америку и там основать образцовую русскую общину и издавать при ней русский журнал». Тот же Ф. В. Чижов, которому, кстати, мечты о личном призвании тоже не были чужды и к которому Печерин обратился как к одному из предполагаемых «сообщинников» для целей «свободного книгопечатания», увидел в задуманном предприятии будущего «поэтического общества» только «шалость восемнадцатилетнего молодого человека, увлекшего за рюмкой вина 5 или 10 молодых людей, ему подобных». Он писал: «...я всем обязан моему отечеству, — не любить его значило бы не любить моей матери, не любить ее и не жить для меня одно и то же». «Печерин, — объяснял он своему адресату, — как и многие, знает Россию понаслышке, я знаю ее собственными глазами и нахожу, что, не выезжая из нее, можно найти все элементы жизни». «Сливая мою будущность с моим

отечеством, — признавался Ф. В. Чижов, — я готов пожертвовать всеми узами (речь идет о дружбе с Печериным. — П. Г.) прежде, нежели решусь действовать, даже думать что-либо, могущее отдалить меня от моего отечества, в котором только я и могу найти все элементы жизни и нигде больше». Ехать в Америку, продолжал он, более всего для целей «свободного книгопечатания» способны только беспочвенные авантюристы (или, как позднее выразится Ф. М. Достоевский, «люди из бумажки»). Для Ф. В. Чижова только в России и «нигде больше может существовать и деятельность литературная». «И не смешно ли было бы, если б 10, 20 злоупотреблений заставили меня переменить и убеждение и вооружиться против страны, которой я обязан всем, за то, что из моего сочинения вычеркнули несколько строк».

Эта беспощадная критика, примеры которой можно было бы пополнить и многочисленными свидетельствами всех других лиц, знавших беглеца, для нас тем более показательна, что Ф. В. Чижов любил и очень высоко ценил Печерина.

В. С. Печерин, конечно, не лукавил, говоря впоследствии: «...среда, в которой я жил (в России. — П. Г.), проскользнула только снаружи, не коснувшись моей внутренней жизни», но тогда еще более поразительными предстают следующие обстоятельства.

Перед принятием католичества В. Печерин самым главным своим грехом на исповеди признал грех неисполнения обязанностей перед русским правительством и, принципиально не пожелав стать членом ордена иезуитов, писал, в частности: «...самое имя иезуитов было мне противно, да и притом пришла в голову мысль, что как в России узнают, что я сделался иезуитом, ведь это будет просто срам и позор».

Как раз в день своего пострижения, 28 сентября 1841 года, Печерин получил первое письмо от родителей, в котором они благословляли сына на принятие иноческого сана.

В 1842 году Ф. В. Чижов, посетив Печерина, писал А. В. Никитенко: «Монахи поняли его превосходно; они говорят ему: ...каждый наш шаг есть шаг человечества. — Ему только того и надобно. ...Вот пища самолюбия и надменности... уму его дано обширное поприще науки, именно его лингвистике... Чувствам дана полная свобода. Воле ни одного шагу, ни пошлагу, а он только того и желал».

Это подчинение воли нельзя путать с отказом от воли. Еще в период скитаний, объясняя свое неприятие масонства, Печерин признавался: «...с их покровительством я мог бы всего достигнуть. Но покровительства-то именно я и не хотел».

Когда Ф. В. Чижов говорил, что Печерин, скорее, нашел в католичестве «приют огромному самолюбию, нежели точно сердцем и умом покорился религии», он был, пожалуй, не совсем неправ. «Гордость духа» долго не угасала в Печерине. Лишь в 1853-м впервые в дневнике его появляется характерная запись: «Я маленькое существо, жалкое и телом и душой. Я мертвая собака. Я дымящаяся головешка, которую не желают потушить».

Что «мысль» Печерина действительно зрела и крепла в тиши монашеского молчания («...после нескольких лет бродяжной жизни и всякого рода политической и литературной болтовни... молчание было для меня истинным наслаждением...»), свидетельствует его переписка с А. И. Герценом, послужившая, кстати, предметом долгих раздумий Ф. М. Достоевского.

А. И. Герцен вспоминал о своей встрече с В. С. Печериним: «Я смотрел на него... видно было, что под этими морщинами много прошло и прошло tout de bon*, т. е. умерло, оставив только свои надгробные следы в чертах... Когда я ему рассказал об общих знакомых и о кончине Крюкова... о том, как его студенты несли через весь город на кладбище, потом об успехах Грановского, об его публичных лекциях — мы оба как-то призадумались. Что происходило в черепе под граненой шапкой — не знаю, но Печерин снял ее, как будто она ему тяжела была на эту минуту, и поставил на стол»¹².

Характерно, что, несмотря на ясное осознание пропасти, их разделяющей, Печерин тем не менее твердо знал и верил в одно, неоспоримо единящее его с А. И. Герценом: «...через эту пропасть я протягиваю вам руку соотечественника...»

В споре, вспыхнувшем тогда между ними, правда была на обеих сторонах. Дело даже не в том, что Герцен видел спасение в науке «пара и электричества», оправдывающей «шум колес, подвозящих хлеб насущный толпе голодной и полуодетой», а Печерин стоял за «обширную науку, которая обнимает все способности человека, видимое и невидимое»... Подлинный нерв спора был в другом.

А. И. Герцен писал: «...слабые и оторванные от народа, мы гибли. Но мало-помалу развилось нечто новое... элемент веры в силу народа, элемент, проникнутый любовью. Мы с ним только начали понимать народ. Но мы далеко от него... и то хорошо, что мы приветствовали русский народ и догадались, что он принадлежит к грядущему миру».

Вот о том, каков он, этот «грядущий мир», они и думали по-разному. «...Я готов вам, — признавался Герцен, — писать о громадных надеждах России, о том, куда она идет — о ее светской будущности. О духовной я не знаю ничего — и могу только молчать».

Что думал об этом В. С. Печерин? Продолжая диалог, он писал Герцену: «Я вообще вижу какой-то меланхолический отблеск на вас и на ваших московских друзьях. Вы даже сами сознаетесь, что вы все Онегины, т. е. что вы и ваши — в отрицании, в сомнении, в отчаянии. Можно ли переродить общество на таких основаниях? ...Иногда лучшие умы и благороднейшие сердца ошибаются в основе, сами не замечая того...»

И Огареву: «...останемся каждый при своих верованиях и послужим родине по силам. ...Потому, что я католический священник, не лишайте меня права называться русским... я действительно возвращаюсь в русский народ».

* Не на шутку (фр.).

Речь, разумеется, шла о духовном возвращении. О светской будущности России Печерин ждал ответа и верил в его подлинность только от того, кто единственно и мог его дать: «...посмотрим, что скажет русский народ».

Постепенно все больше разочаровываясь в католицизме («Мы не что иное, как светская конгрегация, и жизнь наша совершенно мирская»), особенно после поездки в Рим, когда у Печерина родилось отталкивающее чувство к папству под влиянием Крымской войны и наступлением нового царствования, — Печерин все более уверенно духовно возвращался на родину¹³. «Как же мне живому зарыться в этой могиле и в такую важную эпоху ничего не слышать о том, что делается в России! Итак, 19 февраля, освободившее 20 млн. крестьян, и меня эмансипировало».

Размышления о будущих судьбах мира и цивилизации обращали в веру и мысль Печерина («мое отечество там, где живет моя мысль, моя вера»). При главном убеждении, что «мирские волны бессильно разобьются о камень Петра», Печерин был уверен, что «Россия вместе с Соединенными Штатами начинает новый цикл в истории», а «латинские народы сгнили до корня и нет надежды на их возрождение, потому что они слишком много болтают; во многоглаголении несть спасения». «Время книг и речей прошло, приближается время меча. Существуют гордыевы узлы, которые может разрубить только меч. Остается думать, кто будет носителем этого меча. Мои глаза невольно обращаются к России, именно оттуда должно придти решение великого вопроса»¹⁴.

В августе 1865-го И. С. Аксаков в Москве получил письмо из Дублина со стихотворением и визитной карточкой: Rev-d V. Petcherine. О. Печерин писал: «...неизбежная судьбина — *ineluctabile fatum* — отделяет меня от родины, но прилагаемое стихотворение покажет вам, что я не забыл ни русского языка, ни русских дум. Я сам не могу себе объяснить, для чего я посылаю вам эти стихи. Это какое-то темное чувство — или просто желание переслать на родину хоть один мимолетный умирающий звук».

Есть народная святыня!
Есть заветный кров родной!

И. С. Аксаков напечатал в «Дне» 2 сентября 1865 года стихотворение Печерина. «...Это брат наш скорбит и страдает, это родная наша душа бьется... изнывает, и гибнет, и стонет! Он наш, наш, наш... Неужели нет для него возврата?.. Русь простит заблуждения...»

В. С. Печерин признавался почти тогда же А. В. Никитенко, что несмотря на лета чувствует свое сердце очень молодым и готов на новую деятельность, на новую борьбу, если нужно. «Ваша дружба, — признавался он ему, — связывает меня с Россиею: она постоянно напоминает мне, что я русский и что русское сердце бьется в груди моей».

И М. О. Гершензон отмечал в Печерине это удивительное преображение. «Он любит теперь Россию с трогательной детской нежностью.

Об ней он пишет чаще всего, письма из России — отрада его существования. Все русское представляет для него поглощающий интерес, — мало того: он гордится Россией. Его письма полны любовных отзывов о русских писателях, и еще чаще — полных патриотической гордости сообщений об успехах русской литературы на Западе. Он сам, разумеется, жадно читает все русское, что может достать. Он стал даже до некоторой степени националистом...»

Когда в 1868-м проф. Аткинсон, известный позднее своими переводами И. С. Тургенева, обратился к Печерину с просьбой помочь ему «в изучении языка господствующего народа, которому суждены великие судьбы», В. С. Печерин писал: «Эти русские уроки были для меня источником неопisanного наслаждения. ...Меня утешает уж одна мысль, что вот эдак хоть косвенным образом я могу сослужить службу России. И эта служба совершенно бескорыстная, никем не признанная и ни от кого возмездия не ожидающая. Это, конечно, не больше, как капля воды в океане, или, может быть, это песчинка, но прибавленная к гранитному зданию величия России».

«...Признаюсь, я поздно спохватился. Ну, что ж? не беда! Время еще есть, пока мы живем! ...Я решил не терять ни минуты времени. Рано ли, поздно ли придется мне сойти с поприща жизни, но никто не посмеет попрекнуть меня в бездействии. „Не посраим земли русския, но костями ляжем ту, мертвии бо срама не имут“».

«М ы с л ь» Печерина наконец выходит на прямую дорогу.

В 1876 году он доверится Ф. В. Чижову: «...меня заживо задело замечание Герцена, когда, по свидании со мной в 1853 г., он написал: «Все тут умерло, оставив только свои надгробные следы в чертах». Нет, брат, не угадал! Тут еще кое-что живет, и шевелится, и трепещет живучей жизнью. Загадка жизни еще не разгадана, узел драмы еще не развязан».

В кожаной папке В. С. Печерина лежит его последнее письмо Ф. В. Чижову, возвращенное с надписью о недоставлении за смертью адресата. Словно предчувствуя, что означает долгое молчание друга, и, страшась верить своей догадке, Печерин пишет: «Скажи, ради Бога, что случилось с тобою, любезный Чижов?.. Ты никогда не оставлял меня так долго без отзыва. Что же это значит?.. Не забудь, что ты единственная и последняя нить, связывающая меня с Россией, — если она порвется, то все прощай...» Нить эта порвалась...

Сам В. С. Печерин умер 17 апреля 1885 года в Дублине и похоронен на Гласневинском кладбище. Надгробный камень поставлен на его могиле сестрами милосердия больницы Mater Misericordiae.

Тем, кто и сейчас не оставляет попыток использовать против России саму же Россию, стоило бы лишний раз задуматься над предсмертным решением воли В. Печерина — его библиотека, бумаги и сочинения были отосланы на Родину и переданы в Московский университет. Этим он исполнял завет Ф. В. Чижова, видевшего значение духовного пути своего друга для России в том, что он, пройдя «через все подземные ходы», в которых повивалась сознательная жизнь современной Европы¹⁵,

сумел уберечь в своей душе то истонное, что, «как светлая идея, живет в сердце... исполненном веры, надежды и любви».

«Река времен» уносит все мелкое и несущественное, что когда-то могло мешать нашему пониманию, и, вдумываясь теперь в его судьбу, невольно припоминаешь, что писали друзья Печерину во время его учебы за границей: «...принеси нам свое сердце назад». Припоминаешь и его ответ: «О! оно всегда с вами, друзья мои, целое, невредимое, оно пребудет с вами!»

Что ж, а заблуждения ума, «источник которых так чист и возвышен», по словам И. Аксакова, их Русь действительно простит. Так, как только она прощать умеет...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Гершензон М. О. Печерин В. С. Науч. слово. 1904. Кн. 4.С. 65—88; Кн. 10. С. 63—111.

² Гершензон М. О. Процесс В. С. Печерина // Там же. 1905. Кн. 5. С. 79—90; Он же. История молодой России. М., 1908.

³ Гершензон М. О. Жизнь В. С. Печерина. М., 1910.

⁴ Русские Прописи. 1915. Т. 1.

⁵ Печерин В. С. Замогильные записки / Под ред., с введением и примеч. Л. Б. Каменева; Подгот. М. О. Гершензон. Тверь: Мир, 1932.

⁶ Сабуров А. А. Из биографии Печерина // Лит. наследство. 1941. Т. 41/42. С. 471—482; Он же. Из переписки Печерина с Герценом и Огаревым // Там же. 1955. Т. 62. С. 463—484; Он же. В. С. Печерин. Дис. М., 1940.

⁷ Бобров Е. В. С. Печерин и М. Ю. Лермонтов: Из истории рус. лит. XVIII и XIX столетий // Изв. Отд. рус. яз. и лит. 1907. Т. 12. Кн.3. С. 250—256; см. об ученой деятельности В. С. Печерина «Журнал Министерства Народного Просвещения» (1907); Он же. Материалы для биографии В. С. Печерина: Лит. деятельность В. С. Печерина // Литература и просвещение в России XIX в.: Материалы, исслед. и заметки. Казань, 1901. Т. 1; 1902. Т. 4.

⁸ Попов Н. Предание суду проф. В. С. Печерина // Юрид. вестн. 1880. Т. 12. № 5. С. 77—81.

⁹ Москвитянин. 1841. Ч. 1. № 2. С. 515—538.

¹⁰ Хотя иронизировать ни тому ни другому не пристало: «Министр Уваров имел сам отличное классическое образование, знал хорошо латинский и греческий языки и писал рассуждения о классических предметах (о к-рых мне даже отзывались с большой похвалою Крейцер и Шлоссер в 1835 г.). Учил его знаменитый проф. др. словесности, знаменитый латинист и эллинист Греф. Кто-то, не доверяя познаниям Уварова, сказал, что Уваров др. языки знает пополам с грехом. — «Нет, — отвечал я — пополам не с грехом, а разве с Грефом». Покажусь в этой остроте, совершенно несправедливой: Уваров знал языки вполне и самостоятельно» (Погодин М. П. Школьные воспоминания // Вестн. Европы. 1868. Т. 4. Кн. 8. С. 613).

¹¹ На самом деле М. Погодин писал: «Я знал и любил его, приняв с распростертыми объятиями, равно как и всех его товарищей.. к-рые, приехав к нам в 1835 г. с новым полечителем, принесли университету много пользы на первых порах, но и причинили много вреда... Все эти господа возмечтали быть преобразователями и, надменные филистерскою гордостью, объявили, что им пред-

лежит начитать дело науки, к-рой до них в университете будто не существовало, и что все старое должно подвергнуть остракизму! Начальство увлеклось ими и бросилось к ним в объятия: один (С. Г. Строганов — П. Г.) думал начать с ними новую эру. Это — эра в университете! „Нет, — отвечал я, — а разве ересь!“ (Там же. С. 614).

¹² Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 11. С. 391—403.

¹³ Изюмов А. Духовное возвращение В. С. Печерина на родину//Путь. 1935. № 47.

¹⁴ Письмо к И. С. Гагарину (Цит. по: Лит. наследство. Т. 62. С. 464).

¹⁵ ОР ГБЛ, письмо Ф. В. Чижова В. С. Печерину от 1 нояб. 1870 г.

ПОИСКИ И НАХОДКИ

Борис Белов

ПОЭТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Г. Р. ДЕРЖАВИНА

Наталья Грякалова

А. БЛОК ЗА ЧТЕНИЕМ «СТИХОТВОРЕНИЙ»

И. БУНИНА



ПОЭТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ Г. Р. ДЕРЖАВИНА

О счастливой книжной находке

Издание «Сочинений Державина» в 1808—1816 годах было событием чрезвычайным не только в биографии великого русского поэта, но и в жизни всей читающей России той поры. Стихи Державина звучали повсеместно — и в царском дворце, и в мелочной лавочке, и в аристократическом лицее. Однако популярность его была в значительной степени популярностью рукописного полуподпольного поэта¹.

Публикации произведений Г. Р. Державина были крайне редки и носили фрагментарный характер².

Что же было тому причиной?

Жизнь Г. Р. Державина могла бы стать сюжетом увлекательного романа. Потомок Багрима, татарского мурзы, который еще в XV веке бежал из Золотой Орды и пришел служить великому князю Василию Темному, сын обедневшего и рано умершего казанского офицера, Г. Р. Державин с детских лет познал жестокость и высокомерие «природных» вельмож. Бедность и беззащитность овдовевшей матери не дали ему возможности получить серьезное образование. Гимназии закончить не пришлось: в 1762 году по протекции И. И. Шувалова его отозвали на солдатскую службу в гвардейский Преображенский полк. Будущий поэт не успел и опомниться, как судьба сделала его участником одного из самых невероятных дворцовых переворотов в истории Европы: с помощью преобразенцев бывшая прусская принцесса Софья Доротея Ангальт-Цербстская свергла с престола своего незадачливого супруга императора всероссийского Петра III (Петра Ульриха Голштинского) и стала зваться императрицей Екатериной II.

Первые десять лет царствования новой императрицы не принесли Г. Р. Державину ничего хорошего: он продолжал тянуть лямку простого солдата, перебивался с хлеба на воду, выполнял самую черную работу, урывками читал книги да пытался играть на скрипке. Грубость солдатских нравов, однообразие казарменного быта, развращенность товарищей не миновали и его. Дошло до того, что он проиграл в карты последние деньги матери, присланные для покупки имения. В 1773 году тридцатилетний Державин становится гвардии поручиком, адъютантом генерал-аншефа А. И. Бибикова, активным участником подавления восстания Емельяна Пугачева.

В «Истории Пугачева» А. С. Пушкина есть довольно много подробностей, характеризующих облик Державина той поры. Энергия, находчивость, сообразительность сочетались у него с горячностью и необузданным темпераментом, что приводило к последствиям не всегда желательным. Пушкин без особой симпатии описывает и его неоправданные стычки с храбрым саратовским комендантом Бошняком³, и казнь двух мужиков-пугачевцев, совершенную по приказу Державина не столько из необходимости, сколько из одного его «пиитического любопытства»⁴.

По свидетельству П. В. Нащокина, капитан Миронов, комендант крепости в «Капитанской дочке», — подлинное лицо, ставшее жертвой неблагоприятных поступков Державина⁵. Впрочем, сам Державин в «Записках» подчеркивал, что всегда старался соблюдать «верность, справедливость и приязнь»⁶.

Что же послужило нравственной причиной рождения в Державине поэта? Стихи он пробовал писать еще в юности, избрав примером Тредиаковского и Сумарокова. Но вот в 1774 году он вместе со своим полком проводит пять месяцев на Волге, вблизи нынешнего города Вольска, неподалеку от горы Читалагай. Будущий поэт уже в возрасте подведения первых итогов, раздумий о жизни и нравственных исканий. У кого-то из местных колонистов он находит книгу од прусского короля-поэта Фридриха II и четыре оды переводит на русский язык прозой. Произведения далекого иноземца удивительным образом отвечали на те вопросы, которые волновали русского офицера. В них шла речь о человеческом достоинстве, о презрении к лести и к тем, кто кичится своим знатным происхождением, богатством, не имея никаких других оснований на уважение общества. Добавив к этим переводам четыре оригинальных стихотворения на ту же тему («На смерть Библикова», «На знатность» и другие), Державин составил сборник, который был издан в 1776 году под названием «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае, 1774 года»⁷. Мысли, изложенные в этом сборнике, станут потом определяющими во всем творчестве поэта. Позднее, например, в стихотворении «Монумент Петра Великого» Державин скажет так:

Когда царя народ прославит,
Вселенна подтверждает тож;
Когда царя ласкатель хвалит,
Потомство презирает ложь⁸.

Чтобы понять всю глубину этих идей и ту смелость, с которой поэт заявил о них, нужно вспомнить печальные традиции русского самодержавия первой половины XVIII века, традиции двора Елизаветы и Анны. Это было в годы, когда вельможи превращались в шутов, «квохтали» наседками и «сажею марали рожи», когда сам Ломоносов вынужден был подписывать свои оды словами «верноподданнейший раб». Каково же было Державину, если каждая хвалебная ода его становилась одновременно и политическим памфлетом! Судьба Державина-поэта — это история побед таланта, искренности и правды над дикостью и самодовольным невежеством.

Известно, что сам Державин не собирал своих произведений. Поначалу он вообще относился к ним не слишком серьезно, считая «безделками». Так было даже после написания «Фелицы», оды, за которую Екатерина II прислала ему золотую табакерку, усыпанную бриллиантами, и пятьсот червонцев. Стихи Державина публиковались изредка — то в журналах, то отдельными тетрадями⁹. Первая попытка собрать свои произведения была им сделана только в девяностых годах, то есть ко времени, когда уже завершился основной период его творчества. Помогла

добрая и внимательная супруга, которая (почти втайне от мужа) переписывала его стихи в тетрадь. Когда их набралось шестьдесят, друзья помогли поэту их отредактировать, а А. Н. Оленин сделал к ним замечательные виньетки. Стихотворения эти, набело переписанные и переплетенные в красную атласную кожу, составили роскошный том, который 6 ноября 1795 года Державин торжественно преподнес царице. Почти в самом начале тома, с первых же страниц заявляя о своей гражданской позиции, Державин поместил оду «Властителям и судиям», ранняя редакция которой была еще в 1780 году вырезана цензурой из журнала «С.-Петербургский вестник»:

Восстал всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны,
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг спасать от бед невинных,
Нещастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! — видят и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Цари! — Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья;
Но вы, как я, подобно страстны
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь один царем земли!

Царица прочла и сказала, что это «якобинские стихи». Державину грозила полнейшая немилость. Пришлось доказывать, что ода — всего лишь переложение 81-го псалма из библейской «Псалтири». И все же первое впечатление не обмануло Екатерину. Достаточно сравнить текст оды и текст псалма, чтобы убедиться в этом. Итак, вот он, знаменитый псалом Асафа:

«Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд: доколе будете

вы судить неправедно и оказывать лицепрятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость; избавляйте бедного и нищего; исторгайте их из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются. Я сказал: вы — боги и сыны Всевышнего — все вы; но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы».

Разночтения оды и библейского текста бросаются в глаза: у Державина вся гневная тирада звучит не от имени всевышнего, а от имени смертного, того самого, кто вместе со своей матерью ходил по судьям, стоял у них в передней по нескольку часов и видел, как они «с жестокосердием» проходили мимо. Это говорит тот, кому в душу с детства «врезалось ужаснейшее отвращение от людей неправосудных и притеснителей сирот»¹¹, тот, у кого «идея правды» сделалась потом господствующей. Такая деталь, как «покрыты моздою очеса», в псалме вообще отсутствует, а само напоминание царям о том, что над ними есть «высший судия», — неслыханная дерзость. Так что вряд ли умная императрица удовольствовалась объяснениями поэта, решив до времени не показывать гнева, «приручить» Державина, сделать его «громозвучную лиру» рупором своей политики.

Царица осынала поэта своими щедротами, однако оду печатать так и не разрешила. Так и пролежал роскошный том в кабинете до самой ее смерти. Потом Державину с разрешения Павла I удалось получить обратно свой подарок. В 1811 году он подарил его собирателю редкостей П. П. Дубровскому. Позднее этот рукописный том «Сочинений Державина» поступил в отдел рукописей публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

После воцарения Павла I по инициативе И. И. Шувалова в 1789 году в Москве при университете началось печатанье первого тома «Сочинений Державина». Этот первый и единственный том был очень неудачным, хотя редактором был Н. М. Карамзин. Он вышел в свет, когда И. И. Шувалов уже умер, и продолжения не имел. Державин, которому тогда было уже 55 лет, с горечью писал: «Сочинения мои перепортили в Москве»¹².

Немалую роль в этом сыграла павловская цензура. Многие стихи просто даже не могли быть представлены на рассмотрение. Придирки начались в связи с двумя строками из оды «Изображение Фелицы»: «Самодержавства скиптр железный//Моей щедротой позлащу». Ода с этими строками была уже трижды напечатана, однако в 1797 году цензура из-за них приостановила издание. Сам Павел I требовал переделки этих строк. Но Державин не изменил ни слова... Такой уж это был характер!

Известно, что Державину покровительствовали три императора. И со всеми он нещадно ссорился. Причина тому — принципиальность, стремление отстаивать правду и великая добросовестность в исполнении службы. Современники отмечали, что в присутственных местах Г. Р. Державин приезжал даже по воскресеньям, что всегда без всякой корысти защищал бедных и несведущих в законах от корыстолюбцев и ябедников.

Широкую известность получили его стычки с генеральным прокурором А. А. Вяземским, утаившим от казны 8 000 000 рублей, скандалы с местными властями после назначений его сначала олоонецким, а затем тамбовским губернатором.

В 1791 году императрица сделала Державина своим статс-секретарем, но очень скоро стала жаловаться, что он заваливает ее всякими «вздорными» бумагами и даже бранится (!). Она весьма прозрачно намекала поэту на то, что ждет от него не вмешательства в такие запутанные и щекотливые дела, как, например, дело банкира Сутерленда, а побольше хвалебных од. «Фелица» так понравилась ей, что она даже распорядилась издавать новый журнал, который открывался этой одой.

В своих «Записках» Г. Р. Державин откровенно признается, как трудно ему было выполнить требование Екатерины: он запирался дома, но... ничего написать не мог, «видя дворские хитрости и непрестанные себе толчки». Так он и «не собрался с духом и не мог таких императрице тонких писать похвал, каковы в оде Фелице и тому подобных сочинениях, которые писаны не в бытность еще при дворе, ибо издалика те предметы, которые казались божественными и приводили дух в воспламенение, явились при приближении ко двору весьма человеческими». Поэт так «похладел духом», что почти ничего не мог написать горячим чистым сердцем в похвалу императрице, которая «управляла государством и самым правосудием более по политике, чем по святой правде»¹³.

Через два года Державину была предложена почетная отставка: Екатерина сделала его сначала сенатором, а потом президентом коммерц-коллегии. Но и здесь, «в златом кругу вельмож», поэт чувствовал себя чужаком и всячески подчеркивал свое отрицательное отношение к развращенным, самодовольным и тупым «природным» вельможам:

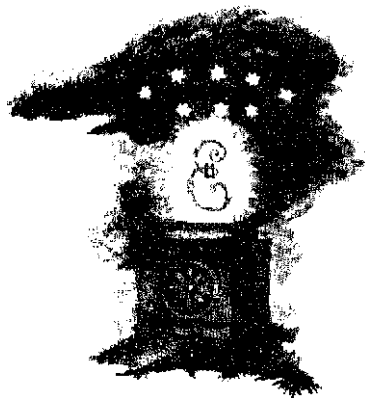
Не украшение одежд
Моя днесь Муза прославляет,
Которое, в очах невежд,
Шутов в вельможи наряжает;
Не пышности я песнь пою;
Не истуканы за кристаллом,
В кивотах блещущи металлом,
Услышат похвалу мою.

Хочу достоинства я чтить,
Которые собою сами
Умели титлы заслужить
Похвальными себе делами;
Кого ни знатный род, ни сан,
Ни щастие не украшали;
Но кои доблестью снискали
Себе почтенье от граждан¹⁴.

Можно было бы привести еще десятки таких же блистательных строк, подобных удару штыка или грома небесного, в которых Державин с солдатской прямоотой обрушивается на тех, кто стоит у трона. Невоз-

Обложка книги
«Сочинения Державина».
Сиб., 1808. Ч. I

СОЧИНЕНИЯ
ДЕРЖАВИНА.
Часть I.



*В Санктпетербурге
1808 года*

можно забыть ни «глыбу грязи позлащенной», ни осла, который останется ослом. «хоть ты осыпь его звездами», ни «мурз» Фелицы. Да и с самой Фелицей поэт говорил непринужденно, даже чуть фамильярно. Он словно чувствовал за своими плечами своих истинных читателей, служилых дворян, боевых офицеров, суворовских солдат, добывавших славу России, всего «чудо-богатыря» храброго Росса — народа. А к этому читателю Державин обращался «помимо официального контроля власти и позволял себе фрондерство, сатирические выпады, выражение недовольства... Поэзия в руках Державина становилась общественной силой»¹⁵.

Неудивительно, что вокруг имени поэта бурлили страсти, на него сыпались доносы. Он не раз попадал под суд, лишался званий и должностей. Во время пугачевщины главнокомандующий даже собирался «повесить Державина вместе с Пугачевым»¹⁶. Павел I подвергал Державина

опале за «непристойный ответ», Александр I — за то, что Державин был сторонником дворянской конституции, расширения власти и прав Сената и одним из самых крайних консерваторов в крестьянском вопросе. Наконец, в 1803 году его, шестидесятилетнего, царь удалил от всех дел. Поэт прожил еще тринадцать лет, погруженный в свои литературные дела, то в Петербурге, то в воспетой им Званке — имении в Новгородской губернии, а все потому, что «бранился с царями и не мог ни с кем ужиться». О себе он написал так: «Я тем стал бесполезен, что горяч и в правде чорт».

Издание «Сочинений Державина» в 1808—1816 годах было событием, имеющим общенациональное значение. Как писал Г. А. Гуковский, «оно является основным источником при изучении текстов державинских произведений»¹⁷. Это единственное авторитетное, составленное самим поэтом прижизненное собрание сочинений, хотя оно и несовершенно, неполно, изобилует опечатками и ошибками. В него не вошло много стихов, прозы, мемуаров, писем, что, впрочем, естественно: даже академик Я. К. Грот, создатель грандиозного, подробно комментированного Собрания сочинений Г. Р. Державина в девяти томах, не смог вместить в него всего, что было написано поэтом.

В публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), в архивах Казани, Саратова, Тамбова хранится множество неопубликованных или даже еще не прочтенных документов, характеризующих Державина и как писателя, и как государственного деятеля. Все это громадное наследие — наше национальное достояние. Со временем оно, очевидно, будет прочтено и опубликовано в академическом издании, подобном известному Полному собранию сочинений А. С. Пушкина.

Но в те времена об этом никто не мог и мечтать. В 1808 году под наблюдением А. Ф. Лабзина¹⁸ в типографии Шнора вышли четыре тома. В первом и втором помещена «высокая» лирика, в третьем — анакреонтические произведения, в четвертом — пьесы и описание потемкинского праздника в Званке. Наконец, в 1816 году, в год смерти поэта, вышел еще один, 5-й том, как бы дополняющий два первых. Державин мечтал выпустить 6-й и 7-й тома, но осуществить свой замысел не успел. В 6-м томе он хотел опубликовать прозу, в 7-м — эпиграммы, мадригалы, надписи, посвящения и пр.

Каким же предстал перед читателем Г. Р. Державин в издании 1808—1816 годов?

Вспомним: русский XVIII век закончился, условно говоря, 11 марта 1799 года насильственной смертью безумного тирана и деспота Павла I.

Умолк рев норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд!¹⁹, —

писал Державин в оде на восшествие на престол Александра I. Если в начале века Петр I «прорубал окно в Европу», то Павел I делал все, чтобы это окно заколотить наглухо,

Титульный лист
с посвящением Екатерине II

Е Я
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
ИМПЕРАТРИЦЪ
ЕКАТЕРИНЪ II.
САМОДЕРЖИЦЪ ВСЕРОССИЙСКОЙ

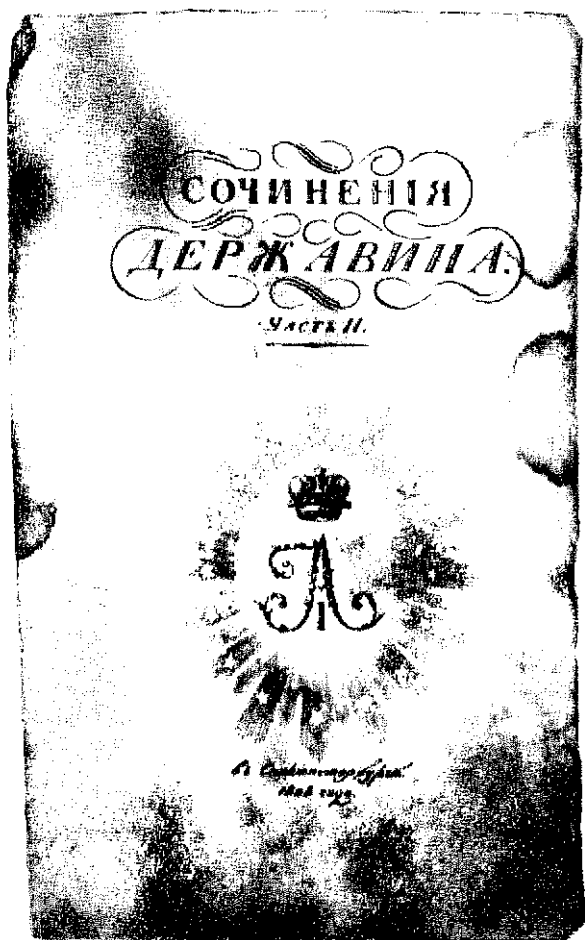
СЪ БЛАГОРОВЕНІЕМЪ ПОСВЯЩАЕТЪ

Сочинитель.

С. Петербургъ.
1795 года.

Наследник Павла I, Александр I, принимавший участие в заговоре против отца, был учеником Лагарпа, швейцарского республиканца, проповедника и глашатая идей французской революции. Известно, что в начале царствования Александр хотел стереть в памяти подданных страшный образ Павла, вел речи о вольных хлебопашцах, о покровительстве промышленности, о просвещении, он помиловал пострадавших при Павле, вернул из ссылки А. Н. Радищева, разрешил вольные типографии и выезд за границу. Был «помилван» и французский язык²⁰. Но вскоре обещания царя лопнули, как мыльные пузыри. Реальностью России стали арачьевщина, ханжество и лицемерие, что в свою очередь привело к пробуждению общественного самосознания, к движению декабристов.

Обложка книги
«Сочинения Державина».
Спб., 1808. Ч. II



Какую позицию занимает в этой ситуации престарелый Державин? Исчерпывающий ответ на данный вопрос дает издание его сочинений 1808—1816 годов. Оно построено по хорошо продуманному плану. Державин демонстративно сравнивает и противопоставляет две эпохи. Первая часть посвящена веку Екатерины II и, как сказано в предисловии, расположена «в том самом порядке, в каком она (кроме картин) в 1795 году блаженной памяти покойной Государыне Императрице с посвящением Высочайшему имени Ея мною лично поднесена была, но оставалась по кончину в Ея кабинете не изданною; а не так, как она в 1798 году в Университетской типографии в Москве напечатана, быв прислана туда от покойного Ивана Ивановича Шувалова, по собрании оной из разных тетрадей».

Из рукописного тома сюда не вошли только несколько анакреонтических стихотворений, перенесенных в третью часть, «а другие не помещены были в Московском издании по непропуску их по тогдашним обстоятельствам цензурою; или которые и внесены, то с выключкою нескольких стихов».

Первый том открывается титульным листом с вензелем императрицы с венком из звезд, надгробной урной и возлежащей на ней открытой книгой — символом просвещения. После краткого предисловия, из которого взяты процитированные выше строки, следует торжественное посвящение, затем вступительная ода с характерными намеками:

Прими и осяти своим благоволением,
И музе будь моей подпорой и щитом,
Как мне была и есть ты от клевет спасеньем...

Далее следует удивительный эпиграф:

«О, время, благополучное и редкое, когда мыслить и говорить не воспрещалось, когда соединены были вещи несовместные, владычество и свобода; когда при самом легком правлении общественная безопасность состояла не из одной надежды и желанья, но из достоверного получения прочным образом желаемого.

Тацит».

Самое внимательное чтение всех сочинений Тацита, изданных в то время на русском языке, не дает возможности обнаружить в них этот фрагмент²¹. Державин придумал его сам. И не зря. Перед нами — целая политическая программа. Автор, сторонник сильного владычества, которое, однако, сочетается со «свободой», прежде всего подчеркивает право гражданина «мыслить и говорить». Удивительно, как перекликаются в этом люди разных убеждений — Державин и Радищев. Вот строки из «Письма к другу, жительствовавшему в Тобольске» (1782), где А. Н. Радищев говорит о Петре I:

«Да не унижуся в мысли твоей, любезный друг, превознося хвалами столь властного самодержавца, который истребил последние признаки дикой вольности своего отечества... И я скажу, что мог бы Петр славнее быть, возносяся сам и вознося отечество свое, вознося вольность частную...»

Далее следует фраза, которую мог бы произнести и Державин, только не вслух, а про себя: «...но нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своей власти, сидя на престоле». Поздняя сноска: «Если бы сие было писано в 1790 году, то пример Лудвига XVI дал бы сочинителю другие мысли»²².

Итак, смысл эпиграфа первого тома: «...мыслить и говорить не воспрещалось». Это о веке Екатерины, которая не разрешала печатать самые острые его стихи! Разве судьба оды «Властителю и судьям», впервые напечатанной в этом же томе после почти тридцатилетнего запрета, не говорит о другом? И разве случайно Державин поместил эту «крамольную» оду почти в самом начале первого тома? Уж не радуется ли он втайне, что и Екатерина, и Павел уже не могут помешать ему «говорить

и мыслить? Не выдает ли он желаемое за некогда бывшее? И что значат слова об «общественной безопасности», которая на самом-то деле состояла не «из одной надежды и желания»? Не звучит ли в них критика беспредметной либеральной болтовни «дней Александровых», словесных обещаний, которые не дали народу ничего, кроме новых цепей?

Второй том хронологически должен был соответствовать царствованию Павла I и посвящается ему. Но Державин том открывает вензелем Александра I. Во вступительном четверостишии сказано:

Спокойством ты мою ущедрил лиру,
Я крин ея цветов дерзнул принести на трон.
Ты, обоня их, внушишь звучнее миру,
Что и при бурных днях ты музам Аполлон.

Мая 1807 г.

Эти стихи, если сопоставить их с обращенными к Екатерине в первом томе, звучат как бы «сквозь зубы». Сравнение царя с Аполлоном — банально. Единственная живая деталь — намек на войну с Наполеоном 1805—1807 годов. А эпиграф второго тома вновь очень многозначителен:

«Мы не намерены ласкать ему ни где, яко существу Высочайшему, или яко некоему Божеству, ибо говорим не о тиране, но о Гражданине; не о Государе, но об Отце Отечества, который почитает себя нам равным; но тем паче нас превышает, чем более равняет себя с нами.

Плиний в слове Императору Траяну».

Этот эпиграф действительно взят из Плиния²³, что, впрочем, не уменьшает его остроты. Дело в том, что само слово «гражданин» (civis), означающее у римлян «свободный» и «полноправный», в России начинает обретать новый политический смысл именно в эту эпоху — после французской революции. Слово «гражданин» обозначает теперь патристическое понятие — «сын Отечества». Истинный гражданин не только отстаивает свои права, но и готов жертвовать собой во имя блага Отечества. А. П. Радищев, принципиальный противник «самодержавства», писал в своих примечаниях к «Размышлениям о греческой истории» Мабли: «Государь есть первый гражданин народного общества»²⁴.

Совершенно особый, революционный смысл вкладывали в это слово декабристы и их вождь — поэт К. Рылев, автор знаменитого стихотворения «Гражданин» (1824—1825).

Итак, формула льстивого подношения не помешала Г. Р. Державину напомнить царю, что, как Гражданин, он должен заботиться не о превознесении себя и своей власти, но о благе равных ему сограждан-подданных, о благе своего Отечества.

В 1825 году, незадолго до восстания на Сенатской площади, А. С. Пушкин писал А. Бестужеву:

«Мы можем праведно гордиться: наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы. С Державиным умолкнул голос лести — а как он льстил?

Смотри, я рек, триумф минуто,
А добродетель век живет. (...)

Вот как русский поэт говорит Русскому Царю. Пересмотри наши журналы, все текущее в литературе. (...) Мы не хотим быть покровительствуемы равными. (...) Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или одою, а тот является как шестисотлетний дворянин — дьявольская разница!²⁵

Такое понимание назначения и позиции поэта в обществе потом стало неизбежно традиционным в русской истории.

Таким предстал Державин перед читателем в своем последнем и единственном собрании сочинений, опубликованном при жизни и ставшем его поэтическим завещанием. Он был прав, когда написал в «Памятнике», что «Истину царям с улыбкой говорил». Вот только цари не могли «с улыбкой» слушать эту истину.

А как читатели восприняли издание «Сочинений Державина»? А. С. Пушкин в известном мемуарном наброске «Державин» пишет о том восторженном культе старого поэта, который царил в лицах:

«Дельвиг выскочил на лестницу, чтобы дожидаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад». (...) Разумеется, читаны были его стихи, поминутно хвалили его стихи. ...Когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось упительным восторгом»²⁶. В. К. Кюхельбекер позднее в своей «Мнемозине» на примере творчества Г. Р. Державина строил концепцию всей русской гражданской (декабристской) поэзии. Державинскую оду, полную возвышенных идей, он противопоставлял элегии Жуковского — Батюшкова, которая казалась ему вялой и мелкой. Державинский «питический восторг» он считал неизмеримо более высоким, чем «унынные» субъективных романтиков. Пушкин спорил с ним в специальной статье и в «Онегине» («Но тише — слышишь — критик строгий//Повелевает сбросить нам//Элегии венки убогий» и т. д.) и не переспорил: друг Вильгельм много лет спустя, сидя в крепости, записывает в дневнике:

«Нет сомнения, что дедушка Державин у нас на Руси первый поэт и, кажется, долго еще останется первым. (...) Этот Гений образует большие таланты и убивает небольшие»²⁷.

Кондратий Рылеев, по воспоминаниям товарищей, витийствуя, всегда цитировал оду «Бог», «Водопад», «Вельможу»²⁸. Державину Рылеев посвятил две думы. В одной из них он называл Державина «певцом свободы»²⁹, в другой, наиболее законченной и цельной, приводил цитаты из державинских од, как бы излагая его кодекс, так явственно определявший нравственный кодекс самого К. Рылеева:

Он выше всех на свете благ
Общественное благо ставил
И в огненных своих стихах
Святую добродетель славил...
О, так! нет выше ничего
Предназначения Поэта:

Святая правда — долг его;
 Предмет — полезным быть для света.
 О, пусть не буду в гимнах я,
 Как наш Державин, дивец, громок;
 Лишь только б молвил про меня
 Мой образованный потомок:
 «Парил он мыслию в веках,
 Седую вызывая древность,
 И воспалял в младых сердцах
 К общественному благу ревность!»³⁰

Так придворный поэт стал поэтическим знаменем будущих ниспровергателей трона.

Заметим, что и жизнь, и творчество, и сама смерть Державина вызвали целую лавину откликов и в стихах, и в прозе. Среди них есть и неожиданно слабые, как, например, стихотворение А. Дельвига «На смерть Державина»³¹, и неожиданно сильные строчки всеми осмеянного графа Д. И. Хвостова:

Да будет песнь твоя священной правды храм,
 Твои стихи — закон народам и царям³².

Разумеется, главным откликом на смерть Г. Р. Державина была знаменитая ода «Вольность» А. С. Пушкина:

Владыки! Вам венец и трон
 Дает закон, а не природа.
 Стоите выше вы народа,
 Но вечный выше вас закон³³.

Среди многих поэтических откликов на смерть Г. Р. Державина есть одно стихотворение, которое неизвестно историкам литературы. Я обнаружил его в первом томе, купив случайно три первых тома «Сочинений Державина» 1808 года издания в Саратове:

Хвала, Державин! битв, царей, любви певец.
 Анакреон твой вождь, Гораций образец.
 Но нет! В твоих стихах морозы и метели,
 Цветы в проталинах, березы, сосны, ели
 Приятнее для нас лилей и мирт чужих.
 Мы видим Фабиев и Кольбертов родных
 В твоём Румянцове, Шувалове, Орлове,
 Катона в Репнине, Кромвеля в Годунове.
 Свой род поэзии особый создал ты,
 В котором все твое: ошибки, красёты,
 Ты свергнул правила, как твой Суворов странный,

Хвала, Державина! Битва, Царей, лавра в саду,
 Анакреон твой возлюб, Эраций образует,
 Но клятва! Во твоих стихах Моты и лавра,
 Шрифта во пропалама, березы, сосны, сели
 Прийти же для нас лилей и миртов гудит.
 Мы видим Фиделия и Колбертова рожница,
 Ты твоего Румянцева, Мухоморова, Орлова
 Катона — Ты Репкина, Крайнев в Туркманови.
 Свои роды поэзии особей удале твоя,
 Ты Который все твое: Оми Бели, Краматов,
 Ты свернула правила Кавказ Суворова страшно,
 И как Суворова — твой воин «своеравный»
 Природа отдала в особенный сосуд,
 Обоим подражать напрасный будет труд³¹.

Текст обнаруженного
 стихотворного автографа
 на форзаце книги
 «Сочинения Державина»

И, как Суворова, твой гений своенравный
 Природа отлила в особенный сосуд.
 Обоим подражать напрасный будет труд³¹.

Это автограф, он начертан гусиным пером на форзаце первого тома без подписи и даты. Я показывал его своим педагогам, крупнейшим специалистам по истории русской литературы XVIII—XIX веков профессорам Г. А. Гуковскому и Ю. Г. Оксману. Они не знали ни этого стихотворения, ни его автора. Сорок лет три массивных тома в толстых переплетах с кожаными корешками и красным обрезом простояли на полке в моем книжном шкафу, а тайна автографа не была разгадана.

Теперь, наконец, удалось выяснить, кто был автором этого стихотворения. В девятом томе «Сочинений Державина» под редакцией академика Я. К. Грота в библиографическом разделе я вдруг обнаружил знакомые четыре строчки и указание, что все стихотворение было напечатано в журнале «Сын Отечества» № 24 за 1821 год, стр. 145, и как бы начинало журнальную публикацию книги Н. Ф. Остолопова «Ключ к сочинениям Державина». В отдельное издание книги, осуществленное в следующем, 1822 году, автор это стихотворение не включил. Нет его и в двух сборниках

стихов — 1816 и 1827 годов, опубликованных Н. Ф. Остолоповым. Таким образом, оно увидело свет только в «Сыне Отечества», да и то не отдельно, а как фрагмент журнального текста. Биографы Г. Р. Державина, видимо, пользовались отдельным изданием книги Н. Ф. Остолопова. Стихов поэтому никто не заметил. Так бы и остались они в безвестности, если бы не случай.

Имя Николая Федоровича Остолопова (1782—1833) в наше время известно только специалистам да библиофилам. Между тем это был один из самых замечательных представителей русского образованного общества первой трети прошлого века. Без преувеличения его можно назвать одним из основателей русской филологии и того конкретного литературоведения, которое получило затем развитие в блестящих трудах ученых второй половины века. Главный труд Н. Ф. Остолопова, над которым он добросовестно работал четырнадцать лет, — «Словарь древней и новой поэзии» в трех томах³⁵ — творение, не имевшее аналогов ни в отечественной, ни в зарубежной литературе. Это энциклопедия поэтики, построенная на примерах из классической и современной литературы. В создании ее автору помогали многие выдающиеся писатели и поэты той поры, среди которых — Пушкин, Крылов, Державин. Г. Р. Державин был особенно благосклонен к Остолопову и сделал его как бы своим «душеприказчиком». В предисловии к книге «Ключ к сочинениям Державина» Н. Ф. Остолопов писал:

«Имея счастье пользоваться благосклонностью Гавриила Романовича, я успел под его руководством собрать самые достоверные объяснения на большую и лучшую часть его сочинений; и, не желая пользоваться один таким сокровищем, решился ныне сообщить сии объяснения моим соотечественникам — надеясь, что не только они, даже и самые отдаленные потомки, до которых, без сомнения, достигнут творения Державина, примут услугу мою с благодарностью. А дабы сделать издание мое полнее и занимательнее, присовокупляю и краткое описание жизни Державина, составленное из собственных его записок»³⁶.

Значение этого труда Н. Ф. Остолопова, первого добросовестного биографа и серьезного комментатора произведений Г. Р. Державина, неоспоримо.

Во всех изданиях фамилия Н. Ф. Остолопова сопровождалась добавлением — «действительный и почетный член различных ученых обществ». Главным из них было петербургское Вольное общество любителей словесности и художеств. В ранний период своего существования (1801—1807) это общество являлось центром передовой демократической мысли.

Здесь все жили идеями свободы, ненависти к деспотизму и крепостному строю. Особенным пиететом пользовалось имя А. Н. Радищева. В общество входили и сыновья Радищева — Василий и Николай. Члены общества пропагандировали имя А. Н. Радищева и его наследие. Так, в 1805 году им удалось анонимно напечатать в журнале «Северный вестник» главу «Клин» из запрещенного «Путешествия из Петербурга в Москву».

Президент общества Иван Пнин откликнулся на смерть Радищева «Посланием к Брежневскому»³⁷ («Итак, Радищева не стало»), а в 1803 году в сборнике «Свисток муз» И. Борн напечатал стихи и статью, посвященную А. Н. Радищеву³⁸.

В Литературной энциклопедии Н. Ф. Остолопов назван почему-то «теоретиком классицизма». Это несправедливо. Вся его литературная деятельность, вкусы, дружеские связи говорят о другом. В разное время активными участниками общества были К. Батюшков, Н. Гнедич, здесь читал свои думы К. Рылеев³⁹. Особенно тесная дружба связывала Н. Ф. Остолопова с П. А. Вяземским, о чем необходимо рассказать более подробно, так как это имеет прямое отношение к моей находке. Выше мы уже говорили о том, что Н. Ф. Остолопов был известен и как поэт — стихи его печатались в журналах рядом со стихами А. С. Пушкина и К. Ф. Рылеева, печатались и отдельными сборниками⁴⁰. Он был автором и романсов, и патриотических од, но особенно интересны его сатиры.

К чему осмеивать житейские пороки? —

спрашивает автор у одного из своих героев, Правдослова, родственного по духу Правдину и Стародуму, на что тот отвечает:

Возможно ль не бранить, ты мнись, сей свет несносный,
Где только глупость зришь и с ней страстей собор;
Где зришь повсюду лесть, коварство, злость, раздор;
Где бедный угнетен и где богат возвышен;
Где глас невинности при золоте лишь слышен;
Где добродетели нигде местечка нет;
Возможно не бранить такой несносный свет?⁴¹

П. А. Вяземский, «язвительный поэт, остряк замысловатый», относился к Н. Ф. Остолопову, старшему по возрасту, с большим уважением.

Ты, коего стихи прелестны, —

так начинает он стихотворное послание к Остолопову, датированное 1812 годом, и заканчивает его не менее выразительно:

Ты офицер уж заслуженный
И Аполлоном награжденный
За вкус разборчивый в стихах,
А я, я рекрут новобранный
И на Парнасе безымянный,
И нет заслуги никакой,
Как разве то, что муз служитель
Прямым талантов я почититель
И потому поклонник твой!⁴²

В ЦГАЛИ СССР хранятся несколько документов в стихах и в прозе, написанных рукой Н. Ф. Остолопова. Среди них особенно инте-

ресны письма из Петербурга — от 28 июня 1813 года⁴³ и более позднее, без даты, которое цитирую:

«В Беседе каникулы, все разъехались по дачам собирать вести и твердить старинные книги и слова, чтобы возвратясь подавать нам примеры в чистоте слога. Приезжайте облечься в броню неустранимости. (...) Мне хочется выдавать журнал, в котором без милосердия ругать секту безвкусыя. (...) Мы найдем людей, которые соединятся с нами. Если увидите В. А. Жуковского, поклонитесь ему от меня. Он мог бы быть прекраснейшим предводителем нашего ополчения, с ним бы смело пошли мы на гонителей вкуса»⁴⁴.

Как видим, в этом письме Н. Ф. Остолопов предстает перед нами отнюдь не как теоретик классицизма, но как яростный и непримиримый противник «Беседы», как проповедник идей «Арзамаса», сторонник Жуковского и Карамзина. Намерение издавать журнал он осуществил: под его руководством в 1821—1823 годах выходил журнал «Любитель словесности», а позднее — «Журнал департамента народного просвещения». Известен Н. Ф. Остолопов и как переводчик, и как драматург (и даже как директор театра)⁴⁵. С Вяземским сближали Остолопова и взгляды на творчество Г. Р. Державина. В 1816 году, после смерти Г. Р. Державина, в журнале «Вестник Европы» П. А. Вяземский опубликовал статью, посвященную его памяти.

«Из всех поэтов, известных в ученном мире, — писал Вяземский, — может быть, Державин более всех отличается оригинальностью, и потому род его должен остаться неприкосновенным. Природа образовала его гений в особенном сосуде — и бросила сосуд. Державину подражать не можно, т. е. Державину в красотах его (...). Я забываю Анакреона, читая Хариты, Русскую пляску; вижу перед собой Державина, сего единственного певца, возделывшего среди печальных снегов Севера огненные розы поэзии, соперницы цветов, некогда благоухавших под счастливым небом Атики. Державин певец всех веков и всех народов!»⁴⁶

Текстуальные и образные совпадения этой статьи П. А. Вяземского и стихотворения Н. Остолопова бросаются в глаза. Можно даже сначала решить, что автор стихотворения — не Остолопов, а Вяземский, творец «Первого снега», написанного в том же размере:

Здесь снег, как легкий дух, повис на ели гибкой,
Там, темный изумруд посыпав серебром,
На мрачной он сосне разрисовал узоры...⁴⁷

Но тогда честный и добросовестный Остолопов, всегда скрупулезно делавший сноски под каждой цитатой, вряд ли напечатал бы чужое стихотворение под своим именем. Да и сличение автографа на форзаце первого тома «Сочинений Державина» с автографами стихотворений Н. Ф. Остолопова, имеющих в ЦГАЛИ¹⁸, не оставляет сомнений в том, что надпись на книге сделана его рукой, а все стихотворение — результат дружеских бесед и обмена мнениями двух поэтов. Значит, мы имеем право говорить о взгляде на творчество Г. Р. Державина сразу двух авторов,

отразивших мнение широкого круга читателей. Не зря здесь употреблены местоимения «мы» («Мы видим Фабиев и Кольбертов») и «нас» («Приятнее для нас лилей и мирт чужих»). Это подчеркивает, что речь идет о всех тех, кто примыкал к Вольному обществу, к движению будущих декабристов, о том новом поколении, которое приняло из рук Державина его наследие.

Оба автора прежде всего подчеркивают общенациональный характер творчества Державина, в стихах которого отражена живая русская природа, так не похожая на чужеземные «лилеи» и «мирты». Во-вторых, отмечается высокая гражданственность, общественная значимость его поэзии. Римский патриций Фабий, французский министр Кольбер, республиканец Катон, великий деятель английской революции Кромвель (с их точки зрения) имеют аналогов в русской истории в лице воспетых Державиным граждан России — фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского, мецената и общественного деятеля И. И. Шувалова, победителя турок графа А. Г. Орлова-Чесменского, человека независимого права Н. В. Репнина, царя Бориса Годунова.

Своеобразие личности и творчества Г. Р. Державина авторы сопоставляют с образом друга и любимого героя Державина — полководца А. В. Суворова. И достоинства, и недостатки Державина сливаются в единый, целостный характер, неповторимый, не зависимый ни от чьих влияний и полностью принадлежащий русской национальной культуре.

Так стихотворение Н. Ф. Остолопова, рожденное, на наш взгляд, в результате общения с П. А. Вяземским, помогает ответить на вопрос о том, как понимали прямые наследники Державина значение и смысл его поэтического завещания⁴⁹.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Гуковский Г. А. Литературное наследство Г. Р. Державина // Лит. наследство, 1933. № 9/10. С. 369—396.

² Первая публикация: «Ироида, или Письмо Вивлиды к Кавну» // Старина и новизна. 1773. Тогда же — «Ода на всерадостное бракосочетание великого князя Павла Петровича, сочиненное потомком Аттилы, жителем реки Ра».

³ Пушкин А. С. История Пугачева // Полн. собр. соч. Л., 1938—1940. Т. 9. Ч. 1—2. Ч. 2. Алфавитный указатель. С. 822 (Бошняк), 840 (Державин).

⁴ Там же.

⁵ Пушкин А. С. Письма / Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1926. Т. 1. С. 448.

⁶ Державин Г. Р. Записки. 1859 г. Первонач. в «Русской беседе». См. выдержки в Литературной энциклопедии (1936. Т. 3. С. 205—221). Энциклопедический словарь. Брокгауз — Эфрон, 1893. Т. 10. С. 462—468.

⁷ См. также: Державин Г. Р. Соч. / Ред. акад. Я. К. Грота. 1864. Т. 1.

⁸ Державин Г. Р. Соч. Спб., 1808. Т. 1. С. 219. Далее — все цитаты стихов по этому изд. (СД).

⁹ Напр., «Епистола графу И. И. Шувалову» 1777 г., «Памятник герою» (кн. Н. В. Репнину) 1791 г.

¹⁰ СД. Т. 1. С. 10.

¹¹ См. примеч. № 6.

- ¹² Там же.
- ¹³ Державин Г. Р. Объяснения на сочинения Державина. Спб., 1834.
- ¹⁴ Державин Г. Р. Вельможа // СД. Т. 1. С. 209.
- ¹⁵ См. примеч. 1.
- ¹⁶ Лит. энциклопедия. М., 1930. Т. 3. С. 205—221.
- ¹⁷ См. примеч. 1.
- ¹⁸ А. Ф. Лабзин (1766—1825) — писатель-мистик, поклонник Державина.
- ¹⁹ См.: СД. Т. 2. С. 124.
- ²⁰ А. С. Пушкин изучал французский язык под руководством Будри, родного брата Марата.
- ²¹ СД. Т. 1. С. IV—V. Обследованные издания К. Тацита: «Жизнь Юлия Агриколы» 1778 г., «История К. К. Тацита» 1807 г., «Летописи», ч. 1—3, 1805—1806 гг., «О положении, обычаях и народах древней Германии» 1772 г., «Разговор об ораторах» 1805 г.
- ²² Радищев А. Н. Письмо к приятелю, жительствовавшему в Тобольске (1782) // Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. Проза. Л., 1984. С. 180—184.
- ²³ Плиний Младший. Слово похвальное имп. Траяну / Пер. А. Нартова. Спб. 1777.
- ²⁴ См. примеч. 22.
- ²⁵ Пушкин А. С. Письма. Т. 1. С. 136.
- ²⁶ Пушкин А. С. Державин // Полн. собр. соч. М., 1949. С. 1394.
- ²⁷ Маркевич Н. А. Воспоминания о встречах с Кюхельбекером // Лит. наследство. 1954. Т. 59. С. 508. В. К. Кюхельбекер в «Сыне Отечества» (1825. № 17. С. 80) назвал Державина «первым русским лириком, гением, которого одного мы смело можем противопоставить лирическим поэтам всех времен и народов».
- ²⁸ Воспоминания о Рылееве его сослуживца по полку А. И. Коссовского // Лит. наследство. Т. 59. С. 243.
- ²⁹ Рылеев К. Ф. ПСС. Полн. собр. стихотворений / Под ред. Ю. Г. Оксмана. Л., 1934. С. 356—357.
- ³⁰ Там же. С. 169—173.
- ³¹ «Державин умер! Чуть факел погасший дымится, о Пушкин! О, Пушкин! Нет уж великого! Музы над прахом рыдают» и т. д. (Дельвиг А. Стихотворения. Л., 1959).
- ³² Хвостов Д. И. Гавриилу Романовичу Державину // Полн. собр. соч. Спб., 1817. Ч. 1. С. 96—99.
- ³³ Пушкин А. С. Вольность // Полн. собр. соч. Л., 1947. Т. 2. Ч. 1. С. 45—48.
- ³⁴ См. иллюстрации к данной статье.
- ³⁵ Остолопов Н. Ф. Словарь древней и новой поэзии: В 3 ч. Спб., 1821.
- ³⁶ Остолопов Н. Ф. Ключ к сочинениям Державина. Спб., 1822.
- ³⁷
- То сердце, что огнем дышало,
 Постиг ничтожества закон,
 Уста, что истину вещали,
 Увы! навеки замолчали,
 И пламенный ума погас;
 Сей друг людей, сей друг природы,
 Что к счастью вел путем свободы,
 Навек, навек оставил нас!
 Оставил и пришел к покою.
 Благословим его мы прах.
 Кто столько жертвовал собою

Не для своих, для общих благ,
 Кто был отечеству сын верный,
 Был гражданин, отец примерный
 И смело правду говорил,
 Кто ни пред кем не изгибался,
 До гроба лестию гнушался,
 Я чаю, тот довольно жил.

(ЦГАЛИ, ф. 2531, оп. 1, ед. хр. 63).

³⁸ Борн И. Памяти Радищева: (Некролог) // Свисток муз. 1803.

³⁹ О Н. Гнедиче автор комментариев к изданию произведений К. Ф. Рыльева проф. Ю. Г. Оксман писал: «Поэт, идеологически близкий группе учеников и единомышленников Радищева, положивши... основание СГБВ Вольному обществу любителей словесности, наук и художеств (Гнин, Борн, Попугаев, Остолопов и др.), Гнедич впоследствии тяготел к кругу литераторов Союза Благоденствия» С. 383.

⁴⁰ «Прежние досуги» 1816 г., «Апологетические песни» 1827 г.

⁴¹ Остолопов Н. Ф. К Правдословию // Остолопов Н. Ф. Апологетические стихотворения. Спб., 1827. С. 122.

⁴² Вяземский П. А. К Остолопову // ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, д. 855. (Список с пометами рукой П. А. Вяземского). См. также: Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. Спб., 1884. Т. 9. С. 507.

⁴³

Что делает твой Остолопов?
 Вот цель посланья твоего...
 Ужели делом то почесть,
 Когда по книжным лавкам бродишь,
 Где новости лишь те находишь,
 Что могут нам позор нанести
 Своим наяргорским слогом,
 И где безвкусный Шишаков,
 Архидурак из дураков,
 Считается парнасским богом.

ЦГАЛИ, ф. № 1, оп. 1, д. 2490. (См. еще ответ П. А. Вяземскому «Приятное твое посланье» // ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 5500).

⁴⁴ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2490.

⁴⁵ См.: Письмо П. Катенина к Пушкину от 24 ноября 1825 г.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Л., 1937. Т. 13. С. 242.

⁴⁶ Вяземский П. А. О Державине // Полн. собр. соч.: В 12 т. Спб., 1878. Т. 1. С. 17.

⁴⁷ Вяземский П. А. Первый снег // Там же. Т. 3. С. 147.

⁴⁸ Особенно явственно видно сходство почерка с автографом «Что делает твой Остолопов?». См. примеч. 43.

⁴⁹ Известно, что отношение Пушкина к творчеству Державина менялось. Так, в письме к Дельвиту (июнь 1825 г. Письма. Т. 1. С. 137) он резко критикует недостатки стиля Державина: «Этот чудака не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка». Ср. мнение П. А. Катенина: «...ему недоставало образования и даже языка своего он порядком не знал... Лесть с восторгом уже в то время всем надоела; он начал лстить с примесью шутки, и успех был выше меры... Сверх чаянья получив славу, он утвердился в мысли, что труд в поэзии не нужен... И так без труда продолжал он сочинять до глубокой старости, что дальше, то хуже». См.: Лит. наследство. 1934. № 16/18. С. 635—643. Однако суждения Вяземского и Остолопова представляются более убедительными, поскольку они рассматривают Державина как целостную личность, значительную даже в своих недостатках.

Наталья Грякалова

А. БЛОК ЗА ЧТЕНИЕМ

«СТИХОТВОРЕНИЙ» И. БУНИНА

И. А. Бунин не был писателем, лично или духовно близким Блоку. Будучи на десять лет старше Блока, он ко времени его поэтического дебюта, состоявшегося в 1903 году, уже имел сложившуюся литературную репутацию. Блок и Бунин принадлежали к разным литературным лагерям, и, безусловно, мировоззренческие и творческие установки Бунина-реалиста и Блока-символиста вряд ли могли предполагать какое-либо тесное сближение или взаимовлияние. И если Блок, по складу своего характера и поэтического темперамента, был чуток к голосам иных литературных школ, то Бунин, как известно, с открытой неприязнью относился ко всем модернистским течениям, от декадентов 90-х годов до футуристов¹.

Блок, пристально следивший за современным литературным процессом во всем многообразии его проявлений, сравнительно рано включил в поле своего зрения творчество Бунина. Уже в первой записной книжке 1902 года «Стихотворения» Бунина упомянуты в числе источников, предназначавшихся для наброска статьи о новейшей русской поэзии². К ноябрю 1903-го относится намерение Блока написать рецензии на стихи и рассказы Бунина³. Неизвестно, реализовались ли замыслы Блока в то время: до нас эти рецензии не дошли. Но нам известны два других развернутых отзыва Блока на стихи Бунина: на третий том его «Стихотворений» — в статье «О лирике» (1907) и на четвертый — в статье «Письма о поэзии» (1908). Второй и третий тома «Стихотворений» Бунина с пометками Блока сохранились в личной библиотеке поэта в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР⁴. Эти материалы создают объективную основу для исследования отношения Блока к поэзии Бунина и анализа особенностей поэтики двух художников, стоявших на разных идейно-эстетических позициях.

В статье «О лирике» Блок обратился к рассмотрению творчества тех поэтов, из которых, по его мнению, «слагается поэтическая плеяда данной эпохи»⁵. Причем он настойчиво подчеркивал, что принадлежность к определенной школе для него несущественна, ибо она достаточно условна: «...лирик, того и гляди, перескочит через несколько граф и займет то место, которое разграфлявший бумажку критик тщательно охранял от его вторжения» (135). Поэт интересуется Блока в первую очередь как «лирическая единица»: «Лирика есть «я», макрокосм, и весь мир поэта лирического лежит в его способе восприятия» (135—136). С этой заявленной им в начале статьи позиции Блок и подходит к анализу поэзии Бунина, посвятив ей один из разделов своей статьи.

В центре внимания Блока — третий том «Стихотворений» Бунина, вышедший в 1906 году. Но не обойден молчанием и предшествующий том, а пометы на нем свидетельствуют о внимательном и придирчивом чтении. Блок считает, что уже по первым поэтическим книгам Бунина

(«Листопад», «Новые стихотворения») было «ясно, что это — настоящий поэт», и те черты, которые впоследствии определятся яснее, здесь уже отчетливо намечены. Поэзия Бунина обрела свое лицо, в ней «утвердились те немногие, но жесткие и уверенные линии, один взгляд на которые заставляет сейчас же и безошибочно сказать: это — Бунин» (141).

Что же имеет в виду Блок и какие именно темы, образы и мотивы он выделяет в лирике Бунина? Прежде всего он отмечает самое существенное в поэтическом мире Бунина — лирическое изображение русской природы. Действительно, традиции русской пейзажной лирики XIX века в 90-е годы развивал, пожалуй, только Бунин. И это была его осознанная эстетическая установка. Блок, со свойственной ему способностью погружаться в стихию лирического настроения, подчеркивает у Бунина-поэта богатство его красочных и слуховых впечатлений. Сосредоточенность на художественно-образительной стороне поэзии не была для Блока случайной. Известно, что в статье «Краски и слова» (1905) он призывал поэтов «учиться смотреть» (24), вглядываться в природу и находить в ней новые возможности для поэтического самовыражения. «Только часто прикасаясь взором к природе, отдаваясь свободно зримому и яркому простору, можно стряхивать с себя гнет боязни слов, расплывчатой и неуверенной мысли» (23).

«Понимание зрительных впечатлений, умение смотреть» — вот что требуется от современного поэта, душа которого «зажалась среди абстракций, загрустила в лаборатории слов» (22). Тогда новые тенденции в поэзии Блок связывал с творчеством С. Городецкого. Теперь, спустя два года, его интересует в близком аспекте поэзия Бунина. «Мир его, — пишет Блок о Бунине, — по преимуществу — мир зрительных и слуховых впечатлений и связанных с ними переживаний» (141). В стихотворении «Листопад», открывающем второй том «Стихотворений» Бунина, Блока привлекают описательные, пейзажные картины осени, осенней охоты, удачно найденные образы. Приведем некоторые строки из отчеркнутых Блоком на полях:

Теперь уж тишина другая:
Прислушайся — она растет!
А с нею, бледностью пугая,
И месяц медленно встает.
Льет дождь, холодный, точно лед,
Кружатся листья по полянам,
А ночью гуси караваном
Над лесом держат перелет...
Но дни идут. Свежеет просинь
Студеных далей. Их простор
Живит и ободряет Осень...

Вероятно, именно своей живописностью, точностью поэтического взгляда заинтересовало Блока стихотворение «Из сказки» (полностью отчеркнуто), в котором сказочный колорит органично уживается с реалистической манерой письма:

Все лес и лес. А день темнеет, —
 Низы синют, и трава
 Сыдой росой в лугах белеет...
 Проснулась серая сова.

На запад сосны вереницей
 Идут, как рать сторожевых,
 И солнце мутное Жар-Птицей
 Горит в их дебрях вековых.

В работе над вторым томом «Стихотворений» Бунина Блок чаще всего пользовался своим излюбленным знаком «√[—]», к которому он постоянно прибегал при чтении рецензируемых книг. Этим знаком он отмечает, например, понравившиеся ему пейзажные стихотворения И. Бунина («Родина», «Бушует поляя вода...», «На ущербе»*); стихотворения природы созвучно душевному настрою лирического героя («Ночная вьюга», посвященная К. Бальмонту). Отмечены А. Блоком и те лирические зарисовки, которые покоряют свежестью и искренностью чувства («Снова сон, пленительный и сладкий...», «Нынче ночью кто-то долго пел...», «И вот опять уж по зарям...»). Всего во втором томе таким знаком отмечено 16 стихотворений.

Знак «+» — лишь около одного стихотворения, к тому же оно еще и подчеркнуто на полях. Здесь пейзажная лирика, легко преодолевая жанровые границы, превращается в медитативную:

Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена,
 И небо меж снастей синее в вышине,
 Люблю твой бледный лик, печальная Селена,
 Твой безнадежный взор, сопутствующий мне.
 Люблю под шорох волн рыбацкие напевы
 И свежесть от воды — ночные вздохи волн,
 И созданный мечтой, манящий образ девы,
 И мой бесцельный путь, мой одинокий челн.

В третьем томе знаком «√[—]» отмечены только четыре стихотворения, но своеобразным его эквивалентом является знак «о», которым помечены 20 стихотворений. Он стоит у тех стихотворений, которые могли привлечь Блока созерцательностью настроения («Огонь на мачте»), тонкой наблюдательностью («Разлив»), картинными природными рождущими у лирического героя воспоминания о прошлом или размышления о настоящем («В открытом море»). Им же отмечены обратившие на себя внимание Блока стилизации в восточном («Надпись на чаше») или в русском народном («Чужая») духе, а также приведенные в статье «О лирике» — «Песня», «Зеленый стяг», «Тайна». Этим же знаком отмечены и

* В последнем стихотворении Блоком подчеркнуты следующие строки: «С колокольни долетает, // Замирая, сонный звон» и «Замирает одинокий // Золотой двойник луны» (2,105).

такие «программные» для Бунина тех лет стихотворения, как «Донник», в котором провозглашается самоценность отдельной человеческой личности, утверждающей связь с миром природы в каждом миге своего существования, и «Сентябрь» («Уж подсыхает хмель на тыне...»), где бытовая зарисовка вырастает в картину бытия.

И во втором, и в третьем томе Блоком отчеркнуты многие строфы, подчеркнуты многие строки и слова. Что можно сказать об этих пометах Блока? Обычно он отмечает те случаи, где найденный Буниным образ кажется ему неожиданным, где переданы неуловимые движения и оттенки и явления предстают в новом ракурсе. И опять-таки на первом плане для Блока то, что, по его мнению, составляет отличительную примету поэтики Бунина — богатая живописная палитра, разнообразие слуховых и зрительных впечатлений и ассоциаций. Приведем некоторые примеры выделенных Блоком строк (отчеркнуто на полях или подчеркнуто):

Вслед заре, уходящей к закату,
Умирающим звукам вослед

Посылаю тебе мою душу, —
Мой печальный и нежный привет! (2,107)

Торжественный хорал неведомым богам (2,123).

Сквозь стекла в старый кабинет
Льет солнце золотистый свет;
Широким палевым квадратом
Окно рисует на стене... (3,104)

И фосфором дымится снег,
И видно, как мерцает нежно
Твой ледяной душистый мех,
На плечи кинутый небрежно... (3,39)

Распали костер, сумей
Разозлить его блестящих,
Убегающих, свистящих,
Золотых и синих змей! (3,104)

Отмечая способность Бунина проникать в «тайну Востока», умение передать «экзотику красок», Блок тем не менее ценит Бунина прежде всего как поэта русской природы. В этих стихах, по его мнению, «меньше внешнего разнообразия, но больше внутреннего богатства и раздумья» (143). Блок обращает внимание на язык поэзии Бунина, который утрачивает риторичность, стилистически довлевшую его «восточным» стихам, и обретает ту конкретность, без которой не возникает ощущение жизненности, реалистичности изображаемого. Этнографические детали, местные слова, диалектизмы, которыми Бунин щедро насыщал свои лирические зарисовки, не кажутся Блоку избыточными, а напротив, он называет их «необходимыми». Работая над сборниками, Блок не пропустил ни одного выражения такого рода; они все подчеркнуты им: застреха, просяной

омет, над привадой, шлях, верболозы (поставлен знак «?»), разлужье, извалами, ветряк, голубец, корец, ушастая пастушка, шелюг, пожухла, рыбалка (птица), баклан.

Такая позиция, чуждая языкового пуризма, свидетельствовала о широте профессионального взгляда Блока на литературные явления современности, ибо для критики тех лет была характерна более сдержанная оценка «этнографизма» бунинской поэзии. Даже такой пристрастный критик, как А. Горнфельд, отдававший явное предпочтение Бунину, писал: «Нежные акварели великой русской равнины перегружены лингвистической этнографией там, где днепровские "верболозы" сменяются поморским "шелюгом", косогор "над разлужьем" крестом "за извалами"»⁵. Именами Бунина и Блока Горнфельд отмечает как бы два полюса современной стихотворной культуры: стихия живой речи, насыщенной «колоритными провинциализмами», с одной стороны, и высокий литературный слог, порой уснащенный эзотерической лексикой, — с другой. И в этом аспекте тем более замечательно, что Блок смог по достоинству оценить поэтическую смелость Бунина, не разделяя в целом его принцип работы с языком.

Блок, всегда остро ощущавший связи современной культуры с предшествующими эпохами, умевший и любивший в силу особенностей своего художественного мышления находить культурные аналогии различным литературным явлениям, не мог, конечно, не включить и лирику Бунина в определенную традицию, тем более что сама бунинская поэзия достаточно красноречиво свидетельствовала о своих творческих ориентирах. Полонский, Тютчев, Фет — вот те имена, которые возникали в сознании Блока при чтении стихотворений Бунина. Действительно, и по общей тональности своего поэтического творчества, и по отбору художественных средств Бунин выступал продолжателем именно этой линии в развитии русской поэзии. Блок очень строг и точен в своих оценках. Чувствуя созвучие бунинской музыки с поэзией прошлого века, он имеет в виду не просто следование этой традиции, а близость более глубокую — родственность духовного настроения. Отмечая родство с Полонским, ощущаемое прежде всего в таких стихотворениях, как «Канун Купалы», «Песня», «Одиночество», Блок, однако, не подвергает сомнению оригинальность мастерства Бунина, индивидуальность его восприятия мира. Он говорит лишь о том, что здесь «можно уловить душу поэзии Полонского — отнюдь не влияние даже, а только какой-то однородный строй души» (143). Пометой «Полонский» сопровождаются еще два стихотворения Бунина, не названные в статье, — «Три ночи» (2,73) и «Дома» (3,60). По мнению Блока, поэзия Бунина несет на себе следы влияния Тютчева, но, как считает Блок, «Тютчев — более чужой Бунину, чем Полонский» (144), и влияние это «гораздо резче и гораздо менее выгодно для поэта сказалось в первом томе его стихов» (144). Конечно, стихотворение Бунина «Новоселье», особенно его заключительная строфа («Весна! Справляя новоселье, // Она веселый катит гром // И будит звучное устье, // И сыплет с неба серебром»), не могло не вызвать у Блока ассоциаций со знамени-

тым тютчевским «Люблю грозу в начале мая...», и сравнение было не в пользу Бунина: «Тютчев лучше писал» (3,160)⁷.

Бесспорно, в конце 900-х годов такая поэтика ощущалась в значительной степени как традиционная, а Бунин приобретал устойчивую репутацию традиционалиста, «парнасца». Сам Блок в своей юношеской лирике сполна отдал дань и Фету, и Тютчеву, и Полонскому. Он неизменно называл этих поэтов своими учителями, и он учился у них лиризму, образительности, напевности. Но в то же время Блок в своем поэтическом развитии шел иными путями. На фоне тех художественных возможностей, которые открывала перед писателями современная поэзия с ее обнаженным лиризмом, обостренным до трагизма восприятием мира, лирика Бунина казалась архаичной не только потому, что была погружена в «вечные» проблемы бытия, но прежде всего потому, что художественная мысль Бунина была далека от того типа мироощущения, которое складывалось в поэзии 900-х⁸. Не случайно Блоком, представителем «новой» поэзии, Бунин воспринимается как поэт «очень целомудренный, строгий к себе, с очень ценной, но не очень богатой психикой» (141). Выдвинув этот тезис в начале своего анализа лирики Бунина, в итоге Блок истолковывает его так: «Прочсть его книгу всю зараз — утомительно. Это объясняется отчасти бедностью мировоззрения и отсутствием тех мятежных исканий, которые вселяют тревожное разнообразие в книги "символистов"» (144). Именно эта черта поэзии Бунина, объясняемая особенностями мировоззрения художника, и является в глазах Блока ее главным недостатком. Как замечает авторитетный исследователь поэзии начала XX века Д. Е. Максимов, «Бунин в известной мере освобождал свою лирику от груза интеллектуально конкретизированных идейных исканий и не выдвигал таких идеалов, которые в своей императивности и определенности высоко и властно поднимаются над эмпирическим потоком впечатлений и становятся вехами, отмечающими этапы внутреннего движения»⁹.

В своей статье Блок не углубляется в детальный анализ «мелких неточностей в словах и мелких погрешностей в стихе» (144), но, читая тома «Стихотворений» Бунина, он педантично отмечает все нарушения такого рода знаками «!» и «?!» или сопровождает их словесными замечаниями. Блок просто беспощаден к тем поэтическим формулам, встречающимся у Бунина, которые к тому времени уже потеряли новизну. В стихотворении «К прибрежью моря длинная аллея...» подчеркнуты сочетания: «Люблю мечты созданья» («!») и «светлая мечта». В сонете «Эпитафия» отмечены две строки: «Где только ветер веет в полусне, // Все говорит о счастье и весне» — и сопровождаются замечанием: «Все испортил». В стихотворении «Последняя гроза» неудовольствие Блока вызвали строки: «Чьи-то очи ярко блещут, // Содрогаясь от усилья» («?!»). Подобная же реакция и на строчки: «Кружится смерть в весельи диком // И развезает саван свой!» — в стихотворении «Ночная выюга».

Не мог принять Блок и ставшие банальными рифмы: одежды — надежды; подчеркнуты рифмующиеся слова и отмечены «!». Не признавал он и грамматических нарушений в угоду стихотворному размеру: он

последовательно отмечает знаком «?» все случаи употребления возвратной частицы -ся после глагольной основы на гласный: прижалася, слагалася, улыбалися. (Хотя, возможно, для Бунина такое употребление было вполне осознанным и выражало его общую ориентацию на поэзию XIX века.)

Недоумение Блока вызывали те строки бунинских стихов, которые не обладали лирической силой и не отличались свежестью поэтического взгляда. Знаком «?» он отмечает, например, такие строки: «Я вижу кожу бегемота», «Я покорился. Я невольник, // Живу лишь сонным ядом грез»; «Уже давно в лесу замолкли птицы, // Свистели и шуршали лишь синицы»; «О, ночь! Сокрой во тьме свой лик, // Свой взор тревожный и могучий!»; «И сморит, как ангел лазурный, // Весеннее утро на них»; «А мир — мир дремлет: он красив, // Он счастлив тайной грустью ночи («?!»); «Чернеют маги кипарисы». В стихотворении «К Востоку» подчеркнуто показавшееся Блоку неудачным сравнение: «...как джин пустыни, плачется шакал». К этой строке отнесены знак «?» на полях и помета: «До какой же степени это слабее Бальмонта». Не устраивали Блока и такие новообразования Бунина, как «фосфоритсы», «фосфорясы» — оба случая отмечены знаком «?» и слова подчеркнуты.

Отмечая умение Бунина подобрать единственно нужные и необходимые в данном случае слова, Блок тем не менее находит выражения, кажущиеся ему неточными, отмечает примеры нарушения единства стиля, времени. Вот некоторые пометы Блока. В стихотворении «Апрель» в строках: «И сонно, сонно светится сквозь ельник // Серпа зеленоватое пятно» — Блок подчеркнул слово «серпа» и заметил: «Все-таки надо прибавлять лунного», имея в виду возникающую омонимию, не снимаемую контекстом (3,84). В стихотворении «Из окна» подчеркнуты определения, противоречащие друг другу по смыслу: «...долинная, лесная, // Голубая тающая даль» (3,85). В стихотворении «Поморье», рисуя картину знойного летнего полдня, в строках: «Спит помор, от солнца пьяный, // Тонко плачется комар» — второй стих взят в скобки, отмечен знаком «?» и сопровождается пометой: «Как попал сюда комар?» (3,91). В стихотворении «Ольха» Блока, вероятно, не устраивал сам поэтический прием — смена глагольных времен, и, отчеркнув заключительные строки, он записал на полях: «Так пишут в стихах рассудочных и детских. В созерцательных стихах необходимо выдерживать единство времени» (3,109).

В стихотворении «После дождя» в первой строке: «Все море — как жемчужное зеркало...» — Блок подчеркивает «зеркало», ставит «?» и пишет на полях: «Не в стиле» (3,129). Знаком «?» отмечено стихотворение «Океаниды»: вероятно, вопрос вызван «уходом» от заявленной в заглавии темы.

Попутно Блок замечает: «О самих океанидах не сказано ни одного оригинального слова. Причем они?». Никак не мог принять Блок и стихотворения «Мудрым», построенного по принципу антитезы, где противопоставлены два типа жизненного поведения, две судьбы — героя, сравниваемого с «искрометным метеором», и труса, чье сердце «чуть тлеет, // Как огонек под кизяком». Блоку казалось невозможным такое прямоли-

нейное соединение «астрального» и «эмпирического» уровней изображения. Он подчеркивает слова «метеор» и «кизяк» и отмечает: *«Метеор и кизяк несопоставимы»*.

А вот в стихотворении «Мистику», которое, казалось бы, должно было вызвать неприятие Блока, он отчеркивает заключительную строфу:

Теперь давно мистического храма
Мне жалок темный бред:
Когда идешь над бездной — надо прямо
Смотреть в лазурь и свет —

и пишет на полях: «Грубо, но хорошо». Видимо, Блоку, прошедшему мистические искусства «первого тома», мысль Бунина — не по форме, но по содержанию — казалась близка его собственным размышлениям конца 900-х годов о своем поэтическом пути. Завершало третий том лирики Бунина «восточное» стихотворение «Тайна». Для Блока оно было «вторичным» по своему ритмико-интонационному строю, ибо рождало ассоциации с пушкинским «Жил на свете рыцарь бедный...», и по этому поводу Блок замечает: «Хорошие стихи. Но почему-то напоминает: «Он пребудет и за гробом// Тот же гордый и немой».

Таким образом, благодаря сохранившимся пометам Блока на втором и третьем томах «Стихотворений» Бунина открывается возможность реконструировать сам творческий процесс работы Блока-рецензента.

К сожалению, в библиотеке поэта не сохранился четвертый том «Стихотворений» Бунина, отклик на который содержится в статье «Письма о поэзии» (1908). Этот том, в отличие от предыдущих, Блок оценил резко отрицательно. По мнению Блока, он представляет «почти сплошь сухую риторичку», в нем господствует «подражательность всем образцам, начиная с Пушкина и кончая новейшими» (295), а «живая поэзия» принесена в жертву «общим местам». Парнасская отчужденность от сегодняшнего дня заставляет поэта, по словам Блока, метаться «из стороны в сторону, как бы ища свою утраченную стихию» (296). И причиной такой неустойчивости Блок опять-таки считает «бедность мировоззрения», т. е. отсутствие *личного* отношения к тем общественным, историческим, культурным проблемам, которыми жила Россия начала XX века. Конечно, вывод Блока о том, что «поэзия Бунина... склонилась к упадку» (295), сейчас звучит излишне категорично. Это суждение представителя другой литературной школы, и его полемическая заостренность понятна¹⁰.

Но Блока вряд ли можно заподозрить в необъективности или тенденциозности. Ведь примерно в то же время в его записных книжках имя Бунина упоминается в очень серьезном контексте. 27 сентября 1908 года он записывает: «Сложнейшие думы. Менделеев, Толстой, Тургенев, Добролюбов, Венгеров... Клюев. Маленькие современные писатели — Лазаревский, Куприн, Бунин, Кондурушкин. Народное, письмо Клюева, «Воскресенье», Добролюбов о народности в русской литературе»¹¹. А перед этим — запись от 25 сентября: о неприятии символистско-

го догматизма, мистического анархизма, декадентства. Безусловно, имя Бунина включалось в размышления Блока о народности современной литературы, о тех демократических традициях, которые были завещаны ей русской литературой прошлого века. И именно в обращении к реализму виделся Блоку в эти годы выход из индивидуализма и декадентства.

Отношение Блока к Бунину было сложным и неоднозначным. С его точки зрения, Бунин не выступал открывателем новых путей в литературе, но в его творчестве Блок не мог не почувствовать силу того направления, к которому принадлежал Бунин и которое привлекало и притягивало Блока. Широта позиции Блока выгодно отличала его от тех поэтов-символистов, для которых творчество Бунина оставалось, по существу, «закрытым»¹². И нет сомнения в искренности лестных для всякого художника слов, сказанных Блоком о Бунине в 1910 году, в статье «Литературный разговор»: «Этот образованный, спокойный, умный и тонкий поэт», имеющий «чуткую русскую душу» (438).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Подробнее см.: Долгополов Л. На рубеже веков: О рус. лит. конца XIX — нач. XX в. Л., 1977. С. 277—280.

² Блок А. А. Записные книжки. М., 1965. С. 27.

³ Там же. С. 56—57.

⁴ Бунин Ив. Стихотворения. Спб., 1903. Т. 2. Шифр 94 2/14; Бунин Ив. Стихотворения. Спб., 1906. Т. 3. Шифр 94 1/5. Далее ссылки на эти издания даются в тексте с указанием тома и страницы. См. также: Библиотека А. А. Блока: Описание. Л., 1984. Кн. 1. С. 112—114.

⁵ Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 135. Далее ссылки на этот том даются в тексте с указанием страницы.

⁶ Горнфельд А. Литературные беседы: Странички лирики // Товарищ. 1907. 2 марта. С. 3. То же в кн.: Горнфельд А. Г. Книги и люди. Спб., 1908. Кн. 1. С. 63.

⁷ О влиянии Фета на Бунина в статье не говорится, но к стихотворению «Ракета» относится помета Блока: «Фет лучше» (2, 49).

⁸ См.: Долгополов Л. Указ. соч. С. 288—289 и др.; Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981. С. 24—26.

⁹ Максимов Д. Е. Указ. соч. С. 25.

¹⁰ Ср. рецензии В. Брюсова (Весы. 1907, № 1. С. 71—72) и М. Волошина (Русь. 1907. 5 янв. С. 3).

¹¹ Блок А. А. Записные книжки. С. 115.

¹² Ср., напр.: Соловьев С. И. Бунин. Стихотворения. Т. III. Спб., 1906 // Золотое руно. 1907. № 1. С. 89.

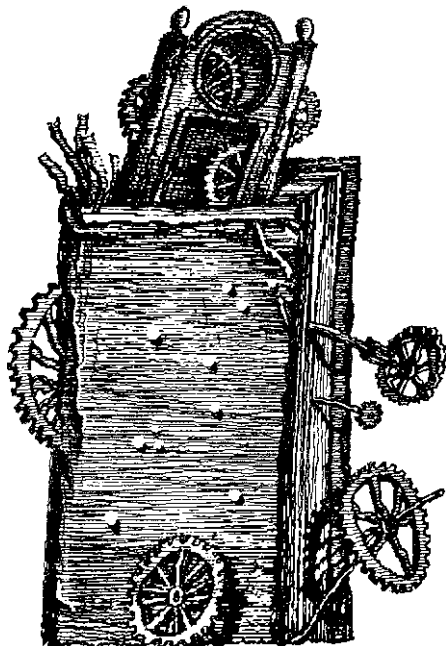
ДЕЛА МИНУВШИЕ

Лев Бердников
КИРИЯК КОНДРАТОВИЧ
И ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВИЧ

Петр Перминов
ПАСЫНОК ФОРТУНЫ

Алексей Ерохин
«СТОЛЕТЬЕ БЕЗУМНО И МУДРО»

Евгения Иванова
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕРЕПИСКИ



Лев Бердников
КИРИЯК КОНДРАТОВИЧ
И ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВИЧ

*Из истории посвящения
 в русской книжной культуре*

Вообразим себе реакцию современного редактора на просьбу автора заменить титульный лист колофоном или напечатать в конце книги какое-нибудь «Обращение к Зоилу», — но почти так же был бы обескуражен русский читатель середины XVIII века, увидев посвящение, помещенное не в начале издания, а, скажем, на последней странице. Ныне многие элементы композиционного состава изданий канули в Лету, другие — претерпели столь разительные перемены и по содержанию, и по полиграфическому оформлению, что генетическое родство их едва узнаваемо. Но изменения происходят не вдруг: структура книги данной историко-культурной эпохи обладает определенным набором и строгой последовательностью этих составляющих ее элементов, нарушение которой бросается в глаза даже неискушенному книгочию. Его величество композиционный штамп в силу своей исключительной жизнестойкости прочно укореняется в издательской практике эпохи.

Любопытно, что в роли своеобразного нарушителя общепринятого композиционного шаблона издания выступает зачастую не выдающийся и признанный деятель, а как раз наоборот — автор, обойденный славой и стремящийся привлечь внимание публики именно средствами архитектурники книги. Одним из таких нарушителей был непризнанный при жизни и совершенно забытый сегодня Кирияк Андреевич Кондратович (1703—1788).

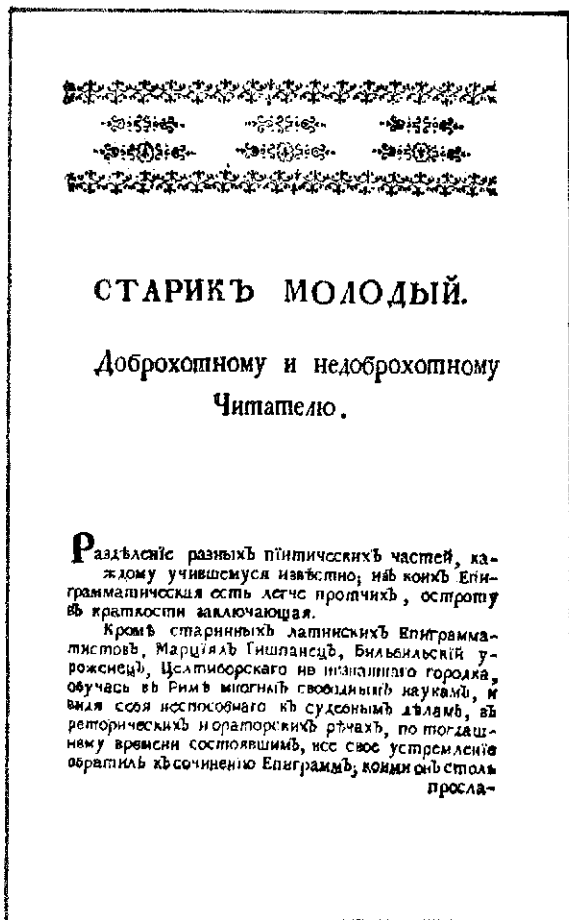
В своей книге «Старик молодой» (СПб., 1769) он как будто демонстрирует полнейшее безразличие к судьбе собственного издания. Книгу предваряет вот такое парадоксальное предложение автора «доброхотному и недоброхотному читателю»:

«Есть у вас слюна; плюнуть да покинуть,
 Есть у вас руки; разодрав, бросить,
 Есть у вас огонь; сжечь и раздуть,
 Есть у вас вода; в пролубь к Кронштадту пустить,
 Есть у вас веники и щетки; с сором вымести,
 Есть у вас фузеи; на патроны и затычки употребить,
 Ребятам на летающие змеи отдать.

А в прочем сами знаете, куда негодные бумаги употребляются¹.

Было бы наивным с нашей стороны поверить в искренность подобного совета; его настойчиво опровергают даже те скудные сведения, сохранившиеся о Кирияке Андреевиче — скромном переводчике Академии наук (здесь прослужил он 45 лет). Получивший схоластическое образование в Киеве, а затем переводивший с латинского и польского под руководством В. Н. Татищева и Феофана Прокоповича, Кондратович был одержим

«Титульный лист»
книги К. А. Кондратовича



неукротимой страстью печатать свои сочинения, отнюдь не бесспорных литературных достоинств. Пример ли своего титулованного дяди Гавриила Бужинского (чьи речи издавались тотчас же по произнесении их) или продуктивная деятельность его сослуживца по Академии В. К. Тредиаковского подвигли малоимущего Кондратовича на сие поприще — не столь уж важно. Существенно, что именно забота о внимании публики к собственным сочинениям стала не только самоцелью, но и источником всех злоключений этого плодovitѣйшего — даже по меркам «многооречивого» века Просвѣщенія — переводчика и стихотворца. Из увесистых фолиантов, вышедших из-под его пера (а их было более четырех десятков:

словари-«целлариусы», переводы книг по медицине, географии, истории, переложения всего (!) Гомера, Анакреона, Светония, Катона, Цицерона, других древних авторов, а также 16 тысяч оригинальных эпиграмм и так далее), увидели свет лишь немногие. Об объеме созданного неутомимым Кирияком Андреевичем можно судить хотя бы по тому факту, что для переписывания одного только его этимологического словаря требовалось два с половиной года регулярной работы².

А потому не иначе чем позерством может быть объяснено показное равнодушие автора к судьбе своих произведений. Это тем очевиднее, что сам он не устал говорить о значимости собственных творений для общей пользы и увеселения, сетовал, что рукописи его, хранившиеся в академической библиотеке, «кирпичам и моли вверены без пользы», а не стали достоянием читателей («Я переводил для людей, а не для кирпичей библиотечных») ³.

Не желал Кондратович смириться и с тем, что Академическая типография печатала не его монументальные труды, но все больше «Жилблазов и Хромоногих бесов и прочих пустых романов»⁴. Впрочем, не только литературная поза угадывается в словах о «негодных бумагах» применительно к собственной книге. «Не было на свете ни одного автора, который не имел своего Зоила», — признается здесь же Кирияк Андреевич и добавляет: «Я ничьими похвалами не прибуду, а хулами не убуду»⁵.

Маски Зоила, недоброхотного читателя, насмешника-вертопраха были характерным реквизитом книжной культуры XVIII века, но для Кондратовича они приобрели вполне конкретный и даже злоедейский смысл. Показательна в этом отношении владельческая запись на титульном листе одной из его книг (ГБЛ, Музей книги. Инв. № 11699). К заглавию: «Польский общий словарь и библейный, с польского, латинского и российского новоисправленною библиями смечиван...» (СПб., 1775) приписано одно лишь определение, свидетельствующее о живой оценке этого издания современником — «глупой»!

Увы, столь безапелляционное суждение о литературной работе Кондратовича весьма симптоматично. О его трудах не вполне лестно отзывались и литературные законодатели века — М. В. Ломоносов⁶ и А. П. Сумароков⁷ (хотя в их высказываниях сквозит и личная антипатия). Однако и Тредиаковский, содействовавший публикации некоторых переводов Кондратовича, нигде ни полсловом не обмолвился о заслугах последнего в области словесных наук. Показательно, что и статья о нем Н. И. Новикова, не скупившегося обычно на похвалы российским писателям, содержит только количественную характеристику⁸. Едва ли все же справедлив суровый приговор, вынесенный в свое время этому литератору энциклопедическим словарем «Брокгауз и Ефрон»: «Плохой писатель»⁹. Хотя впоследствии его рукописный «целлариус» использовался как вспомогательный материал при составлении под руководством кн. Е. Р. Дашковой «Словаря Академии Российской», приходится признать, что трудам Кондратовича не суджено было стать ярким явлением в отечественной культуре.

Но колкие замечания «недоброхотов» вовсе не истребили в Кирияке

Андреевиче желание печататься, не угасили переполнявшие его «огонь стихотворческий» и авторское самолюбие. В 1767 году, когда после 20-летних мытарств пять его переводов увидели наконец свет (в ГБЛ сохранились экземпляры, где они сплетены вместе), Кондратович не упускает случая в каждой такой публикации тиснуть и собственные вирши. Можно представить себе, какое странное впечатление произвело на читателей механическое объединение в одном издании переведенного им «Сочинения о варягах» Г. З. Байера и — сразу же после титульного листа — «Оды парафрастической о впадшем в разбойники!»¹⁰ Этот «трудник слова» не в шутку почитал себя литературным противником великого Ломоносова, любил сравнивать себя с Анакреоном — отсюда, кстати, и его курьезный псевдоним: Старик молодой.

Старик молодой... Да позволено будет воспользоваться этим псевдонимом-оксюмороном по нашему произволу! Если в литературном сознании XVIII века Кондратович воспринимался как «старик», ретроград и схоласт, то в истории книжной культуры он неизменно останется «молодым» — новатором, одним из первых в России сознательно нарушившим строгую иерархию элементов структуры книги того времени. Прежде всего это относится к посвящению, воспринимавшемуся тогда как один из важнейших атрибутов издания малоимущего автора¹¹. Здесь не обойтись без исторического экскурса; иначе будет совершенно неясно, на что поднял руку Кирияк Андреевич и насколько тесно был связан предпринятый им шаг с его литературной судьбой.

Рожденное эллинизмом, строго регламентированное в «Письмовниках» Византии (Г. Назианзин и др.), посвящение еще в Средние века проникло во все западноевропейские культуры как особый вид «открытого письма», предваряющего книгу. Однако из богатого тематического репертуара посвящений античности (родственникам, друзьям, дамам, детям, городам и т. д.) особенно широкое распространение получает посвящение так называемым меценатам, в экономической зависимости от которых находился автор (отсюда известная пословица: «Чей хлеб я ем, того и песни пою»)¹². Еще в манускриптах установился характер оформления текста панегирических посвящений: обязательные интервалы, жесткая система абзацных отступов, выделение крупными литерами имени и титула адресата.

«Индустрия» посвячительных славословий получила особый размах после изобретения книгопечатания, особенно в условиях обособления издательского, типографского и книгопродавческого дел¹³. Меценат в качестве компенсации за увековечивание собственного имени в анналах истории брал на себя издержки по печатанию книги. Понятно, что для многих малоимущих авторов это было единственной возможностью продать тиснению собственное сочинение. (Показательно, что на английском книжном рынке XVII века установилась даже негласная плата за посвящение — от 20 до 40 фунтов.)

Посвящение в России Петровской эпохи, когда в книжном деле господствовала государственная монополия, обрело первоначально совер-

шенно иной исторический смысл. Забота об авторитете русского государства — вот главный побудительный мотив деятельности Петра I в этом направлении. Именно так следует расценивать его поручение Г. Льюгенсу склонять западноевропейских ученых к посвящению русскому царю замечательных книг, касающихся истории, политики и механики (1702), а также публичное чтение на одной из ассамблей (1723) посвящения царю Христиана Вольфа¹⁴.

В русских же книгах того времени посвящения не получили еще широкого распространения (согласно нашим подсчетам, они составляли около 4 % в книгах гражданской и менее 1 % кирилловской печати). Не устоялась еще и система полиграфического оформления текста; более того, посвящение воспринималось как одна из разновидностей предисловий (эти понятия отождествлялись в языке того времени) и не вполне еще вычленилось в самостоятельный элемент композиционного состава изданий.

Важно понять цели и мотивы посвящений книг в России первой четверти XVIII века.

Вручая себя и книгу адресату (а таковыми тогда были Петр I и его ближайшее окружение), автор не оговаривал для себя никаких условий, характерных для последующих отношений обмена и договора, не требовал никаких льгот, кроме права вновь бескорыстно и самозабвенно отдавать себя служению Отечеству¹⁵.

Один из ранних русских образцов панегирических посвящений, воплотивший в себе характерные приметы их структуры и полиграфического оформления текста, принадлежит Тредиаковскому в его «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» (1735). Здесь же впервые в русской словесности была дана содержательная характеристика дедикации, рассматриваемая в духе того времени в ряду панегирических эпистол: «Нежна и хитра дедикация в прозе»¹⁶.

Можно выделить и замечательные публицистические опыты в этом жанре, созданные Ломоносовым (прежде всего посвящения к его «Российской грамматике» 1755 года и «Краткому руководству к красноречию» 1748 года), прославляющие родной язык и национальную культуру.

Но, к сожалению, не эти образцы определяли лицо и господствующее направление посвящений того времени. Общим местом становятся преувеличение, сервилизм, воскурение фимиама по обязанности, вызванные глубокими социальными факторами. Со все более активным приобщением к книжному делу третьесловных писателей, материально зависимых от «сильных мира сего», эта тенденция заметно усиливается.

Кирияку Андреевичу, как, впрочем, любому словеснику того века, суждено было испить до дна горькую чашу униженных «ласкательств перед покровителями». Но в его посвячительных письмах панегирики лицам, от которых зависело издание его сочинений, излагались не по правилам западноевропейских «учебников лести»¹⁷, но по собственному разумению. Именно такого рода дедикации имел в виду М. Д. Чулков,

когда писал: «Как бы кто, желая похвалить своего мецената, однако, не зная в похвалах толку и умеренности, весьма нелепо его выругал»¹⁸.

Откровенно сервильный тон посвящений Кондратовича, иногда сбивающийся на фамильярность, тяжеловесный синтаксис, обилие плеоназмов, искусственное «сопряжение» несочетаемых понятий — все это производит сейчас комическое впечатление. В ход пускались самые неуклюжие и отчаянные комплименты (типа «надежный милостивец» и «милостивый надежник»). При этом Кондратовичу, обеспокоенному судьбой собственных сочинений, было, конечно, совершенно безразлично, кому соплетать посвятельную хвалу (ср.: «16 тысяч эпиграмм я сочинил через весь мой век./Печатать же мне не на чем, снабди на то всяк человек»).

Неважно, какого «надежника» выхвалять — покровителя ли искусства А. С. Строганова или С. П. Ягужинского, по свидетельству историка, «бездарного, распутного и расточительного человека»¹⁹. И в том и в другом случае Кирияк Андреевич приписывал «милостивцу» все мыслимые и немыслимые добродетели, а затем в виршах обыгрывал фамилию своего «героя». Так, внук бедного литовского органиста, Ягужинский мог быть, по его мнению, польщен сравнением своей фамилии с виноградом из райского вертограда²⁰. Даже грозную фамилию Волков можно попытаться представить в выгодном свете:

От волка есть тебе прозвание, хоть чудно,
Но с шерсти угадать в том добродетель трудно:
Незловиву овцу твой внутри являет дух²¹.

Не беда, если покровитель не имеет громкого титула, — можно изощриться и самому придумать его: нечиновного, но богатого промышленника И. В. Осокина Кондратович величает «Директором собственных медных заводов».

Словом, посвящение у Кондратовича достигло апофеоза беспринципности и исчерпало себя.

Как воспринимали такие посвящения их непосредственные адресаты — нет сведений. Известно другое — многие из усилий, предпринятых Кирияком Андреевичем в поисках меценатов, не увенчались успехом. Так, например, посвящение одного из своих сочинений Синоду пошлокло за собой неутешительный отзыв: «Труд многодельный и похвалы своя недостоинный». И неизбежным, неотвратимым стало разочарование, осознание тщеты посвячительных похвал. Результат не замедлил воплотиться и в издании «Старика молодого». Помещенное в нем письмо к меценату не только идет вразрез со всеми предшествующими опытами Кондратовича в этом жанре — оно обнажает нравственную и экономическую подоплеку панегирических посвящений вообще и «взрывает» традиционный элемент структуры книги.

Вчитываемся в текст — перед нами не дедикация в собственном смысле слова, а дерзкий вызов литературного плебея всесильному милостивцу, от прихоти которого зависит выход в свет той или иной книги. И дело не только в том, что вопреки всем книжным канонам посвячитель-

Посвящение
из книги К. А. Кондратовича
«Старик молодой...»

ГОСПОДИНЪ ГОСПОДИНОВИЧЪ!

Вамъ старому патрону, и первому благодѣтелю, ходящему и ходящему по спеламъ начальникамъ и совершителямъ, а стариннѣйшій мою первую книжку Епитраммъ, сполнами какъ Явическимъ, такъ и Чореческимъ, мною сочиненнымъ, по следствениности приписать, честь имѣю. И какъ васъ хотя всѣ знаюшю, не же знаюшю; кто-то вы, таковы, кому сія Епитраммы приписываются; такъ и меня хотя и многе вѣдаютъ, не же вѣдають, кто-то а таковъ, который вамъ оныя приписываю. Но что онъ плодъ древо познается, шо узнѣюшъ васъ потому, что вы будучи цѣспія своего козачъ, не шожмо видя шо, что подъ ногами настолщете, но и прѣдвиди будущее, оегда на задья долее осмѣтривашійся, по всѣмъ прѣмѣняющимся временамъ, въ неспрѣвѣномъ и непоколебимомъ осталси благососпѣнимъ. Удѣливо меня зесьма христіанское азше сардобомъ, шогда, когда вамъ омиъ разоренный бѣднякъ, при мнѣ подавъ на писмѣ, 1. Что у мѣня на 5000. рублѣ потонуло. 2. Что онъ шроляъ дочерей за мужъ выдалъ, 3. Что онъ поломилнос жалованье получашъ, 4. Что онъ много и малолѣшное семейство имѣшъ, 5. Что онъ по шюю въ долгахъ, 6. Что онъ нищъ, и въ трудѣхъ отъ юности своея, не въ соспѣлит на свой коштъ печашашъ, свои переводы: всегъ Гомера, Кромера, Гельмпаа, Арнольда, Сеспонія, Панни, Иеронима Меркуріаа о Гимнастикѣ, и прѣмногихъ Диссертацій, Польскаго Авчбника; особливожъ сочиненнаго мнѣ Етимологическаго Лексикона Россійскаго сѣ Латинскимъ, чрезъ 17. лѣтъ шпрѣншующаго; на которочъ его писмѣ, вы подписали: выдалъ; а шволяю? шо я не самъю объявилъ; ибо вы шворя мнѣшашъ, не шрубнше прѣдъ собою, но желдене, да не убѣшь шуща, что шоримъ десница, Который переводиле, послѣ книжмъ шовъ переводовъ, и послѣ переведенныхъ денегъ, въ вашого судуа въ свой кармаиъ, ошдышю шеперь переводышъ мѣчѣ.

Но что четырея рода сущъ Благодѣшелей.

Одинъ хочешъ, да не можешъ
Другій можешъ, да не хочешъ;
Третій и не хочешъ и не можешъ,
Четвертый и хочешъ и можешъ,

То мѣ шѣвъ шѣмъ и васъ послѣднато четвертаго при-
нѣвъ, швѣшющагося ошдыя ялассами, высокошестеленныч, ибо вы и хочешъ, и можешъ благошорншь шребующимъ, кулю дѣя,
дождее день есты; по сему шо ужнавъ васъ, узнѣюшъ и меня по васъ, шмѣя и я, во всемъ ошому разоренному подобнъ
ушкшоще подобное получашъ швѣдѣше, и шспоможене, для напечатанья монѣ швѣдующихъ книжкѣ, соспѣшчихъ въ Епитрам-
мѣ, швѣдующихъ въ полѣвъ и къ увеселѣнью обществя.

Ты мѣ, я швой, Старикъ Молодой.

ное письмо демонстративно помещено здесь в конце издания. Важен его адресат — некий Господин Господинович, старый патрон и первый благодетель. Бедняк — автор — излагает своему несуществующему милостивцу перипетии собственной жизни: «...что он половинное жалование получает, что он троих дочерей замуж выдал» и пр., резко-категорично просит о «вспоможении» в напечатании следующих книжек. Подобная просьба была вопиющим нарушением культурного этикета. (Прощение о конкретном воздаянии не могло иметь места в посвящениях. Могла идти речь о благосклонном принятии труда.) Любопытен и предложенный им здесь своеобразный «табель о рангах» меценатов. Завершается же текст шаржированным традиционной концовки панегирических посвящений — вместе: «Вашего милостивейшего государя всепокорный слуга» и т. п. читаем игриво: «Ты — мой, я — твой. Старик молодой».

Титульный лист
книги М. Д. Чулкова

ПРИГОЖАЯ
ПОВАРИХА,
ИЛИ
ПОХОЖДЕНІЕ
РАЗВРАТНОЙ ЖЕНЩИНЫ.

Часть I.



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ 1770 ГОДА.

Лист посвящения
«Пригожей поварихи...»
М. Д. Чулкова

ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ,
дѣйствительному Камергеру
и разныхъ Орденовъ
Кавалеру

Премногомилосердому моему Государю. †

† Забѣе имени его не будетъ по причинѣ той, чтобъ не ошибиться. Книжки приписываются людямъ смотря по содержанію ихъ, и по сложенію тѣхъ людей, кому онѣ приносятся. Яже пидалъ песьма много такихъ книгъ, которыя приносилися знатнымъ господамъ, но вмѣсто того, чтобъ добродѣтели ихъ упеличить, послужили онѣ имъ сатирую. Такъ какъ бы кто желая похвалить своего Мецената, но не зная въ похвалахъ толку и умѣренности, песьма нехлбо его выругалъ. И такъ оласаяся сего, и сперехъ топо не зная доброты сочиненной мною книги, ни кому

) (2

или он.

Тем самым Кондратович предлагает условия своеобразной игры, характерной для отношений обмена и договора: имя героя посвящения будет названо только после того, как автор получит от него необходимую денежную субсидию.

Опыт Кондратовича стал предвестником кризиса панегирического посвящения в 70-е годы XVIII века.

Следом за ним выходит в свет другое пародийное панегирическое посвящение, предпосланное ставшей хрестоматийной книге М. Д. Чулкова «Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины» (СПб., 1770). Оно адресовано анониму «Действительному статскому советнику, камергеру и разных орденов кавалеру» (адресат также фиктивен). С огласитесь, что посвящение книги с таким названием титулованному вельможе уже само по себе комично. Но Чулков этим не ограничивается. Сохраняя всю структуру посвящения и общепринятый характер его полиграфического оформления, он оговаривает в специальном примечании, что посвящение написал в чисто декоративных целях — для того только, чтобы украсить книгу «теми только буквами, из которых слово сие набрано и напечатано»²². Таким образом, посвящение предстает у Чулкова фактом не духовной, но исключительно материальной культуры.

Дальнейшие вехи в истории посвящения в России наметим пунктирно. Кризис, начавшийся в 70-е годы, нашел свое выражение в расширении тематических границ, приведших в конечном счете к ломке существовавшего стереотипа оформления текста. При посвящениях книг друзьям, родителям, ведомствам (это особенно заметно в первой четверти XIX века, что находит свое отражение в соответствующей статье «Нового словотолкователя» Н. Яновского²³) отпала необходимость кланяться перед адресатом (крупными литератами или сохранять предписанные «Письмовниками» интервалы). Посвящения стали отождествлять с читательским назначением: книги адресовались «Юношеству», «Российскому купеческому сословию», «Почтеннейшим любителям юриспруденции» и так далее. Появляются юмористические посвящения, обращенные к «нянюшкам и мамушкам» или «всем ленивым и нерадивым людям». В 30-е годы XIX века русский писатель, по словам А. С. Пушкина, уже краснел «при одной мысли посвятить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чинами»²⁴.

Впоследствии, с ростом читательской аудитории и развитием издательского дела, значение посвящений в русской книжной культуре утрачивается, они вытесняются из композиционного состава изданий, перестают быть самостоятельной его частью. Показательны сведения об этом во «Всенаучном энциклопедическом словаре» (1878): «Посвящения книг или музыкальных сочинений производятся напечатанием на главном листе имени того лица, которому посвящается сочинение»²⁵. И только. Длинные, витиеватые дедикации позапрошлого столетия уходят в небытие.

История посвящения в русской книжности, как, впрочем, и других элементов композиционной структуры книги, еще ждет своего исследова-

теля. По словам Н. К. Михайловского, даже одна только статистика посвящений «могла бы представлять самый бесценный и громадный интерес. Она могла бы представить бесценный материал к характеристике нашей общественной жизни»²⁶. В эволюции же посвящений — от пространного письма к нескольким словам текста с указанием лишь имени адресата — отозвались такие сферы жизни культуры, как книжное дело, развитие авторской собственности, эпистолография, меняющиеся формы культурного этикета.

Взаимодействие этих областей культуры и воплотило, «опредметило» себя в структуре издания, местоположении посвящения в книге, характере его полиграфического оформления.

Взлеты и падения жанра посвящения в отечественной книжности могут быть выявлены вполне лишь при скрупулезном учете каждого малейшего факта его «обиходной» истории. Тем большее значение приобретает для нас его история «событийная» — с присущими ей оттенками небывалости и новизны. И здесь, в этой истории, забытый литературный неудачник Кириак Кондратович откроется перед нами с неожиданной стороны и возбудит к себе пристальное внимание библиофила.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Кондратович К. А. Старик молодой: Доброхотному и недоброхотному читателю. Спб., 1769. С. 9.

² Сухомлинов М. И. История Российской Академии. Спб., 1888. Вып. 8. С. 5—7.

³ См.: Пекарский П. П. Кондратович, русский прозаик и стихотворец, филолог и беллетрист XVIII столетия // Современник. 1858. Т. 69. С. 478—479.

⁴ Там же. С. 478.

⁵ Кондратович К. А. Указ. соч. С. 6—7, 8.

⁶ Пекарский П. П. История Имп. Академии наук в Петербурге. Спб., 1873. Т. 2. С. 463.

⁷ См.: Сумароков А. П. Полн. собр. всех соч. 2-е изд. М., 1782. Ч. 10. С. 61; Трудолюбивая пчела. 1759. Дек. С. 767. Знаменательный факт — Кондратович, переживший Сумарокова, воспринимался им исключительно через призму 30-х гг. XVIII в., в одном ряду с В. Буслаевым и А. Д. Кантемиром.

⁸ Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. М., 1772. С. 107—108.

⁹ Энциклопедический словарь / Брокгауз и Ефрон. Спб., 1895. Т. 30 (XV⁴). С. 938.

¹⁰ Байер Г. З. Сочинение о варягах... Спб., 1767. С. 3.

¹¹ Шкловский В. Б. Чулков и Левшин. Л., 1933. С. 68.

¹² См. об этом: Шюккинг Л. Л. Социология литературного вкуса. Л., 1928. С. 27—29.

¹³ См. об этом, напр.: Williams F. B. Index of dedications and commendators verses in English books Before 1641. London, 1962; Leiner W. Der widmungsbrief in der französischen literatur (1580—1715). Heidelberg, 1965.

¹⁴ См.: Пекарский П. П. Наука и литература при Петре Великом. Спб., 1861. Т. 1. С. 38; Исторические сведения о цензуре в России. Спб., 1862. С. 5.

¹⁵ См.: Лотман Ю. М. «Договор» и «вручение себя» как архетипические модели культуры // Учен. зап. / Тарт. гос. ун-т. 1981. Вып. 513. С. 8 и др.

¹⁶ ТрEDIAKОВСКИЙ В. К. Новый и краткий способ к сложению российских стихов... Спб., 1735. С. 35.

¹⁷ См. об этом: Пумпянский Л. В. Ломоносов и немецкая школа разума. XVIII век. 1983. Сб. 14. С. 27—36. (По сведениям Н. С. Тихонравова, Кондратович был чужд новоевропейской литературе. См.: Библиогр. зап. 1858. № 8. Стб. 225.)

¹⁸ Чулков М. Д. Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины. Спб., 1770. С. <3>.

¹⁹ Русский биографический словарь. Спб., 1913. Т. «Яблоновский-Фомин». С. 25.

²⁰ Байер Г. З. География российская и соседственных с Россиею областей около 947 года. Спб., 1767. С. <5>.

²¹ Байер Г. З. Сочинение о варягах... С. <11>.

²² См.: Чулков М. Д. Указ. соч. С. <3—6>.

²³ Яновский Н. Новый словотолкователь... Спб., 1803. Ч. 1. Стб. 663.

²⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 5. С. 219.

²⁵ Всенаучный (энциклопедический) словарь / Сост. под ред. В. Ключникова. Спб., 1878. Ч. 2. С. 514.

²⁶ Михайловский Н. К. Соч. 4-е. Изд. Спб., 1904. Т. 1. С. 750.

Петр Перминов

ПАСЫНОК ФОРТУНЫ

К биографии П. А. Левашова

Павлу Артемьевичу Левашову не очень везло в жизни, но совсем уж худо обошлась с ним судьба после смерти.

Дипломат, участвовавший во многих славных делах екатерининского времени, писатель, историк — он при жизни был хорошо известен читающей публике. Его юношеские поэтические опыты были замечены Н. И. Новиковым¹. Первые русские библиографы считали необходимым включать статьи о нем в словари писателей XVIII века².

На этом, однако, восхождение П. А. Левашова к вершинам славы и завершилось. Имя его благополучно исчезло из поля зрения не только широкой публики, но и специалистов. Даже автор статьи в «Русском биографическом словаре» — прекрасном, солидном издании — беспомощно пожимает плечами. Левашов? — «канцелярии советник, писатель, ум. после 1819 г. Сведений о его жизни очень мало»³.

Сегодня ни в Большой Советской Энциклопедии, ни в специальных литературоведческих или библиографических изданиях нельзя получить более или менее полного представления о биографии и творчестве П. А. Левашова. Статьи о нем отсутствуют в Дипломатическом словаре и Литературной энциклопедии.

Между тем думается, что П. А. Левашов имеет право на память потомков. Он не сделал блестящей дипломатической карьеры — но написал одно из первых в России исследований по дипломатическому протоколу. Его литературный дар, безусловно, не выдерживает сравнения с творчеством гениальной плеяды современных ему литераторов — Державина, Радищева, Новикова, но ведь нельзя забывать и того, что книгами П. А. Левашова по сей день пользуются историки, изучающие екатерининскую эпоху. А исследование русско-турецких войн второй половины XVIII века без его работ и вовсе невозможно. Он подробно описал пленение российского посольства в Константинополе во главе с резидентом А. М. Обресковым после начала русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Задолго до К. М. Базили Левашов дал прекрасное для своего времени описание Константинополя, опубликовал обстоятельный труд о крымских татарах и их набегах на южнорусские земли, начиная с X века. Простое перечисление написанных П. А. Левашовым книг вызывает уважительный интерес к личности автора. Внимательное же прочтение их, особенно «Поденных записок некоторых происшествий во время прошедшей с турками войны...», позволяет с немалым основанием причислять П. А. Левашова к зачинателям жанра политической публицистики в России.

Как же могло случиться, что память о нем оказалась столь недолговечной?

Ответ на этот вопрос, наверное, целесообразно искать не в творчестве, а в личности Павла Артемьевича, его жизненном пути. Он прожил

«столетие безумно и мудро» насквозь — от Петра до Павла — и мог бы вслед за Руссо назвать себя сыном века. Его не обошли ни слава века, ни его страсти. Он был причастен — под началом Потемкина — к великому делу выхода России на берега Черного моря, писал книги, но душа его была беспокойна. Он завидовал и «слепому случаю» временщиков, и удаче столбовых дворян от дипломатии. Он, как многие впрочем, искал литературной славы и одновременно не чужд был суетного стремления «попы лощить», в котором и великого Державина, помнится, упрекал умный циник Храповицкий. Но Державин был гений и тем был счастлив.

Левашов же всю жизнь ощущал себя пасынком фортуны.

Впрочем, начнем с начала: *commençons par le commencement*, как говаривал и сам Павел Артемьевич.

К сожалению, дошедшие до нас сведения о жизни П. А. Левашова действительно довольно скудны. Многое в биографии Павла Артемьевича приходится домысливать и воссоздавать, опираясь на его книги и немногие сохранившиеся архивные материалы. Однако и это не всегда приносит желаемые результаты. В частности, дату рождения П. А. Левашова удалось установить пока только приблизительно. В «Любопытной истории славного города Одессы», своей последней книге, Левашов упоминает о том, что в «детские свои годы» находился с дядей Василием Яковлевичем при осаде Азова (во время русско-турецкой войны 1735—1739 годов). Если предположить, что в это время Левашов был в возрасте Пети Ростова, то выходит, что родился он где-то в середине 20-х годов XVIII века.

Судя по «Российской родословной книге» П. В. Долгорукова, Левашовы принадлежали к довольно древнему, но захудавшему дворянскому роду. В начале века были известны три брата Левашовы — Василий, Прокофий и Артемий Яковлевичи. Самым удачливым из них оказался Василий — В. Я. Левашов (1687—1751), боевой генерал и государственный деятель, прославившийся еще в петровские времена. Д. Н. Вантыш-Каменский пишет, что Василий Яковлевич в стычке с «крымцами» в 1738 году, рискуя жизнью, вынес раненого брата Прокофия с поля боя⁴. Отец Павла Артемьевича, третий из братьев Левашовых, не сделал такой блестящей карьеры, как Василий. Он служил в Коллегии иностранных дел и в 1758 году состоял в скромном звании коллежского советника⁵.

Образование Павел Артемьевич, надо полагать, получил не без помощи влиятельного дяди. По тем временам оно было порядочным — это признавали впоследствии немногочисленные исследователи творчества П. А. Левашова. Где он учился, остается неясным. В списках выпускников сухопутного шляхетского корпуса, основной кузницы служилых кадров того времени, имя Павла Артемьевича не значится. Остается университетский пансион в Москве или продолжение домашнего учения, прелести которого так ярко описал современник Левашова, славный артиллерийский майор Данилов⁶.

Затем военная служба, очевидно, в одной из двух столиц, где его литературные опыты и могли быть замечены Н. И. Новиковым. В 1750 году также стараниями дяди, бывшего на короткой ноге с вице-канцлером

А. П. Бестужевым-Рюминым, Павел Артемьевич определяется в Коллегию иностранных дел и попадает «для обучения министерским делам» в Копенгаген, затем в Стокгольм и Дрезден⁷.

С 1757 года П. А. Левашов фигурирует в списке сотрудников русского посольства в Вене⁸.

В службе, особенно поначалу, Павел Артемьевич был весьма усерден. Шесть лет как умер дядя, и каждого шага вверх по крутой служебной лестнице приходилось добиваться собственными силами. Оказавшийся в Вене чиновник двора Ф. Д. Бехтеев писал вице-канцлеру М. И. Воронцову 27 декабря 1757 года: «Принимаю смелость рекомендовать в высокую милость вашего сиятельства П. Левашова. Он истинно молодец, достойный и прилежный»⁹.

Павла Артемьевича заметили, и, когда в феврале 1758 года внезапно скончался русский резидент при имперском собрании германских князей в Регенсбурге Г. Битнер, посол России в Вене граф Кейзерлинг направил капитана Левашова в Регенсбург с повелением принять служебные бумаги, оставшиеся после резидента. 11 марта Левашов выехал из Вены, а по прибытии на место (14 апреля) был пожалован в должность советника посольства с жалованием 1200 рублей и принялся временно исполнять обязанности резидента.

Пост в Регенсбурге был сложным и деликатным, особенно в годы шедшей тогда Семилетней войны. Русские дипломаты здесь действовали в тесном контакте с Австрией, союзницей России в войне. «Марта от 20 цесарский в Регенсбурге первый комиссар князь Турн-и-Таксис, по убедительной Левашова просьбе, писал к вице-канцлеру графу М. И. Воронцову, прося исходатайствовать ему, Левашову, резидентское в Регенсбурге место, похваляя усмотренные им достойные сентименты сего чиновника, могущего поспешествовать общим интересам дружеских и союзных с Россией держав, а паче Венского двора»¹⁰. Адресат, как оказалось, был выбран явно неудачно. М. И. Воронцов менее всего способен был поддаться нажиму со стороны австрийской дипломатии. Однако звезда Бестужева, известного сторонника австрийского союза и покровителя Левашова, к тому времени уже закатилась, и помочь Павлу Артемьевичу было некому. В мае 1758 года резидентом в Регенсбург был назначен известный впоследствии дипломат И. Симолин, а Левашов вновь оказался в Вене.

Впрочем, через три года мечта Павла Артемьевича сбылась. 23 апреля 1761 года Симолин отправляется секретарем на мирный конгресс в Аугсбург, а вместо него в Регенсбург был назначен Левашов. В начале августа Павел Артемьевич прибыл в Регенсбург и тут же имел неосторожность попасть в какую-то не совсем ясную по деталям канитель с вручением верительных грамот. 29 сентября 1761 года Турн-и-Таксис потребовал, чтобы каждый раз при назначении русского резидента в Регенсбурге к нему делался письменный запрос. Левашову было велено сказать, что его предшественникам рекомендательных писем не давалось. Турн-и-Таксис успокоился, и вся эта история не заслуживала бы упоминания, если

бы не повторилась при следующем назначении, немало омрачив дипломатическую карьеру Павла Артемьевича.

Надолго задержаться в Регенсбурге Павлу Артемьевичу не удалось. Аугсбургский конгресс не состоялся, и Симолин, пожалованный в канцелярии советники, вновь вернулся в Регенсбург «министром без характера». В мае 1762-го Левашов был отозван в Петербург¹¹.

Служил он, видимо, неплохо, так как в 1764 году был назначен поверенным в делах в Константинополе, куда и выехал срочно осенью того же года.

Возвращение Павла Артемьевича в северную столицу совпадает с началом екатерининского царствования. Бестужев вновь при дворе, и в 1764 году Левашов назначается в Константинополь в помощь заболевшему посланнику А. М. Обрескову.

Перевод в Константинополь открывал перед Левашовым заманчивые перспективы. Пост посланника в Константинополе был в то время одним из наиболее важных в русской дипломатической службе. Поэтому, вручая в феврале 1765 года свои верительные грамоты поверенного в делах великому визирию Мустафе-паше, он пребывал в радужном настроении.

Однако вскоре Павла Артемьевича ждало разочарование. Через месяц после его приезда в турецкую столицу, в марте 1765-го, был раскрыт заговор против султана, стоивший великому визирию не только должности, но и жизни. Его отрубленная голова долго лежала у входа в диван в назидаение прочим слугам наместника пророка на земле.

Преемник Мустафы-паши на посту великого визирия объявил А. М. Обрескову, что Порта готова аккредитовать Левашова «в характере поверенного в делах» только после отъезда самого посланника.

Однако с планировавшимся возвращением на родину А. М. Обрескову пришлось повременить, так как отношения между Россией и Османской империей крайне осложнились. Недовольная той ролью, которую сыграла Россия в избрании на польский престол С. Понятовского, Турция подумывала о войне с русскими. К этому подстрекали и предприимчивый посол Версаля в Константинополе граф Вержен, и крымский хан Керим-гирей, непримиримый враг России.

В трудные времена, наступившие после осложнения польских дел, первоприсутствующему в Коллегии иностранных дел Н. И. Панину было необходимо держать в Константинополе проверенного человека. А. М. Обресков был оставлен в Константинополе, несмотря на болезнь. (Он страдал перемежающейся лихорадкой, осложненной подагрой, и осенью 1764 года чувствовал себя так плохо, что «ложку супа до рта донести не мог, расплескивал».)

Туркам не понравился такой оборот дела. Они не намерены были держать в Константинополе одновременно посланника и поверенного в делах. Реис-эффенди (министр иностранных дел) Осман в письменной форме потребовал немедленного отзыва Левашова в Петербург.

Выражаясь современным языком, это означало объявление Павла Артемьевича персоной нон грата. Донося Панину об этом, Обресков объ-

яснял перемену в настроении Порты интригами французского посла, предполагая, что «наши недоброжелатели нашли способ представить перед султаном в черных красках характер Левашова»¹².

Начались долгие, нудные объяснения. Обресков доказывал, что Левашов был вызван в Константинополь во время «известной всему свету жестокой его болезни для вспомоществования в делах, а не в преемники, как и было указано в презентивном письме». Турки, однако, уступать не хотели. В конце июня Обресков был прямо предупрежден, что табурет для Левашева на аудиенции в Порте ставить не будут. Турки категорически отказывались признать Левашова в качестве русского дипломата.

И тут Павел Артемьевич, к сожалению, смалодушничал. С очередным курьером он отправил пространную докладную записку на имя вице-канцлера Александра Михайловича Голицына, в которой сетовал на то, что Обресков по состоянию здоровья не был способен к отправлению службы. При всей симпатии к Павлу Артемьевичу мы вынуждены констатировать, что докладная эта весьма смахивала на донос. С сожалением несколько лицемерным Левашов вспоминал, как Алексей Михайлович разлил на аудиенции у реис-эффенди кофе — дрожали руки, раскрыл туркам имя давнего конфидента (отправляясь на тайную встречу с ним, потребовал, чтобы к пристани была подана лошадь).

Не остался в долгу и Обресков. Сообщая Панину о своем выздоровлении, он вложил в конверт маленькую, в четвертинку листа веленовой бумаги, записку, на которой корявым почерком было нацарапано, что он (фамилия не называлась, но ясно, что речь шла о Левашове) — «человек тихий, пречестный, добронравный, но в обращении с Портой не горазд». Не учитывает «варварского высокомерия турок, то и дело грозит репрессалиями, так дружбу на прочном фундаменте не построишь»¹³.

Однако в Петербурге требования турок в отношении Левашова были сочтены неприемлемыми. Екатерина, сама занимавшаяся этим делом, на письме Обрескова к Панину от 12 декабря 1765 года собственноручно начертала резолюцию: «S'ils craignent de se brouiller avec nous, ils cesseront leur demande. Si ils ont pris cela comme une прицепка, elle ne nous aidera pas, ainsi mon avis est de ne point faire la honteuse action, d'envoyr cette litre de recréance pour être rendue en secret, ce n'en serait pas et on se moquerait de nous»¹⁴.

Панин предложил сомоново решение: оставить Левашова в Константинополе, но на официальные трактования с турками не посылать.

На том и порешили. Для турок Левашов как официальное лицо российского посольства вроде бы не существовал. Положенного поверенному в делах тайна (денежного содержания) ему не платили, но с европейскими дипломатами в Константинополе Павел Артемьевич поддерживал активные отношения и, как мог, помогал Обрескову удерживать Порту в мирном состоянии.

Так дело длилось до осени 1765 года, когда на долю Павла Артемьевича выпали новые тяжелые испытания. 25 сентября 1768 года Порта все-таки объявила России войну. А. М. Обресков с десятью членами рус-

ского посольства был отправлен в тюрьму — Семибашенный замок — прямо с аудиенции у великого визиря. Павел Артемьевич, как непризнаваемый турками дипломат, на аудиенции не был, и в первые после объявления войны дни на него легла вся тяжесть ответственности за срочную ликвидацию секретных архивов посольства, устройство судьбы тех русских подданных, кто остался на посольском подворье, эвакуацию российских купцов, коих немало обреталось в то время в Константинополе. К чести Павла Артемьевича надо сказать, что в этих чрезвычайных обстоятельствах он не потерял хладнокровия и мужества. При посредстве прусского и английского посланников он отправил в Петербург и в Киев (к генерал-губернатору Воейкову) двух курьеров с шифрованными депешами об обстоятельствах ареста Обрескова и персонала посольства. Это был смелый шаг. Если бы курьеры были перехвачены, Левашову по турецким законам грозила смерть — турки категорически запрещали дипломатам стран, находившихся в состоянии войны с Османской империей, дипломатическую переписку. Сохранившееся в Архиве внешней политики России письмо П. А. Левашова на имя Н. И. Панина от 26 сентября 1768 года свидетельствует, что Павел Артемьевич пошел на этот риск вполне осознанно, стремясь своевременно предупредить о концентрации турецких войск у русских границ. «Слышно, что здешние войска уже в великом числе при польских границах в собрании находятся, и опасно, чтоб не начали действовать и с осени», — писал он Панину¹⁵.

Сразу же после объявления войны в Константинополе начались антихристианские погромы, в которых погибло немало греков, армян, пострадал австрийский посланник Броняр с семьей. У Левашова была возможность вернуться морским путем в Россию. Это брался устроить английский посол в Константинополе Муррей. Однако Павел Артемьевич предпочел разделить участь Обрескова и других русских дипломатов, находившихся в Семибашенном замке. В начале октября Левашов вместе с переводчиком посольства Денисом Мельниковым был препровожден в замок.

Русские дипломаты находились в заточении до весны 1769 года. В марте 1769-го турецкая армия выступила в поход. В обозе ее в качестве заложников «влачились» А. М. Обресков, П. А. Левашов и другие члены русского посольства.

П. А. Левашов подробно описал мытарства русских дипломатов в турецком плену в книге «Поденные записки некоторых происшествий во время прошедшей с турками войны со дня объявления оной по 1775 г.» (СПб., 1790).

Только в мае 1771 года А. М. Обресков и П. А. Левашов оказались на свободе. Павел Артемьевич был вновь определен к дипломатическим делам в чине статского советника. В реестре личного состава Коллегии иностранных дел осталась пометка: «При пожаловании его в сей чин на именном Ее Императорского Величества указе хотя и предписано, чтобы быть ему по-прежнему при делах Коллегии иностранных дел, но при том о жаловании ничего не указано»¹⁶.

Снова недоразумения и тем более досадные, что А. М. Обресков был награжден несравненно более щедро: он сделался членом Коллегии иностранных дел и получил 60 тысяч рублей «на поправление хозяйства».

В 1772—1773 годах Павел Артемьевич участвовал в работе Фокшанского и Бухарестского мирных конгрессов, обсуждавших условия мира с турками. Роль его в трудных дипломатических конверсациях была, впрочем, незначительна.

После подписания в июне 1774 года Кючук-Кайнарджийского мирного договора, завершившего войну, Левашов отходит от турецких дел. Судя по публикуемому в «Архиве князя Воронцова» приказу Потемкина пропускать «за кавалергардов» статского советника Левашова¹⁷, дела его в это время пошли на лад. «За кавалергардов» — в личные покои Екатерины — допускался только весьма узкий круг особенно доверенных лиц.

Что сделало на этот раз фортуна более благосклонной к Павлу Артемьевичу? Зная нравы екатерининского двора, здесь можно увидеть связь со «случаем» дальнего родственника Павла Артемьевича В. И. Левашова. Протеже Потемкина, он принял участие в «гнусном соревновании» у подножия трона, о котором писал А. С. Пушкин, и в 1778 году сподобился вписать свое имя в «длинный список любимцев, обреченных презрению потомства»¹⁸.

Однако «случай» Левашова оказался кратковременным и вряд ли помог Павлу Артемьевичу солидно устроить свои дела, тем более что, как видно из «Дневника» А. В. Храповицкого, после смерти Потемкина в 1791 году имя В. И. Левашова упоминалось в связи с крупными денежными злоупотреблениями в армии. Впрочем, осенью 1787 года Е. Ф. Комаровский встретил П. А. Левашова в Лондоне, упомянув, что он был «кавалером при великих князьях Александре и Константине Павловичах»¹⁹.

Здесь след Павла Артемьевича в архивах и мемуарах современников теряется. Можно лишь предположить, что с конца 80-х годов он живет в пожалованном ему в «новоприобретенных белорусских землях» имении Старое село (16 верст от Могилева), где занимается литературным трудом. Сохранились его письма к графу А. Р. Воронцову за период 1786—1791 годов²⁰.

К сожалению, в этой переписке нет упоминаний о книгах П. А. Левашова, изданных в 1790—1792 годах. Судя по всему, сочинительством Павел Артемьевич надумал заняться в крайне неудачное время. Аресты Радищева и Новикова, печальная судьба П. Богдановича, издателя книг П. А. Левашова, — все это наводит на грустные размышления.

Последние три десятилетия жизни П. А. Левашова были несчастливы. Последнее его сочинение «Любопытная история славного города Одессы» (М., 1819) полно жалоб на судьбу. Перечисляя свои заслуги перед отечеством, к которым он относит и мысль об основании Одессы, якобы подсказанную им Г. А. Потемкину, Павел Артемьевич подводит горький итог прожитых лет: при дворе он не прижился, служба²¹ не принесла ему желаемого достатка, опубликованные книги не были оценены

Титульный лист
книги П. А. Левашова
«Царьградские письма»

ЦАРЬГРАДСКІЯ ПИСЬМА

о древнихъ и нынѣшнихъ Туркахъ
и о состояніи ихъ войскъ, о Цареградѣ
и всѣхъ окрестностяхъ онаго, о Султанскомъ Сералѣ или Харемѣ, о обхожденіи Порты съ Послами и Посланниками Иностранцами, о любовныхъ ухищреніяхъ Туркоу и Турчанокъ, о нравахъ и образѣ жизни ихъ, о Дарданеллахъ, проливахъ и проч.; о Царедворцахъ, о Султанахъ и ихъ важныхъ дѣлахъ отъ самого начала монархіи ихъ по нынѣ, съ обстоятельными извѣстіемъ о славныхъ Кастріоновыхъ подвигахъ; о державѣ ихъ; о различныхъ народахъ порабощенныхъ игу ихъ и о ихъ вѣрѣ, языкѣ и проч.; о Греческихъ Патріархахъ и избраніи ихъ; о гражданскихъ, духовныхъ и военныхъ чинахъ и о многихъ иныхъ любопытныхъ предметахъ.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,
печ. съ дозв. указн. 1789 года.

по достоинству, начавшіеся тяжбы с родствениками из-за белорусских имений отнимали остатки сил.

Ему довелось прожить долгую жизнь — почти столетие. Подумать только: родившись при Петре, он стал свидетелем славных событий 1812 года, был современником Пушкина, декабристов...

Но это уже была другая жизнь.

Сын екатерининской эпохи, он пережил свой век.

Скончался П. А. Левашов 11 июля 1820 года²².

Перу П. А. Левашова принадлежат следующие книги:

«Плен и страдания россиян у турок, или Обстоятельное описание бедственных приключений, претерпленных ими в Царь-Граде при объявлении войны и при войске, за которым влачили их в своих походах, с приобщением дневных записок о воинских их действиях в прошедшую войну и многих страшных, редких и забавных приключениях» (Спб., 1790); «Поденные записки некоторых происшествий во время прошедшей с турками войны от дня объявления оной по 1775 г.» (Спб., 1790); «Картина, или Описание всех нашествий на Россию татар и турок и их военных тут дел, начавшихся в половине X века и почти непрерывно через 800 лет продолжающихся, с приложением нужных примечаний и разных известий касательно Крыма и берегов Черного моря» (Спб., 1792); «О первенстве и председательстве Европейских государей и их послов и министров» (Спб., 1792); «Любопытная история славного города Одессы» (М., 1819).

Тексты первых двух книг по-существу идентичны, отличаются они только первыми пятью страницами. Можно предположить, что «жалостливое» название первого варианта книги не понравилось кому-то из высоких покровителей Левашова. Шла (притом значительно менее успешно, чем первая) вторая русско-турецкая война екатерининского времени, и новый вариант названия мог быть сочтен более приличным.

Ценность «Поденных записок...» заключается в том, что они писались, несомненно, на основании дневниковых записей, которые Павел Артемьевич вел в турецком плену. Еще известный исследователь русско-турецких войн А. Петров пользовался рукописью Левашова, датированной значительно ранее выхода книги в свет. С тех пор ни один историк, писавший о внешней политике России во второй половине XVIII века, не обходил вниманием труд П. А. Левашова.

По достоинству он был оценен и в советское время. Е. В. Тарле, Б. М. Данциг, Е. К. Дружинина и многие другие советские историки пользовались книгами П. А. Левашова в своих работах, посвященных действиям первой русской экспедиции в районе Греческого архипелага в 1769—1774 годах, русско-турецким отношениям в екатерининскую эпоху.

Менее известны другие сочинения П. А. Левашова. «Картина, или Описание всех нашествий на Россию татар и турок...», появившаяся на свет в 1792 году, была написана автором в середине 70-х годов. Это обстоятельный, полный ссылок на летописи и дипломатические документы труд. Не вызывает сомнения, что он был предпринят Павлом Артемьевичем с совершенно очевидными политическими целями в преддверии готовившегося присоединения Крыма к России*. Судя по всему, эта книга получила высокую оценку Г. А. Потемкина. Светлейший князь Тавриды пользовался советами П. А. Левашова как знатока турецких и крымских дел.

Специалистами давно уже высказывалось предположение, что П. А. Левашов мог быть автором довольно широко известной книги «Царьградские письма» (Спб., 1789), содержащей обширные сведения о различ-

* В «Предупреждении» к этой книге автор отмечает: «Она была писана мною в 1774 г., вскоре по возвращении моем из Турции».

ных сторонах жизни Османской империи, начиная от политики и кончая «любовными ухищрениями Турок и Турчанок».

В Архиве внешней политики России удалось разыскать список печатных работ П. А. Левашова, составленный им в 1811 году. Открывают его «Царьградские письма»²³. Кроме того, выяснилось, что одна из глав «Царьградских писем» («Обхождение турок с послами и министрами чужестранными») ²⁴ практически дословно совпадает с частью текста более поздней книги Левашова «О первенстве и председательстве европейских государей и их послов и министров»²⁵.

Установление авторства «Царьградских писем», первой по времени опубликования книги П. А. Левашова, существенно дополняет наши представления о Павле Артемьевиче Левашове — замечательном дипломате и литераторе екатерининского времени.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Н. И. Новиков отмечал, что П. А. Левашов «много писал лирических стихов, которые от знающих людей похвалу заслуживали» // (Опыт исторического словаря российских писателей. М., 1772. С. 116).

² Митрополит Евгений. Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших о России. М., 1845. Т. 2. С. 4—5; Геннади Г. Н. Справочный словарь о русских писателях и ученых XVIII и XIX вв. Спб., 1880. Т. 2.

³ Русский биографический словарь. Спб., 1914. Т. Лабзина — Лященко. С. 126.

⁴ Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли. М., 1836. С. 158.

⁵ Белокуров С. А. Списки дипломатических лиц русских за границей и иностранных при русском дворе // Сб. Моск. глав. Архива МИД. 1893. Вып. 5. С. 254.

⁶ «...Отдали меня... пономарю Филипу, прозванием Брудастому, учиться... Памятно мне мое учение у Брудастого и поднесь, по той, может быть, причине, что часто меня секли дозою» (Записки артиллерии майора Михаила Васильевича Данилова. М., 1842. С. 38).

⁷ Архив внешней политики России (АВПР). Фонд «Административные дела. V — 16», 1811 г., д. 42, л. 9.

⁸ Белокуров С. А. Указ. соч. С. 272.

⁹ Архив князя Воронцова. М., 1873. Кн. 6. С. 235.

¹⁰ Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 г.). Часть 2. М., 1896. С. 4—5.

¹¹ Там же. С. 5.

¹² АВПР. Фонд «Сношения России с Турцией», 1765 г., д. 384, л. 13—14.

¹³ Там же. Делеша А. М. Обрескова Н. И. Панину от 5.3.1765 г.

¹⁴ «Если они опасаются разрыва с нами, они отступятся от своего требования. Если же для них это только прицепка, это нам не поможет. Итак, по моему мнению, не следует делать этого постыдного дела и отправлять отзванные грамоты с указанием вручить их тайно. Тайну сохранить вряд ли удастся, и над нами будут насмехаться» (Там же. Л. 71).

¹⁵ Там же. Д. 433. Л. 11—12.

¹⁶ Александренко В. И. Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII веке. Варшава, 1897. Т. 2.

¹⁷ Архив князя Воронцова. М., 1882. Кн. 26. С. 256.

¹⁸ Пушкин А. С. Заметки по русской истории XVIII века // Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1949. Т. 8. С. 123.

¹⁹ Из записок графа Е. Ф. Комаровского (Екатерининское время) // Осьмнадцатый век. М., 1869. Кн. 1. С. 398.

²⁰ Архив князя Воронцова. М., 1879. Кн. 14. С. 443—468.

²¹ АВПР. Фонд «Административные дела XV—15», 1820 г., б. 7, л. 4.

²² П. А. Левашов умер в чине действительного статского советника.

²³ АВПР. Фонд «Административные дела V—16», 1811 г., д. 42, л. 9.

²⁴ Царьградские письма. Спб., 1789. С. 41—79.

²⁵ О первенстве и председательстве европейских государей и их послов и министров. Спб., 1792. С. 79—96.

Алексей Ерохин «СТОЛЕТИЕ БЕЗУМНО И МУДРО»

Заметки на полях каталога выставки
«Россия — Франция. Век Просвещения»

Дальность расстояния, которая делает людей чуждыми друг другу, не нарушает того чувства единства, которое соединяет художников независимо от того, где бы они ни находились.

*Из письма французского архитектора
Ж.-Ф. Шальгерена в Петербургскую Академию художеств, 1784 г.*

Мудрый сын восемнадцатого столетия Гаврила Романович Державин, уже шагнув в следующий век, фатально-отрешенно писал о «реке времен», уносящей в бездну забвенья «народы, царства и царей», и вовсе отказывал в какой-либо надежде на шанс-утешение:

А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Шел 1816-й — то есть даже с допуском на то, что любой век не укладывается в календарный аршин столетия, тут совершенно точно можно говорить о Восемнадцатом *услонием* — уж отзвучала шумная панихида, затеянная Бонапартом, усталые палаши скользнули до поры обратно в ножны, и пошел новый счет времени: ведь после большой драки народы всегда оглядываются по сторонам взором более трезвым, коли затихло громохание битвы и есть возможность поразмыслить, как жить дальше. Под этот шум и ушло за горизонт солнце века восемнадцатого — и тающие его лучи бросили свой усталый отблеск на последние державинские строки.

Однако жерло вечности, по счастью, не столь беспощадно, как мнилось умирающему поэту. Другое дело, что зрелище заката явно не способствует ликованию — тем паче если это закат века.

И юный Девятнадцатый, споро обустроиваясь и строя планы на будущее, во многом, понятно, исходил из родительского наследства, оставленного покойным Восемнадцатым.

И нам оглянуться сейчас на *с т а р и к а* — не то что не грех, а самое время. Не только с тем, чтобы уточнить родословную, но и заново повторить уроки собственной истории, не вполне еще нами усвоенные.

Сконцентрировать внимание, собрать воедино впечатления помогла интереснейшая выставка «Россия — Франция. Век Просвещения», увиденная в 1987 году советскими и французскими зрителями.

Однако участь всякой выставки сродни судьбе театрального спектакля — образ ее постепенно уходит в небытие, заряд непосредственных впечатлений ослабевает, стираясь в памяти... А если учесть, что огромное количество людей попросту не имели физической возможности познакомиться с экспозицией, то...

Л. Токе. Мадам Данже
за рукоделием



Но вот передо мной солидный том, с гляцевитой обложки которого смотрят лица Вольтера и Ломоносова, Новикова и Дидро, — по внешнему виду сразу и не примешь его за выставочный каталог: как правило, наши экспозиции сопровождаются довольно-таки скудными путеводителями, тем более экспозиции временные. Краткая вводная статья, чисто формальный перечень экспонатов (зачастую и неполный), минимум иллюстраций печально известного качества — вот то, что мы привыкли иметь в качестве каталога. Какой-то не то буклет, не то проспект, не то инвентарная опись...

Каталог же выставки «Россия — Франция. Век Просвещения», выпущенный Государственным Эрмитажем, — издание на сегодня образцовое, эталонное.

Он поделен на разделы, отведенные архитектуре, живописи, скульптуре, декоративно-прикладному искусству, драматургии, музыкальному театру. Самый обширный раздел — «Общественная мысль», состоящий из следующих подразделов: «Установление и развитие культурных связей между Россией и Францией в первой трети 18 века»; «Научные и культурные связи России и Франции в 18 веке»; «Россия и французские просветители»; «Русско-французские литературные связи в 18 веке»; «Россия. Французские сочинения о России 18 века»; «Великая французская революция и

А. П. Лосенко.
Владимир и Рогнеда



Россия». Разделы сопровождаются введением и шестнадцатью тематическими статьями, принадлежащими перу советских и французских специалистов. Плюс обширный список литературы по веку Просвещения, указатель имен. То есть уже по оглавлению можно судить, что издание исполнено с академической тщательностью.

Вчитавшись же в текст каталога, понимаешь, что имеешь дело не просто с изданием, посвященным конкретной экспозиции, но со своего рода энциклопедией русской и французской культур восемнадцатого столетия, энциклопедией единственной в своем роде. Подробный комментарий ко всем 773 экспонатам выставки складывается в обширный свод сведений об эпохе, ее тенденциях, нравах и действующих лицах.

Вот, для примера, комментарий к экспонату номер 79 — «Замечания на «Наказ» Д. Дидро (копия с авторскими исправлениями из Национальной библиотеки в Париже; опускаю описание, сведения о публикациях и литературу): «В хоре похвал в адрес «Наказа» диссонансом звучит отзыв Дидро. До своего путешествия в Россию в 1773-м философ ни разу не касался этой темы. В ходе бесед с Екатериной II он позволил себе только несколько замечаний относительно «Наказа». Но позднее, по возвращении из России в Гаагу, перечитал этот документ «с пером в руке», как он сообщил императрице, «и возымел смелость набросать на полях некоторые свои размышления». Дидро не обольщался более

Д. Г. Левицкий:
 Портрет Е. П. Рудневой
 и княжны Е. К. Хованской



мифом о свободной России, распространяемым Екатериной II, и сделал заключение: «Я вижу здесь проект превосходного Свода Законов, но в нем нет ни слова относительно способа обеспечить его неизбежность. Я вижу, здесь отказались от слова “деспот”, но само явление остается, и деспотизм называется монархией».

Как большая часть произведений Дидро, «Замечания на “Наказ” не были опубликованы при его жизни. Екатерина II познакомилась с ними только в 1785-м, когда рукописи Дидро прибыли в Петербург вместе с его библиотекой. В письме Гримму она выразила свое негодование: «Это произведение — суцья болтовня, в которой нет ни знания обстоятельств, ни благоразумия, ни предусмотрительности... Если бы мой наказ был во вкусе Дидро, он должен был бы перевернуть в России все вверх дном».

Столь же подробными и емкими комментариями сопровождаены и все прочие экспонаты, будь то письма Вольтера и Ломоносова или мундирное платье Екатерины II, издания «Телемахиды», «Новой Элоизы», «Кандида», «Россиады» или медальерный станок Нартова, полотна Боровиковского и Левицкого, Греза и Фрагонара или солнечные часы и ампутиционная пила... Вчитываясь, сопоставляя и размышляя, вы можете получить подробнейший портрет российско-французского века Просвещения. Причем упот-

ребить на пользу *сие вещесловие* равно смогут и специалист высокого класса, и любознательный неопит — столь толково и целесообразно организован здесь материал, столь содержательную и упорядоченную информацию он содержит. Этот том дает пищу для самых разнообразных размышлений, побуждая обратиться к источникам и оригиналам, и возможным подходам тут несть числа. Можно, скажем, попытаться сформулировать, в чем же все-таки заключается исторический урок века Просвещения, — никоим образом, разумеется, не претендуя на сколько-нибудь исчерпывающее мнение и безусловно точные определения. Пусть это будет нечто сродни записи в книге отзывов — и не более: жанр; прямо скажем, не вполне респектабельный, но — естественный, непосредственный.

«Столетие безумно и мудро», как определил его Радищев, с заметными перепадами общественного темперамента, с распахивающимися новыми горизонтами и опасливым натягиванием вожжей власть предержащими, с лицемерной игрой в свободы и вырождающимся в карнавальную мишуру вольнодумством, с наглым фаворитизмом и расцветом наук, — представляет собою чрезвычайно живописную картину. Эта противоречивость развития особенно наглядно сказалась во второй половине века, в екатерининскую пору, когда, в частности, порожденные скрещиванием русской и французской культур, уже достаточно вызрели плоды просвещения, дабы можно было воздать должное их вкусу, спелости и влиянию на организм нации, на такую, по определению В. О. Ключевского, «интимную сторону народной жизни, как жизнь нравственная и умственная». Потому речь у нас в данном случае идет именно об этом периоде, и прежде всего с точки зрения тех духовных приобретений, которые были следствием русско-французских культурных связей в области общественной мысли и мировоззренческого самосознания.

Академик Д. С. Лихачев с парадоксальной точностью сформулировал недавно: «Чем «несамостоятельнее» любая культура, тем она самостоятельнее». Истинно так, ведь культурный изоляционизм, варение в собственном соку ведет к постепенной деградации и вырождению, и слободская фанаберия уводит только в тупик и глухого провинциализма. Общечеловеческий опыт не должно делить, дробить перегородками границ, как бы внушительно они ни выглядели.

Отнюдь не братскими были в политическом аспекте отношения России и Франции в восемнадцатом столетии — однако циркулирующие живые токи мысли обогащали культурную почву обеих стран. Как характерный пример можно вспомнить, что «Новая Элоиза» Руссо решительно повлияла на становление сентиментализма в русской литературе.

«Если посмотреть на скорые успехи, каковые россияне в рассуждениях наук и художеств оказали, — писал Н. И. Новиков, — то должно будет заключить, что в России науки и художества придут в совершенство гораздо в кратчайшее время, нежели в какое доведены они были во Франции. Дай боже, чтобы с таким счастьем и успехом исполнялись все премудрые намерения великой императрицы российской, с каким тщанием

Ж.-Б.-С. Шарден.
Ребенок с волчком



и трудами она приводит оные к исполнению; тогда, наверное, паче и паче возвеличится Россия в очах всея Европы.

Эти слова просветителя, вложенные им в уста одного из персонажей его «Разговоров», близки нам своей гордостью за отечество — и, вероятно, несколько смущают сейчас пышностью комплимента в адрес «богоподобной Фелицы». Но надобно все же помнить об определенном этикете, которого должен был придерживаться Новиков, — это во-первых; а во-вторых, уместно здесь и мнение Ключевского: «В обществе, утратившем чувство права, и такая случайность, как удачная личность монарха, могла сойти за правовую гарантию». Можно много говорить о лицемерии российской правительницы, о политическом кокетстве ее и непоследовательности — скажем, свой же собственный «Наказ» фактически полузапретила, сделав практически недоступными пятьдесят семь его экземпляров, — тут же речь не о том.

Речь о прекрасной заразительности знания, которая так причудливо подвигнула августейшую читательницу на сочинение столь, можно сказать, вольнодумного произведения, как ее «Наказ». «...Примите за правило ваших действий, ваших уставов благо народа и справедливость, неразлучные друг с другом, — свобода, душа всех вещей! Без тебя все мертво. Я хочу, чтобы повиновались законам, а не рабов...» — писала Екатерина еще до восшествия на престол.

Да, прежде всего именно читательницу — ибо «Наказ» создан был под прямым впечатлением от знакомства с трудами западных просветителей (это главным образом «Дух законов» Монтескье и «О преступлениях и наказаниях» Беккариа), вплоть до прямых заимствований.

«Никогда еще монархи не говорили с подданными таким пленительным, трогательным языком», — радовался задним числом Карамзин.

Ф. Буше.
Маркиза де Помпадур



Дидро же, как мы знаем, совершенно справедливо отнесся к «Наказу» отнюдь не столь восхищенно, судя о нем независимо и по крупному счету, однако в тогдашнем состоянии российского общества (будем помнить и о семидесятипятипроцентной детской смертности в среде крестьянства, и о государственном питейном доходе, шестикратно возросшем при Екатерине и достигшем почти трети общего бюджета доходов) содержание его было едва ли не откровением. Как отмечал Ключевский: «Законодатель обращался к подданным не как к будущим преступникам, а как к настоящим гражданам и как бы говорил им: государство в вас самих и в ваших домах, а не в казармах или канцеляриях, в ваших мыслях, чувствах и отношениях. Предполагалось перевоспитать государевых холопов в граждан государства...» И следствия сего благотворны: «Когда с людьми, привыкшими к рабьему уничижению перед властью, эта власть заговорила, как с гражданами, как с народом свободным, в них как бы в оправдание оказанной им чести стали вскрываться чувства и понятия, дотоле прятывшиеся или дремавшие».

Вот они — плоды просвещения. «...И знать, и мыслить позволяешь».

Однако таков уж по природе механизм деспотии, что щедрые посулы сверху довольно скоро сворачиваются, уходя в неги, и щедро распахнутая длань складывается в традиционный российский кукиш — немало тому примеров являет и последующая отечественная история. Вот и деятельность созданной в 1767 году почти что всенародной Комиссии Уложения (представляли в ней депутаты от всех сословий, за исключением крепостных крестьян), которой предстояла разработка новых законов на основе «Наказа», была застопорена под предлогом начала войны с турками.

Еще раз обратимся к Ключевскому: «Люди бывают особенно довольны и счастливы, когда их признают умными и способными рассуждать о самых важных предметах, и искренно признательны тем, кто им доставил такое счастье. А теперь власть не только позволяла, но и предписывала народу обо всем знать и мыслить и способность рассуждать о самых важных предметах ставила в число общественных обязанностей гражданина».

Но вот — не сбылось... Однако и на самой затоптанной грядке семена способны дать свежие ростки. Вопросы, однажды возбужденные, не исчезают втуне, они могут только примолкнуть до поры, но, однажды поселившиеся в умах, рано или поздно находят свое разрешение.

В оборот вошли понятия, дотоле непривычные, оказавшиеся в российском обществе в диковинку. Да хотя бы, собственно, вот это: *общество*. Или *род человеческий*. *Добронравие*... *Попечение о благе общем*... *Созраждане*... *Отечество*... Судьбы понятий зачастую драматичны и причудливы: попадая в арсенал всякого рода демагогов и спекулянтов духа, они неизбежно изрядно девальвируются — однако в пору общественного отрезвления вновь обретают свой первоначальный высокий смысл. Так уж, видно, человек вообще устроен (наверяд ли это исключительно российская особенность), что сразу испить ему из свежего родника не удастся: беспременно сначала намотит, сору накидает, потопчется нечистыми сапожищами, а потом уж только хлебнет — да и поневоле сморщится. Жди теперь, покуда муть оседет...

Так и здесь случилось: науки науками, художества художествами — а пуще-то всех на новое клюнул «молодой российский поросенок» (определение из новиковского «Трутня»), который, хлебнув прогрессу, очень скоро сделался «уже совершенною свиньей». Петиметры и кокетки во многом стали знаком времени еще в елизаветинские годы — внешнее, поверхностное перенимается всего легче, а уж довести сие до полудиотизма — дело и вовсе нехитрое. Это, увы, на все века правило безусловное. Хватая верхки, ботву, живот набьешь, да не насытишься толком, впрок не пойдет — а там помаленьку и с души воротить начинает, свет белый не мил становится. И какой ведь свет — что вокруг? Сквозь заморскую лорнетку близоруко глядя окрест, морщится вчерашний Митрофанушка: и то неладно, и сё, одно слово — *Расея*... Наспех заимствованный критицизм, толком не переваренный, скверную дает отрыжку: ведь самые замечательные идеи сами по себе

погоды не сделают, если с реальностью толком не увязаны, а только ерзают на кончике языка.

Тут и фарс, и трагедия обочь идут. Так покончил с собою в 1793-м ярославский помещик Опочинин: не смог сопрячь света европейских идеалов с российскими потемками. «Отвращение к нашей русской жизни есть то самое побуждение, принудившее меня рещить своевольно свою судьбу», — объяснил в предсмертном завещании. Тут уж и осудить язык не повернется, и жаль бесконечно, и правды не скроешь: воспринять-то восприняли — да «по-чухонски».

Сочувственно и беспощадно сказал об этом опять-таки Ключевский: «...протестующий философский смех перерождался в безразборчивое зубоскальство надо всем, а отрицание предрассудков — в забвение приличий, — словом, из свободы мысли выходило озорство почуявшего волку холопского темперамента... Потеряв своего бога, заурядный русский вольтерианец не просто уходил из его храма как человек, ставший в нем лишним, а, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норовил перед уходом набуйнить, все перебить, исковеркать и перепачкать. Что еще грискорбнее, многими, если не большинством наших вольнодумцев, вольные мысли почерпались не прямо из источников, — это все-таки задавали бы некоторую работу уму, — а хватались ими с ветра, доходили до них отдаленными сплетнями из вторых-третьих рук...»

Усвоение нескольких расхожих трюизмов до механического затверживания их наизусть понимания реальной действительности еще не общает. И даже более того — уводит в область абстрактных эмпирей, парить в коих можно бесконечно, не прилагая никакого радикального умственного усилия. А стоит теперь государственному организму дать вдобавок явный политический крен — тут и вовсе... Так, когда воцарившийся Павел повел дела на свой лад, опальная Дашкова свидетельствовала: «Редки были те семейства, где не оплакивали бы сосланного или заключенного члена семьи. Всюду царил страх и вызывал подозрительное отношение к окружающим, уничтожал доверие друг к другу, столь естественное при кровных родственных узах. Под влиянием страха явилась и *апатия*, чувство губительное для *первой* гражданской доблести — *любви к родине*».

Из века в век повторяется подобная ситуация — и всякий раз находят и поверхностные невольтерьянцы, преисполненные шаткого вольнодумства, и сверхблагонамеренные сторожа нравов и образа мыслей, шельмующие всякий приток свежих идей, и *незолотая* середина, с надеждой задирающая головы к престолу в ожидании высочайшего мнения, которое все-все тут же разъяснит. Насколько основательны сии упования, хорошо могут пояснить вот такие слова Ключевского: «Екатерина не дала народу свободы и просвещения, потому что такие вещи не даются пожалованием, а приобретаются развитием и сознанием, зарабатываются собственным трудом, а не получают даром, как милостыня».

Вот о чем надобно прежде всего памятовать, обращаясь к щедрому мировому опыту: не легковесное обезьянство и не угрюмое охранительство, но добросовестное и усердное сотворчество необходимо в открытом

обращении с иными культурами, чьи достижения могут послужить на благо судьбам отечества.

Собственным трудом шел к истине неутомимый труженик мысли Николай Новиков, собственным трудом пробивался к беспощадной правде Александр Радищев, приготавливая почву для декабристов и Чаадаева, для века следующего, для будущего России, для народной свободы, которая, как сказал Пушкин, есть *немишуемое следствие просвещения*.

Всякую содержательную книгу можно уподобить, к примеру, большому городу, в котором возможны самые разнообразные маршруты пристальных прогулок, — вот и прекрасный каталог выставки «Россия — Франция. Век Просвещения» предполагает массу путей внимательного его изучения. Здесь же контурно намечен только один из них, избранный, впрочем, не наугад. В двух шагах от порога следующего века нам самое время толково и непредвзято распорядиться накопленным общечеловеческим знанием, чтобы выйти на подлинно новый уровень развития общественной мысли, — и богатый опыт прошлого тут может сослужить добрую службу. Уроки же века Просвещения — из наиважнейших.

Евгения Иванова

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕРЕПИСКИ

(«С. Я. Надсон и графиня Лида»)

В марте 1985 года исполнилось сто лет со дня выхода первого сборника произведений поэта С. Я. Надсона, изданного А. С. Сувориным под скромным заглавием «Стихотворения» тиражом 600 экземпляров. «Боюсь, — писал поэт-дебютант своему литературному «крестному отцу» А. Н. Плещееву, — чтобы моя книга не легла могильной плитой на всю мою литературную деятельность»¹. Но напрасны были опасения — судьба книги оказалась поразительно счастливой: уже в январе 1886 года у А. С. Суворина вышло второе издание тиражом 1000 экземпляров. В марте того же года последовало третье². Четвертое и пятое издания, последние из подготовленных самим поэтом, увидели свет вскоре после смерти Надсона в феврале 1887 года. А с кончиной Надсона начался настоящий бум, издания и тиражи пошли по нарастающей: март 1887-го — шестое (тираж 2400), октябрь 1887-го — седьмое (тираж 6000), март 1888-го — восьмое издание с тем же тиражом, январь 1889-го — девятое, июнь 1890-го — десятое, январь 1892-го — одиннадцатое издание и так далее³. Всего до января 1917 года в свет было выпущено двадцать девять изданий сборника, последний из которых имел неслыханный по тем временам тираж — 20000. Для сравнения напомним, что один из лучших поэтических сборников А. Фета «Вечерние огни» имел тираж 600 экземпляров и продавался в течение 17 лет. По завещанию Надсона все доходы от издания перешли в собственность Литературного фонда. Капитал, накопленный с них, уже к 1892 году составил 38486 рублей⁴. Воистину С. А. Венгеров имел основание отметить «небывалый успех Надсона, равного которому нет в истории русской поэзии (в таком количестве до истечения срока литературной собственности не расходились ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Кольцов, ни Некрасов)...»⁵. Если к этому добавить мнение П. П. Перцова, что многие из современников «приобретают Пушкина и Лермонтова лишь как «интеллигентную» подробность домашней обстановки {...}, Надсона покупают только чтобы читать»⁶, то картина получится еще более впечатляющая. «А не хотите ли ключ эпохи, — писал О. Мандельштам о сборнике стихов Надсона, — книгу, раскалившуюся от прикосновений, книгу, которая ни за что не хотела умирать и в узком гробу 90-х годов лежала, как живая, книгу, листы которой преждевременно пожелтели, от чтенья ли, от солнца ли дачных скамеек, чья первая страница являет черты юноши с вдохновенным зачесом волос, черты, ставшие иконой? Вглядываясь в лицо юноши Надсона, я изумляюсь одновременно настоящей огненностью этих черт и совершенной их невыразительностью, почти деревянной простотой. Не такова ли вся книга? Не такова ли эпоха?»⁷. В самом деле, в стихах Надсона, которые Блок назвал «поучительным литературным недоразумением»⁸, эпоха 80-х годов раскрывается во всей своей силе и слабости, взлетах и падениях. Вялость и бездейственная рефлексия причудливо уживались в ней с вспышками отчаянного героизма народовольцев, упадок эстетического вкуса и требовательности,

еднообразия и бедность стиховой формы с высокой гражданской патетикой.

Среди многотиражных и популярных книг Надсона есть одна редкая, с особенной судьбой. Она была выпущена в свет в самом начале 20-х годов под названием «С. Я. Надсон и графиня Лида»⁹. Издание не имеет привычных опознавательных знаков — указания на год выхода, типографию, издателей и т. п. Содержание книги составляет переписка, завязавшаяся у Надсона незадолго до смерти, с молодой аристократкой, скрывавшей свое настоящее имя. Впервые переписка была опубликована друзьями Надсона сразу после его смерти в гайдебуровском журнале «Книжки „Недели“» (1887. № 11), где неизвестной дано было имя, под которым она и вошла в биографию поэта, — графиня Лида (письма она подписывала Люба). Но что интересно в судьбе этих писем: в первой журнальной публикации корреспондентка Надсона имела графский титул, а в собраниях сочинений Надсона она его теряет. И вот при новой публикации переписки в 20-е годы уже XX века графский титул вновь возвращается к незнакомке. Почему? Раскрыть эту загадку помогает нам история появления книги «С. Я. Надсон и графиня Лида», тесно связанная с историей самой переписки, также достаточно непростой. Итак, начнем с самой переписки.

Первой написала Надсону, слава которого была уже в зените, таинственная корреспондентка. Ее письмо, содержащее привычные для Надсона восторги по поводу стихов, вряд ли остановило внимание, если бы не особая задушевность, сердечность, сумевшая сразу выделить незнакомку в ряду обычных почитательниц. Следующие письма содержали нечто интригующее: они давали понять, что дама, писавшая их, имеет основания хранить инкогнито. Любопытство втягивало Надсона, писем писать не любившего, в эту переписку. И наконец, со стороны незнакомки последовало признание: «...открою по секрету, что я графиня». Но оно еще больше подстегнуло интерес Надсона к таинственной корреспондентке: таких поклонниц у него еще не было. Правда, временами необычность этой переписки озадачивала Надсона. «Вы — графиня, аристократка, и проч., а я — плебей; неужели же мне льстит идея именно поэтому дорожить нашими письменными отношениями?» — спрашивал он сам себя в одном из писем. Тщеславие, любопытство ли были затронуты в большей степени — ответить трудно, важно лишь то, что переписка с графиней оживлялась все больше и больше.

В своих письмах незнакомка не только выражала восхищение творчеством Надсона, но и рассказывала о себе. Это была женщина большого света. «Балы, рауты, обеды», — писала она о своем времяпрепровождении. Нельзя сказать, чтобы она обладала избытком скромности, была склонна к самоуничижению — скорее наоборот. Но, восхваляя себя, она умело ссылалась на мнения окружающих. «Муж, конечно, уверяет, — замечала она вскользь, — что я — ума палата; поклонники тают от каждого моего слова». Была она достаточно молода (ей минуло 23 года), окружена всеобщей заботой и поклонением: муж носил ее на руках, родня и близкие

души в ней не чаяли. Свою внешность она живописала также без ложной скромности: «...я сама знаю, что красива, вполне довольна, что природа создала меня такой, какая я есть, и я пока не встречала женского лица, с которым бы желала поменяться». Муж обладал также незаурядной внешностью: «Он очень, очень высок; глаза черные; волосы, усы и борода — черные с проседью; вообще его представительная фигура невольно бросается в глаза; к тому же он замечательный лингвист; владеет всеми мертвыми и живыми языками». Этот поистине феноменальный лингвист, наделенный столь завидной внешностью, был в довершение всего и ангелом кротости, беспрекословно выполнявшим все прихоти обожаемой супруги. Словом, муж графини был наделен всеми мыслимыми достоинствами, смахивая на добродетельного героя бульварного романа из великосветской жизни.

Итак, жизнь прелестной корреспондентки Надсона была подобна сказочному сну: она совершала утренние выезды верхом в сопровождении толпы кавалеров, кружила им головы, сохраняя верность добродетельному супругу, ее многочисленные братья (она была их единственной сестрой) наперегонки мчались исполнить ее капризы; для полноты картины была она еще и счастливой матерью. Что можно добавить к этому!

Правда, и на это безоблачное счастье набегали изредка тучки, огорчения посещали иногда и графиню Лиду, но как бы неазаправдашние, игрушечные, напоминаящие бурю в стакане воды. Так, во время одной из прогулок верхом, к ужасу всей семьи, красавица сломала руку. Внимательного читателя этой переписки что-то в тоне писем скоро начинает настораживать. В самоупоении и счастье, которыми дышат письма графини Лиды, как-то необъяснимо выглядит ее интерес к поэту, звавшему своего читателя на совсем иные пути:

Из теплого гнезда, от близких и любимых,
От мирной праздности, от солнца и цветов
Зову тебя для жертв и мук невыносимых
В ряды истерзанных, озлобленных борцов.
Зову тебя на путь тревоги и несчастья,
Где меры нет труду и счета нет врагам!

Да и в описаниях жизни таинственной графини попадают некоторые несообразности. Так, в одном из писем она упоминает о студенте-поэте, которого привели познакомиться в ее салон. Но, ослепленный роскошью, бедный студент «держал себя странно и ускользнул из будуара прежде, чем я это заметила». Студент, при первом знакомстве попавший в будуар к хозяйке, — деталь достаточно настораживающая! И удивительно, что ни сам Надсон, ни те, кто готовили письма к публикации, не придали ей никакого значения. А ведь Надсон рос в семье крупного петербургского чиновника, с детства вращался в мире, который с таким упоением описывала графиня. Но Надсон был поглощен другим, и с полной доверчивостью внимал незнакомке. «Вы принадлежите к среде, — писал он, — с которой я давно разорвал все связи...» Поэт простодушно распахивал душу перед графиней: «Говорят, в моем

характере есть что-то открытое, детское, что привлекает к себе», — признавался он. Или о своем окружении: «...бывает у меня один скрипач, один редактор местной газеты, которая однако не выходит, много барынь: но, увы, молодых и красивых между ними нет, за исключением княжны** и некой***. Зато меня окружают старушки всех возрастов, с 30-ти до 60-ти лет включительно. Барыни меня очень балуют, приносят мне варенье, а я очень рад этому, ибо варенье люблю».

Так и текла переписка: Надсон писал о себе, а графиня не скупясь описывала свою юную красоту и таланты. На рассказ Надсона о пережитом им триумфе на вечере в пользу Литературного фонда, после которого, как он писал, «молодежь на руках меня на эстраду вынесла, и восторгом не было конца», графиня отвечала рассказом о своем пении в таких выражениях: «Мне иногда приходилось увлечь толпу слушателей, видеть блестящие от сдержанных слез глаза, улавливать подавленный вздох». То есть и она пыталась не отставать от прославленного поэта.

И графиня, и Надсон писали с увлечением, их взаимное самовосхваление длилось до последних дней жизни поэта. Изредка в письмах мелькала мысль о свидании, но, казалось, оба боялись встречи. «Это правда, я боюсь нашего свидания, — признавался Надсон Лиде, — но боюсь потому, что непременно оба мы взаимно разочаруемся. Вы, например, столько мне натолковали о вашей красоте, что, окажись вы немножко не красавица, я буду на вас в претензии...»

Поэтому роман так и остался романом в письмах. Именно графине Лиде написал Надсон одно из последних своих писем: эта деталь стала завершающим аккордом трогательной легенды, сложившейся вокруг этой дружбы после смерти Надсона, легенды о суровом демократе и аристократке, через сословные барьеры сделавших шаг навстречу друг другу.

Современники вспоминали, что на похоронах поэта присутствовала таинственная незнакомка под густой вуалью, возложившая на могилу венок с надписью: «От графини Любы».

Их дружбу увековечил в стихах на смерть Надсона Я. П. Полонский:

И был тот голос с нервной дрожью,
Как голос брата в час глухой,
Подслушан пылкой молодежью
И чуткой женскою душой.

Начав после смерти Надсона собирать его литературное наследие, друзья и почитатели обратились в числе прочих и к этой «чуткой женской душе». В переписку с незнакомкой вступила М. В. Ватсон, наиболее преданная и самоотверженная из тех, кто окружал Надсона в последние дни жизни. Таинственная корреспондентка и перед Ватсон не пожелала открыть свое имя. Но память о поэте она свято хранила, расспрашивала о последних минутах его жизни, интересовалась отношениями с родственниками. Ватсон, чья жизнь была поглощена Надсоном, обрела в ней заинтересованную слушательницу и горячо отдалась возможности разгово-

риться. Между тем, расспрашивая о Надсоне, графиня не забывала и здесь порассказать кое-что о себе. В этих письмах ее аристократизм и светскость обрели качественно новый уровень: перед Ватсон она предстала особой, приближенной к императорскому двору. Было о чем призадуматься Ватсон, урожденной де Роберти, происходившей из аристократической семьи, в свое время окончившей Смольный институт и танцевавшей на выпускном балу с императором Александром II. Но и она была поглощена своими заботами: имея семью и мужа, вынужденная при его жизни скрывать истинную глубину скорби по Надсону, Ватсон пользовалась любой возможностью излить душу. Графиня же писала о себе. Все чаще мелькали в ее письмах сетования на то, что докучает ей ни больше ни меньше как великий князь Константин Константинович, в литературных кругах известный под псевдонимом К. Р. Этот последний преследовал ее на каждом шагу, что отравляло ее пребывание при дворе. «Знаете ли, — сообщала она, — я отказывалась быть фрейлиной; по мужу я имею право быть при дворе и так, без всякого фрейлинства, а эта служба далеко не из легких: Елизавета Маврикиевна, великая княгиня, очень мила, очень добра, но великий князь Константин Константинович забывает, какая у него очаровательная женка, и заглядывается на чужих»¹³. Теперь, когда к толпе поклонников примешался еще и великий князь, графиня вознеслась на недоступную высоту и оказалась как бы вне сферы досягаемости для друзей Надсона. Но при всех сословных барьерах не было препятствий к тому, чтобы назвать себя: на скромность М. В. Ватсон можно было положиться. Можно было и встретиться с ней, чтобы передать ей письма Надсона. Но таинственная незнакомка предпочла уехать за границу и приостановить на время переписку. Между тем отношения ее с М. В. Ватсон стали уже настолько дружественными, что в письмах она называла Марию Валентиновну Мулечкой, что никак не согласовывалось с той «бонтоностью», которую она вокруг себя нагнетала. Равновесие переписки заколебалось, свидание становилось неизбежным. Но по возвращении из-за границы графиня начала болеть, чахнуть. Она как бы погибала под грузом тоски по Надсону, развеять которую не могли ни новые впечатления, ни любящие родственники, ни дети, ни муж — никто. Уже готовясь отрешиться от всего земного, графиня посылает к М. В. Ватсон свою протее, которую представляет теткой, — Любовь Фадееву-Волгину («Имя какое буржуазное», — замечает она при этом!). Выпуская на сцену своего эмиссара, графиня не забывает отметить ту пропасть, которая существует между ними: «...я домами с ней незнакома, но встречаюсь часто. Она оригинальна: молодое лицо, большие темные глаза и совершенно седые волосы... Ей лет 30, 32, она не хороша, но очень изящна, говорит, что очень бы хотела с вами познакомиться, она одна из ваших преданных поклонниц. Стороной я слышала, что в семейной жизни она несчастна, имеет четверо детей и бурбона-мужа; чрезвычайно мило себя держит, знает языки... Она мила, умна, прекрасно играет на рояле, немного таинственна, по-видимому, очень добра...» Ничто в биографии дальней родственницы не напоминает жизнь графини: по возрасту это «старушка»,

С. Я. Надсон



поседевшая от неудавшейся личной жизни. Все ее таланты погублены «бурбоном-мужем» и пропали втуне. Графиня, не имея возможности перешагнуть через сословные барьеры, вручила ее судьбу отзывчивой и демократичной Ватсон и... умерла на руках этой неудачницы Фадеевой, которая принесла известие о смерти графини и затем завязала с М. В. Ватсон личные отношения, обнаружив необыкновенную привязчивость. Писала к Ватсон Фадеева часто и охотно. Она взяла на себя переговоры с безутешным графом, который метался по заграницам, чтобы развеять горе. От него Любовь Фадеева добилась разрешения опубликовать переписку покойной жены с Надсоном. Но если раньше чувство меры изменяло иногда графине Лиде в описаниях собственной великосветскости, то теперь настала очередь графа совершать несообразности. Как раз незадолго до смерти Надсона началась полемика между поэтом и В. П. Бурениным. После того, как Надсон резко отозвался о Буренине в одном из фельетонов, последний стал, сначала не называя Надсона, а потом и называя, высмеивать стихи поэта, а также иронизировать по адресу тех самых «старушек», которые окружали Надсона и одной из которых была М. В. Ватсон. Эта история заслуживает особого разговора, скажем для

краткости, что после смерти Надсона Буренина обвинили в том, что он своею травлей убил поэта. Разъяренный фельетонист стал еще язвительней насмешничать, что друзья Надсона расценивали как кощунство. Посыпались письма протестов, и этот скандал долго привлекал внимание литературного мира. По словам новой знакомой М. В. Ватсон, фельетоны Буренина вывели из себя даже безутешного графа. Так, в одном из писем Фадеева упоминала о намерении графа вызвать Буренина на дуэль. Но уже в следующем его планы изменились: «Разве только что граф, — писала она, — не говоря ни слова, войдет и тут же так пристукнет этого мерзавца, что он и дух испустит»¹¹. Но этому не суждено было осуществиться, и Буренин еще долго высмеивал как покойного Надсона, так и его ревностных поклонников и поклонниц. Постепенно, однако, граф, графиня и даже сам Надсон все дальше и дальше уходили из переписки М. В. Ватсон с Л. Фадеевой. Вместо этого письма протеже покойной графини все больше и больше начинали смакивать на исповедь хотя и довольно лживой, непростой, однако временами очень искренней и безусловно несчастной женщины. И странно — многое в ее исповеди имело отдаленное сходство с жизнью графини Лиды, но несравненно менее счастливой.

Теперь это был уже не роман из светской жизни, а скорее банальный романс: «Бедный прапорщик армейский стал ухаживать за мной...» Л. Фадеева родилась в обеспеченной семье, отец ее был крупный чиновник. «...Вырастая в семье, члены которой очень любили друг друга, избалованная родными (я была единственной дочерью), не успев выйти из-под теплого родительского крова, жизнь начала со мной свои шутки шутить, от которых я поседела, вечно болею и не вижу, главное, конца им. Замуж я вышла по любви, за бедного армейского офицера, вопреки всем, принесла ему мою молодость, любовь мою; и обеспеченность и молодость ушли, любовь поругана, обеспеченность пошла на кутежи, карты и дрянных женщин». Что и говорить, история грустная, но довольно банальная. За ней стояли разбитые иллюзии, посеянные романами не самой высокой пробы. «Я полюбила всей душой Фадеева, — признавалась она в одном из следующих писем. — заслушалась его фраз о бедности, одинокости и армейской нищете, подумала, что перевоспитаю его, возвышу его до себя, облагорожу и этим возрождением гордиться буду, — а оказалось, что без ужаса, отвращения, без отчаяния не могу взглянуть на прожитые самые лучшие годы молодости и веры в людей». По контрасту с графом, сочетавшим в себе все мыслимые добродетели, муж Л. Фадеевой был вместилищем всех пороков. Он кутил, растратил состояние жены и детей. Служил он чиновником особых поручений при главном интенданте, куда определил его дядя Л. Фадеевой. Сама она жила на деньги, которыми ее ссужал из жалости тот же самый дядя, а частично на проценты с капитала детей. Из жалования мужа, которое он норовил прокутить, в пользу детей также отчислялась треть. Так и тянулась эта неприглядная жизнь. Трудно судить, как реагировала на эти признания Ватсон, ее письма не сохранились, но вряд ли можно сомневаться в том, что до поры до времени она

сочувствовала своей новой знакомой; сомневаться в ее отзывчивости не приходится.

Однако возникшей дружбе суждено было пережить нелегкое испытание. После публикации переписки Надсона и графини Лиды в гайдебуровском журнале «Книжки "Недели"» в литературных кругах родился слух, что их писала никакая не графиня, а... жена жандармского полковника (по другим версиям — пристава). И тут настала пора Л. Фадеевой убедиться, что, при всей сердобольности, Ватсон — прежде всего защитница интересов Надсона. Когда встревоженная Ватсон обратилась в первый раз за разъяснениями, Л. Фадеева все отрицала. В дело вмешался Я. П. Полонский. Ознакомившись с перепиской Надсона с «чуткой женской душой», еще так недавно воспетой им в стихах, Полонский сразу назвал ее письма «выдумкой». Находчивая Л. Фадеева немедленно парировала его дерзкий выпад намеком на сложные отношения между Полонским и графом. «Полонского граф не терпел», — писала она Ватсон. Но стараниями Буренина, которого так и не удосужился «пристукнуть» граф, реальность существования графини была поставлена под сомнение. И разъяренная Ватсон прибежала к Фадеевой, вырвав у нее письменное признание: «Удостоверяю этим, что Мария Валентиновна Ватсон только сегодня, 18 ноября 1887 года, узнала от меня лично, что письма, писанные мною Надсону под именем графини Лиды, только мною лично и составлены. Без всякой предвзятой цели повредить памяти поэта или чем-либо Марии Валентиновне решила я дать почитать эти письма: ввиду того, что вся эта история вредно могла отозваться на всей семье моей, я просила Марию Валентиновну не распространять этот случай, в чем и подписываюсь. Любовь Васильевна Фадеева-Волгина». Это была вторичная гибель графини, из молодой и прекрасной аристократки обернувшейся несчастной, пострадавшей от жизненных превратностей и неистощимой на выдумки и фантазии женщиной. Это была и гибель дружбы Л. В. Фадеевой-Волгиной с М. В. Ватсон, которая, конечно, не смогла простить обмана, хотя и совершенного «без всякой предвзятой цели». Но мнимая графиня еще на что-то надеялась и предпринимала героические попытки. Едва опомнившись, она писала на другой день Ватсон: «Вы, придя ко мне крайне взволнованной, раздраженной, требовали от меня, так настоятельно требовали от меня, фамилии графини Лиды, что я, движимая глубоким сочувствием к Вашему расстройству и для прекращения крайне тяжелого для меня разговора, назвала вам первое попавшееся мне на ум имя, т. е. мое. Не имея ни малейшего права открывать псевдоним графини Лиды, дав честное слово вполне сохранить эту тайну, я во вчерашней моей записке приняла на себя корреспонденцию графини Лиды с Надсоном, с тем чтобы и все последствия таковой принять на себя. Но теперь считаю долгом заявить, что во всей этой истории я только третье лицо. Письма писала графиня, и я, находившаяся с ней в дружеских отношениях, чтобы еще более отстоять ее инкогнито, ходила за ними на почту, отсылала ее письма, читала их иногда — вот все, чем я принимала участие в корреспонденции теперь уже умерших личностей. Теперь же, что бы и кто бы ни говорил,

более чем когда-либо, я ни за что никому не назову фамилию покойной Лиды и положительно не понимаю, как могла написать вчерашнюю бессмысленную записку». Но эта попытка восстановить утраченные позиции не привела ни к каким результатам. Ответа Фадеева не получила. Ватсон прозрела, вернуть ее доверие не было никакой возможности. Между тем Фадеева отчаянно защищалась. Одна из ее оправдательных версий была такова: «Я хотела усладить последние минуты его жизни, занять внимание больного поэта, отвлечь его от грустных мыслей», — говорила она¹². То, как цеплялась она теперь, когда разоблачение было окончательным, за обломки рухнувшей легенды, показывает, что сказка нужна была и ей самой. Это был тот самый «возвышающий обман», который долго помогал ей переживать «тьму низких истин» и которого жаждала ее душа прирожденного мистификатора, способного поверить в собственный вымысел. Дальнейшая судьба несчастной фантазерки, имевшей так много общего с хромоножкой из «Бесов» Достоевского («Мой князь не таков!») неизвестна.

Не все смотрели одинаковыми глазами на эту историю. Издатель крупной и влиятельной газеты «Новости» О. К. Нотович сделал из этой мистификации совсем неожиданный вывод. По словам А. Кауфмана, он «усиленно разыскивал талантливую «графиню», чтобы предложить ей посвятить себя литературной работе и украсить беллетристический отдел «Новостей» произведениями ее пера...»¹³ Никаких сведений о том, состоялось ли это сотрудничество, нет. Но история переписки и на этом не кончается.

Хотя во всем, что касалось мнимой графини, точки над «и» были поставлены для Ватсон еще в ноябре 1887 года, она продолжала уповать, что разоблачение не будет иметь широкой огласки, а Буренину какая вера! И, вопреки здравому смыслу, в январе 1888 года в типографии И. И. Скороходова была набрана книга «С. Я. Надсон и графиня Лида». Как писал один из современников, «выручка с книги предназначалась на сооружение памятника поэту»¹⁴. Но оптимистические надежды Ватсон не оправдались: история получила огласку, и отпечатанная книга оставалась лежать на складе сброшюрованная. Только в 1910 году А. Е. Кауфман, который прекрасно знал историю этих писем, поднял вопрос о том, не выпустить ли их на книжный рынок. «С тех пор, как умер Надсон, — писал он, — прошло почти 23 года, и можно простить «Хлестакову в юбке» маленькую невинную мистификацию: не в последней центр тяжести глубоко интересной переписки, а в тех отрадных минутах, которые доставило больному поэту чтение писем незнакомки»¹⁵. Но эта идея не была осуществлена. Только после революции кто-то нашел эти листы и пустил их без всяких комментариев на книжный рынок. В рецензии на это анонимное издание А. Кауфман сообщил еще некоторые подробности: оказывается, мнимая графиня Лида была «супругой находившегося в небольших чинах военнослужащего, особою лет 30-ти, матерью четырех детей. Жила она не в роскошном палаццо, а где-то в скромной квартирке на Николаевской»¹⁶. Еще некоторые сведения о

переписке находим мы в заметке А. Кута¹⁷. Видимо, они относятся к более позднему времени, и проверить их достоверность нет возможности: «Кара-Мурза установил, что под именем «графиня Лида» скрывалась Любовь Васильевна Фадеева. Она — не жена жандарма. Ее муж заведовал в Жлобине сенопрессовальным заводом».

Вот все, что известно по поводу легенды о молодой и прекрасной графине, под обаянием которой уходил из жизни юноша С. Надсон, этой, по выражению А. Волынского, «романтической фальсификации», скрасившей его последние дни. Остается ответить еще на один вопрос: почему Надсон поверил в этот обман? Думается, в этом не было случайности и этот эпизод многое объясняет в поэте, дает ключ к его психологии.

«Как мало прожито — как много пережито» — эти строки Надсона стали для его поколения своеобразной формулой, за которой стояло целое мироощущение, представление о ранней надломленности под бременем житейских невзгод и переживаний. Биографы часто прилагали эту формулу к самому Надсону, который искренне считал себя человеком много повидавшим на своем веку. Но читатель его дневников и писем имеет возможность убедиться, что как раз именно переживаниями, именно душевным и житейским опытом и была бедна жизнь Надсона. Закрытые учебные заведения, узкий родственный круг по воскресеньям, потом офицерская среда в Кронштадте, откуда он совершал наезды в Петербург, — вот все, чем одарила его недолгая жизнь. Даже попав в литературную среду Петербурга, Надсон обрел здесь мало близких друзей, в массе это были или поклонники, или покровители начинающего поэта. Болезнь только сузила этот круг, а пребывание на чужбине без знания языка обрекло его на заточение в замкнутом кругу русских колоний. Надсон буквально изнывал здесь от тоски по Петербургу, где были сосредоточены все его помыслы. Воистину, эта короткая жизнь не была преисполнена разнообразием впечатлений, а оборвалась она на пороге двадцатипятилетия, и до конца своих дней Надсон, подобно Ленскому, «сердцем милый был невежа». Роман с графиней Лидой способен отчасти подтвердить это. Но все же не одна житейская неопытность способствовала успеху мистификации. При всей наивности у Надсона мелькали сомнения в правдивости своей корреспонденции. «Кстати о ваших письмах, — писал он, — они вовсе не так просты, как это может показаться с первого раза; в каждом из них всегда есть какая-нибудь задняя мысль». Но он не давал сомнениям победить себя, предпочитая красивую иллюзию реальности. Надсон не только мало знал жизнь, он ее боялся. Хотя в письмах незнакомки было так много банального и безвкусного, хотя они были продиктованы воображением бедным и примитивным, они навевали ту романтическую сказку, которой жаждал Надсон. Миф, созданный незнакомкой, по-своему продолжал темы некоторых его стихов, таких, как «Грезы», где рассказывалось о молодой и прекрасной королеве и бедном певце, заслужившем ее благосклонное внимание. Это стихотворение сам Надсон называл «ярким сном фантазии». Несколько раз воскресал Надсон в своих стихах

и легенду о спящей красавице, о которой в стихотворении «Весенняя сказка» он писал:

Старое преданье... Чудное преданье...
В нем надежда мира... Мир устал и ждет...

Сам поэт, измученный тяжелым недугом, до конца своих дней сохранял надежду на осуществление этих фантазий. И даже пробовал нечто подобное этим «грезам» и «снам» имитировать в реальной жизни. «Он шуточно называл себя королем, — вспоминал И. Ясинский о жизни Надсона в Боярке, — а возле него состоял штат из придворных девиц. Они становились за его стулом и вообще эту придворную игру вели последовательно»¹⁸. Письма незнакомки как бы продолжали эту игру, сообщая ей некоторую достоверность и видимость подлинности. Мнимая графиня всего лишь сумела угадать в поэте неутоленную и чистосердечную потребность в идеальном и вымышленном, здесь и крылась главная причина успешности всей этой необычной мистификации.

Примечания

¹ Надсон С. Я. Полн. собр. соч. Пг., 1917. Т. 2. С. 524.

² Сведения о тиражах взяты из заметки С. Я. Надсона, находящейся в его архиве (ОРГПБ. ф. 508, оп. 1, ед. хр. 16, л. 1).

³ Тиражи указываются по деловым заметкам М. В. Ватсон, которая вела все дела по изданию произведений Надсона после его смерти (РО ИРЛИ. Рукописный отд., ф. 402, оп. 4, ед. 106).

⁴ Интересно сопоставить доход Литературного фонда с размерами ссуды, которую получал от него поэт. Первый раз на лечение ему было выделено 500 рублей, а второй — 600, обе ссуды поэт выплатил еще при жизни.

⁵ Энциклопедический словарь/Брокгауз и Эфрон. Спб., 1897. Т. 39. С. 446.

⁶ Перцов П. Кумиры молодости//Новое время. 1900. 13 дек.

⁷ Мандельштам О. Шум времени. Л., 1925. С. 21.

⁸ Блок А. А. Собр. соч. М.; Л., 1963. Т. 6. С. 138.

⁹ С. Я. Надсон и графиня Лида. Пг., б/г. В дальнейшем переписка Надсона и графини Лиды цитируется по этому изданию.

¹⁰ Все письма графини Лиды хранятся в фонде М. В. Ватсон//РО ИРЛИ, ф. 402, оп. 2, ед. 643 и цитируются по этому источнику.

¹¹ Письма Л. В. Фадеевой хранятся там же (ед. 564) и цитируются по этому источнику.

¹² Кауфман А. С. Я. Надсон и его заочная любовь//Солнце России. 1912. № 3. С. 10.

¹³ Кауфман А. Е. Пропавшая книга//Ист. вестн. 1910. № 1. С. 202.

¹⁴ Там же. С. 196.

- ¹⁵ Там же. С. 201—202.
- ¹⁶ Кауфман А. Спасенная книга//Вестн. лит. 1921. № 10. С. 6—8.
- ¹⁷ Кут А. Надсон и графиня Лида//Веч. Москва, 1927. № 108.
- ¹⁸ Белинский М. (Ясинский И. И.) Надсон в Киеве//Биржевые ведомости. 1897. 17 (29) янв.

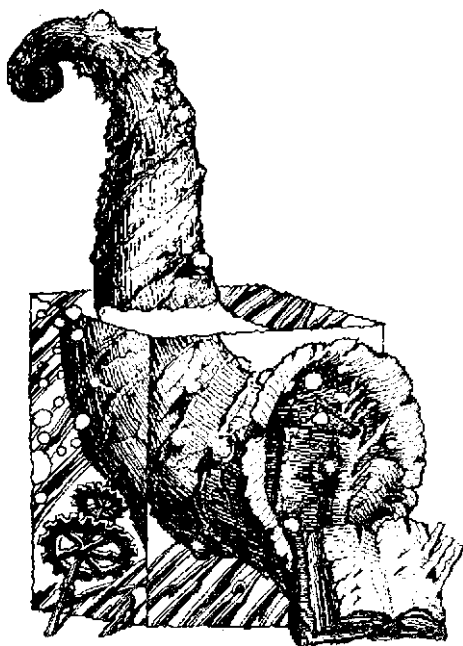
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Александр Тишков
БИБЛИОГРАФИЯ МИХАИЛА КУЗМИНА

Евгений Иванов
ДЕРЕВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ, БАЗАРЫ
И КАБАКИ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ В. Я. БРЮСОВА
С М. Н. СЕМЕНОВЫМ

Василий Розанов
ТРИ РЕЦЕНЗИИ



Александр Тишков БИБЛИОГРАФИЯ МИХАИЛА КУЗМИНА

В XVI выпуске «Альманаха библиофила» была напечатана статья Р. Белоусова, посвященная памяти известного писателя, видного переводчика и исследователя китайской литературы, незаурядного знатока русской поэзии (и в первую очередь блоковского наследия) — Александра Александровича Тишкова.

Коротко предваряя эту публикацию из архива А. А. Тишкова, хотелось бы сказать, что он представлял собой тип российского литератора в том лучшем, теперь уже чуть старомодном смысле, который вкладывал в это слово А. С. Пушкин: «Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным...»

В наш век утилитарных знаний и узкой специализации труды и дни А. А. Тишкова были редким примером несуетного, бескорыстного и универсального интереса ко многим явлениям мировой культуры. Весомость же интереса обеспечивалась огромной эрудицией и аналитическим даром.

Так, не спеша и до самых глубин погружаясь в существо предмета, А. А. Тишков составлял своеобразную библиографию Михаила Кузмина (1872—1936), чье сложное и яркое творчество стало заметной вехой в поэтическом процессе XX столетия. Внимание к Кузмину в среде современных исследователей неукротимо растет, и публикация этой библиографии, составленной хотя и не библиографом, но страстным библиофилом, настоящим рыцарем книги, наверняка станет подспорьем в их работе. Но важно подчеркнуть здесь, что библиография имеет и другую ценность: это не только вклад в изучение творчества М. Кузмина, это и портрет библиофила А. Тишкова. Те более ста карточек, которые он заполнил своим четким (как у многих хитаястов — словно бы рисованным) почерком, составляя кузминскую биографию на досуге, в промежутках между основными занятиями, могут служить образцом, я бы сказала, одухотворенного библиофильства, — а это ли не поучительно для читателей альманаха?

Татьяна БЕК

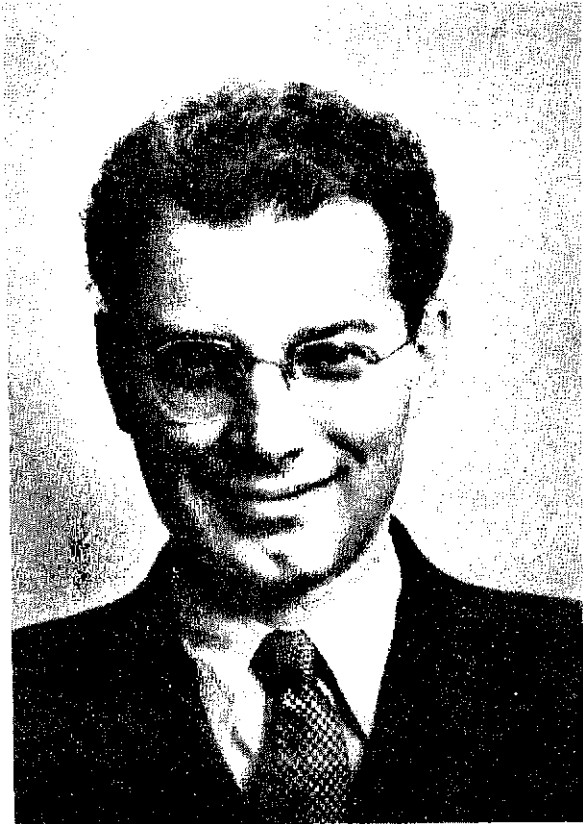
Библиография М. А. Кузмина автором завершена и выверена не была — он не готовил ее в печать. Систематизация карточек (издание сочинений Кузмина; Кузмин-комедиограф; Кузмин-переводчик; Кузмин-критик; литература о Кузмине) носит условный и предварительный характер. Но, стремясь передать живой и рабочий дух библиографии, мы публикуем ее практически в нетронutom, направленном виде. Допущено лишь одно исключение: несколько нерассортированных карточек, отложенных А. Тишковым явно с тем, чтобы впоследствии включить их в соответствующий раздел, мы поместили в основной корпус библиографии, следуя авторским композиционным принципам.

В ряде случаев мы, пользуясь угловыми скобками, раскрываем малопонятные сокращения и даем пояснительные сноски.

Курсивом набраны личные комментарии и пометки А. Тишкова на карточках. Разнообразные, они порою весьма красноречивы и существенны. Тут и отсылка к критике произведения, и эмоциональная запись, и лаконичный контекст, и уточнение даты, и литературоведческое соображение.

К основной библиографии приложен перечень связанных с М. Кузминым материалов, которые были вписаны А. Тишковым в каталоге ЦГАЛИ.

А. А. Тишков



КУЗМИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

29 сент. 1875—1936

М. Кузмин. Собрание сочинений

(Издание М. И. Семенова)

- Стихи:** т. 1. Сети
 т. 2. Осенние озера
 т. 3. Глиняные голубки
- Рассказы:** т. 4. Покойница в доме (1914)
 т. 5. Зеленый соловей (1915)
- Романы:** т. 6. Плавающие-путешествующие (1915)
 т. 7. Тихий страж (1915)
 т. 8. Антракт в овраге (рассказы) (1916)
 т. 9. Девственный Виктор (рассказы) (1918)

М. Кузмин

Приключения Эме Лебефа

Спб. 1907. 147 с. 1 рб.

Отпечатана в мае 1907. Тов-м «Вольная типография». Виньетки и загл. лист сделаны К. Сомовым. Обложка составлена по образцам 18-го века. Посвящение: «Дорогому Сомову. 1906 г.»

Крылья. Повесть в трех частях

М. 1907. «Скорпион», 103 с.

Обложка работы Н. Феофилактова

2-е изд. М. 1908. «Скорпион», 123 с. 80 к.

(изд-во?) Петрогр. 1923

Картонный домик.

Повесть. 1907

— упоминается: Блок. С<обр.> с<оч.>. Т. 5, с. 183.

Путешествие Фирфакса. Мечтатели

изд. «Скорпион»

Приключения Эме Лебефа. Крылья

изд. «Скорпион»

М. Кузмин «Скорпион», 1910. 321 с. 1.50 к.

Первая книга рассказов

Приключения Эме Лебефа (1906) Дорогому Сомову

Письма Клары Вальмон (1906)

Флор и разбойник (1908)

Тень Филлиды (1908)

Решение Анны Мейер (1907) Сергею Павловичу Дягилеву

Кушетка тети Сони (1907) Моей сестре В. А. Мошковой

Крылья. Повесть в трех частях (1906)

М. Кузмин

Вторая книга рассказов 387 с.

К-во «Скорпион», Москва МСМХ

Подвиги Великого Александра (посв. В. Брюсову) (1908)

Повесть об Елевсиппе, рассказанная им самим (1907)

Нежный Иосиф. Повесть в четырех частях (1908—1909)

(в 1-й книге рассказов в содержании второй книги был объявлен рассказ «Двойной наперсник»)

М. Кузмин

Третья книга рассказов

М. «Скорпион», 1913. 433 с.

Путешествие сэра Джона Фирфакса (1910) Сергею Ауслендеру

Рассказ о Ксанфе, поваре царя Александра, и жене его Калле (1910)

«Высокое искусство» (1910) Н. С. Гумилеву
 Нечаянный провиант (1910) Святочный рассказ
 Опасный страж (1910)
 Ванина родинка (1910) Ю. Л. Ракитину
 Мечтатели (1912)

М. Кузмин

Покойница в доме. Сказки. Четвертая книга рассказов.
 Обложка работы А. Божерянова
 Спб. М. И. Семенов. 1914. 190 с.

Покойница в доме (1912)
 Сказки (1912—13) Посв. Юр. Юркуну

1. Принц-желание
2. Рыцарские правила
3. Шесть невест короля Жильберта
4. Дочь генуэзского купца
5. Золотое платье
6. Где все равны
7. О совестливом Лапландце
8. Высокое окно
9. Послушный подпасок

«Зеленый соловей» Пятая книга рассказов.
 Собр. соч., т. V (изд. М. Семенова). Петроград, 1915
 Обложка работы А. Божерянова

Зеленый соловей (1915)

Платоническая Шарлотта (1914)

Завтра будет хорошая погода (1914) Юрию Слезкину

Напрасные удачи (1914) Юр. Юркуну

Соперник (1914) В. С. Мосолову

Измена (1914) Юр. Юркуну

Шар на клумбе (1914) Олегу Соколову

Набег на Барсуковку (1912) Борису Садовскому

Образчики доброго Фомы (1915) Георгию Иванову

Остановка (1915)

Своему делу мастер (1915)

М. Кузмин

Федя фанфарон. V книга рассказов (готовится)
 (Объявлена в четвертой кн. рассказов «Покойница в доме»)

М. Кузмин

Военные рассказы. изд. «Лукоморье». П. 1915. 97 с.
 Обложка работы С. Судейкина

Ангел северных врат (Юр. Юркуну) Концовки П. Лаженкова

Серенада Гретри (А. И. Божерянову) —»— Д. Матрохина

Пастырь воинский —»— ?

Кирикова лодка	— — —	нет
Правая лампочка (А. А. Измайлову)	—»—	?
Два брата (М. Н. Бялковскому)	—»—	?
Третий вторник (В. О. Финити)	—»—	?
Пять путешественников (Т. В. Слезкиной)	— — —	нет

М. Кузмин**Плавающие-путешествующие. Роман.**

Изд. М. Семенова. Петроград (1915). 277 с.
(часть 1-я, часть 2-я. Заключительные главы)

Посвящение: Дорогому Юр. Юркуну посвящается
обложка работы А. Божерянова

М. Кузмин

Собр. сочин. том VI

Плавающие-путешествующие. Роман

Обл. работы А. Божерянова. Изд. 2-е

П. (петрогр.) М. И. Семенов. 1915. 279 с.

М. Кузмин

Собр. сочинений том II. 156 с.

Бабушкина шкатулка. Рассказы

Издание М. И. Семенова. Петроград (1918)

Обложка работы А. Божерянова

Не тот Николай	Бабушкина шкатулка
Последняя капля	Дама в желтом тюрбане
Забывтый параграф	Гололедица
Неразлучимый Модест	Прогулка в сумерках
Портрет с последствиями	Косая бровь
Исполненный совет	

М. Кузмин

Собр. сочин. т. VII

Тихий страж. Роман

Обл. (ошка) работы А. Божерянова.

Петрогр. М. И. Семенов (1915). 216 с.

М. Кузмин

Собр. сочинен. т. VIII

Антракт в овраге. Рассказы

Обл. раб. А. Божерянова

Петрогр. (1916) М. И. Семенов. 243 с.

М. Кузмин

Собр. сочин. Т. IX

Действенный Виктор. Рассказы

Обл. раб. А. Божерянова

Петрогр. (1918) М. И. Семенов. 192 с.

М. Кузмин

Новый Плутарх (на обложке)

Титул: Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро
в трех книгах.

«Странствующий энтузиаст», Петроград, 1919. 235 с.

книжные украшения работы М. В. Добужинского
Напечатано в 15-й госуд. типогр. (бывш. т-ва Р. Голика и
А. Вильборг)

(Замечательная полиграфия)

М. Кузмин

В Библиотеке Ленина есть лишь «Архивный
экз(емпляр)»

Новый Плутарх. т. I

Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро, в
трех кн.

Петрогр. 1919

Изд. «Странствующий энтузиаст» 235 с. + 5 нenum.

Книжные украшения работы М. В. Добужинского

М. Кузмин

Книга о святых воинах (готовится)

В сборнике «Стрелец» № 3, 1922 г.

«Римские чудеса», главы из романа

«Чешуя в неводе» (только для себя) выписки 1916—22

(см. тетрадь)

М. Кузмин

Изд. Прометей

— Чаша

— Плен

— Ракеты

М. Кузмин

Сети. Первая книга стихов

Обложка работы Н. Феофилактова

Москва, «Скорпион», 1908. 222 с. 1 р. 50 к.

М. Кузмин

Собр. соч. т. I. Пг.; М. И. Семенов

Сети. Первая книга стихов (1915). 222 с.

обл. работы А. Божерянова. Книга искажена военной
цензурой

М. Кузмин

Осенние озера. Вторая книга стихов

обложка работы С. Судейкина

К-во «Скорпион». Москва. МСМ XII. 233 с.

часть первая

1. Осенние озера (12 стих.)

2. Осенний май (11 стих.)

3. Весенний возврат (5 стих.)

4. Зимнее солнце (8 стих.)

5. Оттепель (9 стих.)

- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| 6. Маяк любви (12 стих.) | | часть вторая |
| 7. Трое (8 стих.) | | 1. Венок весен. (Газеллы)--- 30 стих. |
| 8. Листики разрозненных повестей (8 стих.) | 2. Всадник | часть третья |
| 9. Разные стих. (10 стих.) | | Посвящение |
| 10. Стихотв(орения) на случай (7 стих.) | 1. Духовные стихи (5 стих.) | |
| | 2. Праздники Пресвятой Богород(ицы) (7 стих.) | |

Глиняные голубки. Третья книга стихов

Изд. М. И. Семенова. С.П.Б. 1914. 194 с.

Часть 1-я Веселый путь

1. В дороге (13 стих.) 1913 (февр.—авг.) Посв. Юр. Юркуну
2. Холм вдали (12 стих.) 1912 (май — окт.)
3. Остановка (8 стих.) 1912—1913
4. Отдых (9 стих.) 1912—1913
5. Ночные разговоры (4 стих.) 1913. Посв. Юр. Юркуну

Часть 2-я

1. Разные стихотворения (15 стих.)
2. Бисерные кошельки (3 стих.) 1912 (сент.)
3. Песенки (8 стих.) 1912—1913

Часть 3-я Новый Ролла, 1908—1910

Неоконченный роман в отрывках

- 1-я глава. Венеция (8 стих.)
- 2-я глава. Корфу (8 стих.)
- 3-я глава. Опять Венеция (12 стих.)
- 4-я глава. Париж (8 стих.)

М. Кузмин

Новый Ролла. Поэма

Иллюстрации Н. Сапунова (готовится) изд. «Альциона»
Реклама в 3-м томе рассказов М. Кузмина (1913)

М. Кузмин

Вожатый. Стихи.

Спб. «Прометей» 1918. 76 с. + 4 нenum.

М. Кузмин

Вожатый. «Прометей». Спб. 1918. 76 с.

I. Плод зреет

1. Мы в слепоте как будто не знаем
2. Под вечер выдь в луга поемные
3. Господь, я вижу, я недостойн
4. Какая-то лень недели кроет
5. Не знаешь, как выразить неж-
ность!
6. Находит странное молчание

II. Вина иголки

1. Вина весеннего иголки
2. Еще нежней, еще прелестней
3. Такие дни — счастливейшие
даты
4. Просохшая земля
5. Солнце — бык
6. В такую ночь

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 7. Какая белизна и краткий сон! | 4. Псковский август |
| 8. Красное солнце в окно ударило | 5. Хлыстовская |
| 9. Я вижу, в дворовом окошке | 7. Летний сад |
| III.*** | 8. К Дебюсси |
| 1. Среди ночных и долгих бдений | 9. Зима |
| 2. Озерный ветер пронзителен | |
| 3. Что со мною? Я немею | |
| 4. Вдали поет волторна | V. Виденья |
| 5. Душа, я горем не терзаем | 1. Виденье мною овладело |
| 6. Все дни у Бога хороши | 2. Серая реет птица |
| IV. Русский рай | 3. Колдовство |
| 1. Все тот же сон | 4. Пейзаж Гогэна |
| 2. Я знаю все не понаслышке | 5. Римский отрывок |
| 3. Царевич Димитрий | 6. Враждебное море |

М. Кузмин *В Библ. Ленина есть лишь «Арх(ивный) экз(емпляр)»*
 Двум. Стихи. Обложка раб. Е. Туровой
 Петрогр. (1918) изд. «Сегодня»
 стр. 4 нenum., с обложк.

М. Кузминъ

Занавешанные картинки

Рисунки Владимира Милашевского

Амстердам, 1920. 36 с. нenum.

Отпечатано 307 экз. нумерованных I—VII и 1—300

I Атенáис

(у меня № 25) II. Купанье

III. Мими-собачка

IV. Кларнетист

V. Али

VI. Размышления Луки

VII. Начало повести

Нездешние вечера. Стихи 1914—1920.

Обложка и марки работы М. В. Добужинского

Петербург. Петрополис. 1921, тир. 1000 экз. 135 с.

1. Лодка в небе (13 стих.)
2. Фузий в блюдечке (11 стих.)
3. Дни и лица (6 стих.)
4. Св. Георгий (Кантата) А. М. Кожебаткину
5. София (8 стих.) Глостические стихотворения (1917—1918)
6. Стихи об Италии (11 стих.) (1919—1920) Т. М. Персиц
7. Сны (4 стих.)

(Купил в Лавке, 6.IX.63)*

* Имеется в виду Книжная лавка писателей в Москве.

М. Кузмин Марка и обложка работы А. Я. Головина

Эхо. Стихи. Изд. «Картонный домик»

Петербург 1921. 1000 экз. 64 с.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| I. Предчувствия | III. Чужая поэма |
| 1. Предчувствию душа моя внемли | IV. Кукольная эстрада |
| 2. Несовершенство мира | 1. Пролог |
| 3. Странничный вечер | 2. Эпилог |
| 4. Иосиф | 3. Ноктюрн* |
| II. Лики | 4. Симонетта** |
| 1. Два старца | 5. Романс*** |
| 2. Елка | 6. Лорд Грегори**** |
| 3. Пасха | 7. Китайские песенки: |
| 4. Успенье | Колыбельная, После свидания, |
| 5. Страстной поток | Совершеннолетие |
| 6. Лепный Лемуру | |

* Из пьесы «Все довольны»

** Из пьесы «Волшебная груша»

*** Из пьесы «Муж, вор и любовник, каких не бывает»

**** Из пьесы «Самое ветренное место в Англии»

М. Кузмин

Александрийские песни.

Петербург, «Прометей» (без года).

(книга появилась в продаже в марте 1921 г.)

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Вступление (3 стих.) | стр. 71 + 9 нум. |
| 2. Любовь (7 стих.) | |
| 3. Она (6 стих.) | |
| 4. Мудрость (5 стих.) | |
| 5. Отрывки (5 стих.) | |
| 6. Канобские песенки (5 стих.) | |
| 7. Заключение (1 стих.) | |

Об «Александрийских песнях»

А. Квятковский. Русский свободный стих

«Вопросы литературы», № 12.1963. С. 94, 96, 98, 99

Об «Александрийских песнях»

В. Жирмунский. Композиция лирических

стихотворений. П. 1921. С. 87—95 и далее

М. Кузмин

Параболы. Стихи 1921—1922 г.

К-во «Academia», Москва

Петрогр. 1923. Петрополис

М. Кузмин (№ 765)*

Новый Гуль

Academia, 1924
(1000 экз., из коих 950 номерованных и 50 именных)

Посвящается Л. Р.

Вступление

Февраль — март 1924 г. (11 стихотв.)

Обложка работы Д. И. Митрохина

М. Кузмин

Форель разбивает лед. Стихи 1925—1928 г.

Изд-во писателей в Ленинграде, 1929 г.
тир. 2000. 96 с., 2 р.

1. Форель разбивает лед (А. Д. Радловой) 1-е и 2-е вступления, 12 ударов, заключение (1927)
2. Панорама с выносками (1926) — 8 стихотв.
3. Северный веер (Юр. Юркуну) 1925 — 7 стихотв.
4. Пальцы дней (О. Черемшановой) 1925 — 7 стихотв.
5. Для Августа (С. В. Демьянову) 1927 — 10 стихотв.
6. Лазарь (К. П. Покровскому) 1928 — 13 стихотв.

М. Кузмин

Яблочный сад (стихи) (готовится)

М. Кузмин

История рыцаря д'Алесслио, драматическая поэма
в 11 картинах

«Зеленый сборник», 1905. Спб. из-во «Щелканово»

см. Блок, *С<обр.> с<оч.>* т. 5, с. 184, 586

М. Кузмин

Три пьесы

Спб. 1907 (конфискованы) 74 с.

Отпечатана в мае 1907 г. Тов-м «Вольная типография»

Виньетки сделаны К. Сомовым. Обложка составлена по образцам 18-го века

М. Кузмин

Комедии.

Спб. 1909. Изд-во «Оры» 126 с. + VI, 85 к.

Приложение: Песня Филострата, музыка автора

1. Комедия о Евдокии из Гелиопоса, или: Обращенная куртизанка (1907, март)
2. Комедия о Алексее человеке Божьем, или: Потерянный и обретенный сын (IV—VII 1907)
3. Комедия о Мартиниане (VII. 1907—1908. V)

* Т. е. у А. А. Тишкова — № 765 из номерованных экземпляров.

- «Куранты любви» «Скорпион». М. 1910. 3 р.
 слова и музыка М. Кузмина. 30 с. текста, 70 с. нот:
 с 8 рисунками С. Судейкина и Н. Феофилактова
 обложка Н. Феофилактова
- М. Кузмин
 «Голландка Лиза». Комедия
 Альманах «Северные цветы» на 1911 год
- М. Кузмин (по МБА* не выдается)
 Венецианские безумцы. Комедия
 изд. Альциона
 Рисунки С. Судейкина
 Москва. А. М. Кожебаткин и В. В. Блинов
 1915. 77 с. + 19 рис.
- М. Кузмин. Венецианские безумцы. Комедия
 Москва, 1915. Издание А. М. Кожебаткина и В. В. Блинова
 (77 с., большой формат)
 555 экз. (500 номеров. I—500 и I—LV. Экз. рим-
 ской нумерации в прод(ажу) не поступ(ают))
 Поставлена в первый раз 23 февр. 1914 г.
 в доме Е. П. и В. В. Носовых
 Постановка П. Ф. Шарова Музыка М. А. Кузмина
 Худ. часть С. Ю. Судейкина Хореогр. часть М. М. Мордкина
- М. Кузмин
 Вторник Мэри. Петрополис, Петроград. 1921. 36 с.
 Представление в трех частях для кукол живых и деревянных
 Обложка и марка работы М. В. Добужинского
 тир. 1000 экз.
 из них 65 именных и
 100 пронумерованных в
 продажу не поступают
- Отпечатано в мае 1921 г.*
- М. Кузмин
 Два брата, или Счастливый день
 Китайская драма в 3 действиях с прологом. 1918
 Рецензия: А. Блок. Собр. соч. Т. 6, с. 314—15
 Пьеса была поставлена в 1918 г. А. А. Брянцевым в Передвижном обще-
 доступном театре
- М. Кузмин (Музыка)
 Куранты любви (Скорпион) 3 р.
 Духовные стихи (Циммерман) 4 р.
 С Волги (Циммерман) 2 р.

* МБА — межбиблиотечный абонемент.

Песенки (Давингоф) 50 к.
Гавот и Павана (Циммерман) 50 к.

М. Кузмин (Музыка)

Духовные стихи
Обложка В. Белкина. Изд. Циммерман. Спб. 1912. 4 р.

М. Кузмин (Музыка)

Песенки
Изд. Давингофа. Спб. 1913. 60 к.

М. Кузмин (Музыка)

Гавот и Павана
Изд. Циммерман. Спб. 1913. 50 к.

М. Кузмин (Музыка)

С Волги
Изд. Циммерман (печатается)

М. Кузмин

Лесок. Лирическая поэма для музыки с объяснительной прозой в трех частях

Для издательства «Неопалимая купина» отпечатано в январе 1922 г. 26-й гос. типогр.

Графические украшения исполнил художник

Александр Божерянов
Петроград. 500 экз. 35 с.

*Фронтиспис — портрет-силуэт
(купил в Лавке, б. IX. 63)*

М. Кузмин

Лесок. Лирическая поэма для музыки с объяснительной прозой в 3-х ч.

Петрогр. 1922. Петрополис
рис. М. Добужинского

М. Кузмин Письма о русской поэзии

Евгений Геркен. Лирические стихотвор. Казань. 1909.

Николай Катанский. Созвездие лиры. Спб. 1910

В. Гофман. Искус(ство). Спб. 1910

Из Мюссе и Верлена. Перев(од) Зинаиды Ц.

(Аполлон, № 4, 1910. янв. с. 62—64)

«Полная невежественность, безмерная пошлость, явная недобросовестность в обращении с чужим имуществом, удивительная беспардонность — суть наиболее мягкие выражения, какие мы можем употребить, говоря о переводах Зинаиды Ц. Мы выражаемся мягко, не забывая ни минуты, что перевод(чик) — дама».*

* Цитата выписана на карточке А. Тишковым.

- М. Кузмин** Под рубрикой: «Петербургские театры»
 О «Путанице» (Ю. Беляева). Цезарь и Клеопатра (Шоу)
 «Аполлон» (№ 4, янв. 1910. с. 78—79)
 «Путаницу» — хвалит, «Цезаря» ругает.
- М. К.**
 рецензия «Стихотворения Максим. Волошина. 1900—1910»,
 изд-во «Гриф», М. 1910
 (Аполлон, № 7, апр. 1910. с. <37—8>)
- М. Кузмин**
 (без заглавия) о сборнике З. Н. Гиппиус
 «Собрание стихов» кн. 2-я 1910. М. «Мусагет»
 Аполлон № 8. май — июнь, 1910. С. 62—63
 Хвалит стихи: «Мудрость», «Перебой», «Три формы сонета»,
 «Малинки», «Дьяволенок», «Женское»
- М. Кузмин**
 Предисловие к книге О. Черемшановой «Склеп»
 (стихи)
 Л-д. 1925 г. с. 3—8
- Юр. Юркун** (ему М. К. посвятил многие стихи)
 Шведские перчатки (Роман)
 Предисловие М. Кузина
 Изд. М. И. Семенова. Петроград, 1915 (?)
- Барбэ Д'Оревилли**
 Дендизм и Джордж Брёммель
 Вступительная статья М. Кузина
 Перевод М. А. Петровского. М. 1912. Книго<издательств>во
 «Альциона»
- М. Кузмин** О прекрасной ясности (заметки о прозе)
 Аполлон. № 4, 1910, янв. с. 5—10
*Стилизация — это перенесение своего замысла в известную эпоху и
 облечение его в точную литературную форму данного времени. При-
 меры: «Trois contes» Флобера (но не Саламбо, не св. Антоний). Песнь
 торжествующей любви Тургенева. Лекции Лескова, Огн(енный) ангел
 Брюсова*
- М. Кузмин.** Заметки о русской беллетристике
 А. Вознесенский. Хохот. Пьеса в 4-х действ.
 Алекс. Струве. Над морем. Драма в 4-х действ.
 Влад. Гордин. Одинокие люди. Спб. 1910
 Е. Милицына. Рассказы. т. I и II. Спб. 1910
 Б. Журавлев. Хозяева. Спб. 1910 } о Горьком («Лето»)
 27 и 28 сборн. «Знамя». Спб. 1910 } — отзыв отрицат.
 хвалит «Исповедь»

Вас. Немирович-Данченко. Ранние огни. М. 1910
Альманах «Звуки жизни». Спб.
Библиотека «Гонг»

(Аполлон, № 4, янв. 1910, с. 64—67).

М. Кузмин. Заметки о русской беллетристике

Аполлон. 1910. № 8 — май — июнь. с. 55—59

Альм. «Шиповник» кн. 12. 1910

С. Городецкий. Повести и рассказы. кн. 2-я, Спб. 1910

С. Семенов-Волжский. Рассказы. т. 1. 1910, Спб.

Ив. Рукавишников. Diarium. 1910

Л. Алин. Осенняя сказка. 1910. Спб. изд. «Папирус»

В. Башкин. Рассказы. т. III. 1910

На рассвете. худ. сборн. кн. I. 1910 (Казань)

Ручьи. Сборн. 1910. Спб. «Земля»

«Русская мысль» 1910 (янв. — май)

Мы сожалеем только, что плод любви несчастной почтенного автора к стихотворству не остался тайным.

М. Кузмин

Условности

Статьи об искусстве

Петрогр. 1923

«...очаровательный, покоровивший всех, балет

М. Кузмина выкупил все недочеты первых двух отделений. Ведринская была незабываемо мила в роли Пипет, куколкой из сахарного царства».

С. Ауслендер. Вечер М. А. Ведринской

«Аполлон» апр. 1910. № 7, с. 52.

(домашний спектакль)

Ярошевский Л.

Песнь песней. В стихотворном переложении

с библейского текста, под ред. и

с предисл. М. Кузмина

2-е изд., Одесса, 1919

М. Кузмин

Переводы из П. Мериме (Academia, 1934, т. 1—3)

Локис. (т. 2)

Переулоч госпожи Лукреции (т. 2)

Голубая комната (т. 2)

Джуман (т. 2)

Хроника времен Карла IX (т. 1)

Жемчужина Толедо (т. 1)

Испанские ведьмы (т. 1)

Федерико (т. 1)

Двойная ошибка (т. 1)

Партия в триктрак (1)

Анри де Ренье

Семь портретов. Перевод М. Кузмина.

На 2-ом титуле: **Семь любовных портретов**

Рисунки Д. Митрохина. (фронтисписы и концовки) «Петрополис», Петербург, 1921.

327 экз. 25 именных, раскрашенных от руки,
27 именных, нумерованных от I—XXVII.
и 275 нумерованных от I до 275.

Божественная телом Люцинда

Альберта с милым ликом

Эльвира, что опускает взгляд

Полина с сердцем нежным

Ребеночек Жюли

Алина

Кориза

М. Кузмин

Переводы из Анри де Ренье (Academia, в 19 томах)

По прихоти короля. Роман (т. 4)

Встречи г. де Брео. Роман (т. 7)

Живое прошлое. Роман (т. 8)

Амфисбена. Роман (т. 12) — (видел 13.X.63. ч. 7. 50)

М. Кузмин (перевод)

«Король Лир» В. Шекспира в «Избранных
драмах» под ред. акад. М. Н. Розанова 1934 г.

Жестокая критика этого перевода К. Чуковским.

«Новый «Король Лир» в книге К. Чуковского «Искусство перевода», «Academia», 1935. с. 128—135 и далее: 140, 141, 142, 167, 175 «Перлы алмазов». «Главное, к чему стремится переводчик, это не точность, а краткость» (с. 131), «...ему нужно какой угодно ценой сохранить то же количество строк, что и в подлиннике. Это для него самое главное» (133). В подлиннике 2170 стихов и в переводе 2170 (141)

«Вследствие чересчур педантического соблюдения эквиритмии, в переводах М. Кузмина речь становится иногда слишком отрывистой и эллиптической, синтаксис — тяжелым и в некоторых случаях даже непонятным». «Безусловной творческой неудачей покойного поэта является его перевод «Короля Лира». Зато его переводы комедий («Бесплодные усилия любви», «Много шуму попусту» и др.) очень хороши переданной в них остротой и свежестью шекспировского языка».

А. А. Смирнов. Советские переводы Шекспира. с. 168

сборник «Шекспир», 1939. Искус(ство)

Перевод: Шекспир. Много шуму попусту

Перевод: Шекспир. Бесплодные усилия любви

Перевод: Шекспир. Два веронца.

Об этом переводе в статье А. А. Смирнова. Советские

переводы Шекспира в сборнике «Шекспир»,
1939 г. Искусство. с. 181—82

М. Кузмин. Переводы

А. Франс. Маленький Пьер. Изд. «Полярная звезда»
—»— Юность Пьера —»— —»—

Перевод

Боккачио. Фиаметта
Изд. Корнфельд. Спб. 1812. 2 р.

Переводы

Боккачио. Фиаметта (изд. Корнфельда) 2 р.
Аполлодор. Библиотека (печатается)

Перевод

Апулей. Золотой осел
Метаморфозы в одиннадцати книгах
Перевод с латинского М. Кузмина под ред. С. Маркиша
и А. Сыркина
Гослитиздат 1956. тир. 75 тыс.

цветные иллюстрации Б. Дехтерева

«Весы» изд. Скорпион

1904—1909. Произведения М. Кузмина

Альманах «Стрелец» первый. 1915 г.

Куски из «Облака в штанах», Блок, Кузмин,
Каменский, Ремизов, статья Кульбина
Издан Кульбин

(В. Шкловский. О Маяковском, с. 263)

«Петербургские вечера» (Литературные сборники)

Книга II. М. Кузмин. Капитанские часы

Книга III. —»— Стихи, рассказ «Шар на клумбе»

«Петрополис»

«Завтра» — Литературно-критические сборники, под ред.
Е. Замятина, М. Кузмина, М. Лозинского. № 1

Е. Нагродская. (М. Кузмин посв. ей вступление к «Глинян(ым)

голуб(кам)»

изд. М. И. Семенова

Злые духи (Ром.)

Рассказы в сб. Петерб. вечера

Гнев Диониса 9 изд.

Романтическое приключение (1)

Аня и др. расск. 5 изд.

Сны (2)

У бронзовой двери (ром.)

Сандрильона (3)

Борьба микробов 3 изд.

Мальчик из цирка (4)

Белая колоннада (роман)

День и ночь

Стихи

Тамплиеры (роман)

Письма к принцессе

«Зеленая птичка» журнал театрального искусства

под ред. Я. Н. Блоха, А. А. Гвоздева и М. А. Кузмина
№ 1. Петербург, 1922. Изд-во Петрополис

Юрий Анненков

«Портреты», текст Евг. Замятина, М. Кузмина
и М. Бабенчикова
Изд-во Петрополис, Петербург, 1922

А. Блок. О драме (§ 4 о Кузмине, о «Комедии о Евдокии»
и др.) С(обр). с(оч.), т. 5, с. 182—186

М. К. Портреты

1. Работы К. Сомова (Аполлон, № 7, апр. 1910)
2. Работы А. Головина (был на выставке, устроенной
С. Маковским в Париже, в 1910 г. в числе других
русских картин в Bernheim Jeune et C^{ie})
3. Портрет-силуэт. Фронтиспис в книге «Лесок»
*Сатириконец Ре-Ми (Ремизов) рисовал
портреты писателей, в том числе и М. Кузмина
с цветком в руке*

(Аполлон, № 4, янв. 1910, с. 56)

Вяч. Иванов. «О прозе Михаила Кузмина»

Аполлон. № 7. 1910. апр(ель), с. 46—51

(Повесть об Элевсине, Подвиги Александра, Нежный Иосиф)

А. Блок.

Юбилейное приветствие М. Кузмину

Собр. соч. т. 6, с. 439

(29.IX.1920)

Речь, произнесенная от имени Всероссийского союза поэтов в Доме искусств на вечере, посвященная 50-летию со дня рождения М. А. К. Выступали также: Н. Гумилев, Б. М. Эйхенбаум, В. Чудовский, С. М. Алянский, В. Б. Шкловский, В. Хавин. Стихи читали артисты В. и М. Хортик, А. И. Мозжухин, О. А. Глебова-Судейкина. В конце вечера с чтением своих стихов выступил М. Кузмин

*ошибка: 45 лет**

Б. Пастернак. Воздушные пути. ГИХЛ. 1933 г.

Рассказ «Воздушные пути». Посвящение:

Михаилу Алексеевичу Кузьмину.

(с. 78—89)

*Под таким же названием выходил в Нью-Йорке альманах.
В 1961 году был издан выпуск 2-й.*

* А. А. Тишков подчеркивает ошибку или опечатку в посвящении.

В. Брюсов.

сонет «М. А. Кузмину»
«Весы», № 2, 1909 г.
О Кузмине.

(«Комедии», «Сети»)

К. Чуковский. Веселое кладбище
Собр. соч. т. 6, с. 274—277.

В хрестоматии для пединститутов «Русская литература XX века»
(дореволюционный период)

Составил Н. А. Трифонов. Учпедгиз, М. 1962 г.

есть вещи М. Кузмина:

О прекрасной ясности (отрывки из статьи)

Мои предки

Где слог найду...

Из «Алекс (андрейских) песен»:

Нас было четыре сестры...

Солнце, солнце...

Есть небольшая справка, в которой говорится:

«М. К. — поэт, беллетрист, композитор, один из представителей той
линии буржуазно-демократической литературы, для которой характерно
стилизаторство, безыдейность, эротика, культ чувственных наслаждений».

ЦГАЛИ

(1875—1936)

Фонд 232, ед. хр. 865; 1888—1935 гг. Кузмин М.

Рукописи: Новый Ролла. Роман (1908—10)

Талый след. Роман (1917)

История рыцаря д'Алесслио. Пьеса (1903)

Два брата. Пьеса (1918)

Стихотворения (1916—1928)

Переводы: Шекспира, Гёте, Мериме, Р. Роллана и др.

Музыкальные произвед. (1890—1907)

(рукописи): Дневники (1903—1929)

Записные книжки с заметками к

переводам, записям обрядов и др.

Всего 136 рукописей

Ф. 232

Письма М. Кузмина к разным лицам.

Всего 5 адр. 8 писем (1919—1928)

Ф. 232. Письма к М. Кузмину:

П. Н. Ариан. 3 (1927 и т. д.)

М. А. Балакирева (1895)

В. Я. Брюсова (1906)

Л. Я. Гуревич. 2 (1908)

Н. А. Крашенинникова (б. д.)

И. П. Пономарькова.

16 (1918—1934)

М. Г. Савиной. 2 (1889)

М. И. Семевского (1888)

М. В. Сабашникова. 2 (1911—12)

Вл. С. Соловьева (1916)

- Б. М. Кузнецова. 34 (1920—27) А. Н. Чеботаревской.
 Н. Натан-Горской. 14 (1922—27) 6 (1907—1917)
 В. Ф. Нувеля. 29 (1906—1911) Г. В. Чичерина. 524 (1889—1926)
 К. П. Победоносцева. Г. И. Чулкова. 3 (1907)
 2 (1889—1901) редакций, газет и журн., театров
 и др. всего около 450 корр.
 1752 п(исьма)

ЦГАЛИ

- Фонд: К.1068 Коллекция П. Я. Заволокина
 содержит автобиографию М. Кузмина (1915)
 (всего 174 автобиогр.)

ЦГАЛИ

- Фонд 130. Гершензон Мих. Осип. (1869—1925)
 содержит рукопись стихотв. М. Кузмина «Куда,
 золотое время, летишь?» (1910)

ЦГАЛИ

- Фонд 543 Цензор Дм. Мих. (1879—1948)
 Содержит автограф стихотв. М. Кузмина «Жара»

ЦГАЛИ

- Фонд 1384. Слезкин Юр. Львович (1885—1947)
 Содержит: письмо М. Кузмина к Сл. (1910)
 рукопись стихотв. М. Кузмина «Поэту города не надо»

ЦГАЛИ

- Фонд 1220. Городецкий С. М.
 содержит письмо М. Кузмина (1920 г.) к Город.
 Перевод «Витязя в тигровой шкуре» (рукопись)

ЦГАЛИ

- Фонд 55. Блок А. А.
 содержит 7 писем М. Кузмина к Блоку (1906—09)

ЦГАЛИ

- Фонд 959. Музыкальное издательство
 ед. хр. 8; 1910—13 г. Ю. Г. Циммермана (Петербург)
 Нотные рукописи, сб. песен «С Волги», «Духовные
 стихи», сл. и музыка М. А. Кузмина (1913)

ЦГАЛИ

- Фонд 871. Старк Э. А.
 Старк Эдуард Александрович (1874—1942) — историк
 театра, журналист
 содержит письмо М. Кузмина (1923)

ЦГАЛИ

Фонд 781. Нувель В. Ф.

(Нувель Вальтер Федорович (1871—?) чиновник особых поручений (по имп. театрам) канцелярии Министерства императорского Двора) содержит 37 писем М. А. Кузмина (1902—1909 г.г.)

ЦГАЛИ

Фонд 998. Мейерхольд В. Э.

содержит 36 писем М. А. Кузмина (1906—1933) дарственную надпись Кузмина на книге (1910) рукопись водевиля М. Кузмина «Танцмейстер и Хервстрит» (1917 г.)

Публикация Н. ТИШКОВОЙ

Евгений Иванов
ДЕРЕВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ, БАЗАРЫ
И КАБАКИ

Глава из книги «Красное крылатое слово»

Публикация

Зинаиды Милютиной

Предлагаемый читателю «Альманаха библиофила» очерк из большого труда Евгения Платоновича Иванова (1884—1967) «Красное крылатое слово» рисует быт старой России. Автор публикуемых воспоминаний более пятидесяти лет занимался собиранием речевого фольклора. Им были записаны образцы народных речений самых различных слоев населения города и деревни. Первая часть работы о быте, речи и юморе старой Москвы была опубликована в книге «Меткое московское слово» в 1982 году.

Е. П. Иванов редактировал и издавал журнал «Театр в карикатурах» (1913—1914), где впервые было напечатано стихотворение Владимира Маяковского «Скрипка и немножко нервно». Он дружил с Маяковским, Горьким, Александром Грином, встречался с Куприным, Гиляровским, Смирновым-Сокольским, вместе с Луначарским создал сценарий «Разум огненный», был первым председателем ЦК Союза работников искусств (РАБИС). Изогиз выпустил его книгу-альбом «Русский народный лубок». Много лет Иванов был государственным экспертом по антикварным предметам при Всесоюзной торговой палате.

Прежняя народная ярмарка была сборищем всякого рода людей, искавших прибыли от продажи или покупки предметов — как продукции края, так и ввозного материала.

Начиналась ярмарка обычно прибытием уполномоченных крупных торговых фирм, разбивавших розничные палатки для разнообразного товара и как бы группировавших возле себя уездных продавцов собственной продукции.

Крестьяне тянулись со своими подводами за несколько дней до начала торга и, остановившись на традиционном постоялом дворе или при трактире, начинали разузнавать о ценах и спросе на свои материалы. Здесь неизбежно появлялся маклер, заинтересованный какими-либо фирмами в снижении покупных рыночных цен, и убеждал доверчивых провинциальных слушателей, что предложение на тот или иной товар превышает спрос, что главные крупные запасы уже сделаны и что ярмарка запаздывает с своей наличностью, которая давно «принята» прямо с мест. Если съезжались несколько крупных предприятий, производивших скучку местной продукции, то уполномоченные их часто устраивали между собой соглашение или, как называли его на специальном языке, «вязку» для нормирования цен и сохранения общей коммерческой договоренности. Поэтому мелкий продавец ставился ловкими финансистами в безвыходное положение и обязывался — или принять искусственные курсы рынка, или возвращаться с непроданной продукцией обратно. Мука, крупа, масло, яйца, ткани, шерсть, лес, лен, мясо и прочее были главными товарами уездной ярмарки, основными ее предметами,

на которых строился многомиллионный оборот. Приобретая сырье по дешевым ценам, крупный предприниматель при посредстве своей временной оптово-розничной палатки продавал уездному населению изделия обычно по повышенным ценам.

С бытовой стороны народные уездные ярмарки отличались особой типичностью. Многочисленные парусиновые палатки, широко открытые двери солидных, густо припудренных лабазов, длинные вереницы возов с отпряженными, повернутыми в оглоблях, жующими из грязных торб овес лошадьми, с коробами и ларьками мелких продавцов, с тучами сытых голубей и светливых, хитрых воробьев издали просились на полотно художника. А над самой ярмаркой стоял особый гул спорящих, зазывающих, протестующих и соглашающихся голосов. Костюмы — один пестрее другого: женские «поньки», яркие платки, отделанные красной шерстью, «навершники», «китайники», «сороки», «очипки», «столбушцы», блестящие «ожерелки», «гагатки», различных мест и покроя зипуны, чапаны, худые сермяги, поярковые высокие шляпы, поддевки со сборами и кустиками, лаковые, небрежно запыленные сапоги рядом с аккуратно обмотанными онучами и свежими, проложенными соломой лаптями и, наконец, застегнутые до ворота, длиннополые «сертуки» мясистых купцов с прикрытым картузом масляным пробором и подстриженными «в скобку» волосами. И где-нибудь на самом конце торжища глухо бьет барабан, хрипит и взвизгивает шарманка, стучит бубен и вертится разукрашенная блестящими карусель. А рядом с ней досчатый балаган — с раусными* клоунами, шпагоглотателями, чудесами пяти частей света и гигантской вывеской, возвещающей о демонстрации «человека-великана» и «настоящей живой морской сирены». От забот ли, горестей, неудач или радостей ярмарочного дня доверчивый россиянин шел туда веселиться и удивляться по-своему, унося обратно трескучий шум в ушах и искреннюю уверенность в подлинности всех виденных чудес. Если от ярмарки зависело его материальное благополучие, то от зрелища — настроение.

Там, где была ярмарка, всегда прилаживались к ней, помимо карусели и балагана, обязательный, хотя бы временный, трактир с подачей чая, питейный дом, постоялый и конный дворы. Без них не начиналось ни одно настоящее торжище. Где была торговля, там непременно пились хмельные напитки, а где шумели от них головы, там требовались веселье и удовольствие до отказа. Этот принцип охранялся многолетней традицией и привычкой. А если по каким-либо причинам не приезжали или не открывались официальные, снабженные патентом питейные дома и трактиры, то быстро организовывались «разгульные дворы» с широкой продажей браги вместо пива и домашней перегонки спирта.

Трактир с его обязательным чаем был собственно «клубом» для всех деятелей ярмарки и, сообразно этому, делился на две половины:

* Т. е. специалистами по зазыму. «Раус» (от немецкого *graus*) — название балкончика над входом в балаган, где появлялись клоуны и иные артисты балагана для приглашения публики на представление.

на «дворянскую» — благородную и на «общую» — для людей мелких по положению и капиталу. В первой особенно любили прихлебывать с блюдечка бесконечный чай купцы и заезжие землевладельцы, во второй теснились крестьяне, служащие и лошадиники.

В чистой половине стены обычно были оклеены обоями и украшены невероятными картинками или пестрыми лубками. Подавали в ней чай в миниатюрных, похожих на круглую скорлупу, расписных чашках, неизбежно фирмы Попова, Гарднера, Корнилова или Кузнецова, всегда на жестяном подносе с изображением обмахивающегося веером китайца, идущего на всех парах парохода, по борту которого бросалась в глаза надпись: «Чай Седакова», с уютной полоскательницей и двумя пузатыми, выхоленными чайниками, значительно разнившимися друг от друга по величине.

В «общей» стены не блистали чистотой и заботой о них хозяина. Подавали: стаканы с треснутыми фарфоровыми блюдцами на ржавом подносе, величавые чайники со следами инвалидности в виде приделанных оловянных носиков и с подобранный крышкой.

«Дворянская» была «судилищем» ярмарочного торга, в ней решались все крупные сделки, устанавливались розничные и оптовые цены и происходила пресловутая «вязка». «Общая» была камерой для ожидающих судебного решения.

В первой сидели крупные покупатели, во второй — мелкие поставщики... Сам трактирщик, на народном языке всегда именовавшийся кабатчиком или целовальником, играл немалую роль — иногда не только в оборотах ярмарки, но и в жизни окрестных деревень. Он соединял в себе и перепродавца, и маклера, и ростовщика. Обладая громадным знакомством в среде купечества, хорошо угадывая настроение рынка, он умел и скупить вовремя у нуждающихся товар, перепродать его, выменять, согласовать и уладить какую-либо сделку и дать в рост, взаимнообразно, под обеспечение, известную сумму денег. Иногда такой оседлый провинциальный трактирщик держал в долговой кабале весь земледельческий округ, простирая руку даже и на состоятельный городской класс. Продукты деревни часто хранились в его складах, как залог за забранные у него в разное время и обложенные процентами ссуды. Иногда же за вино принимались в виде платы холсты, мешки, продукты, скотина. Связи с местными властями, заинтересованными подарками трактирщика, делали его мало уязвимым для суда и закона.

Не лишнюю интереса картину представлял в глубокую старину кабак или «колокол», как его называли за форму натянутой над ним, вместо крыши, парусины. Ставился он на больших дорогах, базарах, гуляньях и в иных местах массового скопления народа, ведя широкую торговлю так называемым «пенником» или водкой плохого качества. Продажа шла штофами, полуштофами или просто распивочно — «крючком». Последний представлял собой медную, внушительного вида чарку, прикрепленную к длинному железному пруту. Хозяин «колокола», получив плату, черпал напиток прямо из бочонка и подносил на протянутой руке

ко рту потребителя. Около «колокола» толпились сомнительного вида люди, которые покупали, подобно некоторым бродячим торговцам типа офеней, за ничтожную плату всякие предметы одеяния, хозяйственный инвентарь, продукты, живность и пр. Проезжая мимо и случайно останавливаясь для покупки одного «крючка», крестьянин впадал в окружение разгульных кабацких завсегдатаев, которые неоднократно убеждали его повторить выпитую порцию, спаивали, скупали все, что могли, просто обворовывали и, разоренного, отпускали на все четыре стороны.

Недаром говорит народная песня:

Мать сынку говаривала:
 «Не седлай коня долга вечера,
 Не съезжай с двора
 Кы полуночи
 Не заезживай
 Во царев кабак».
 Ой, сын матери
 Не послушался!
 Он седлал коня
 Долга вечера
 И с двора съезжал
 Кы полуночи;
 Заезживал
 Во царев кабак...
 Поднесли младцу
 Вина чару,
 Па берегам чары
 Пела бьет,
 Посерёд чары
 Люта змия живет...

Или:

По утрам я, хмель, расходился,
 В молодецкие головы забирался,
 Не в одном мужике разыгрался...
 Отсмею ж я крестьянину насмешку:
 Уж я сделаю его сатанюю...
 Я ударю его в тын головою...

Из сказанного видно, что кабак играл не последнюю роль в жизни русского крестьянина, он был постоянным нарушителем уклада его нормальной жизни, иногда залогодержателем и взыскателем незаконных процентов по ссудам, которых в другом месте получить было нельзя. Офени, разные торгаши, кабатчик со своим «пенником» и многоликое купечество держали прочно в своих руках деревню с ее потребностями и продукцией.

В народе говаривали так:

Целовальник-кабатчик лихим делам повадчик: ты ему бычка, а он три пятачка, все прочее за ним. Понятие имей -- вином да дымом, подождь, отдадим! За шапку — штоф, за рубаху — штоф, за сибирку — штоф, за кошку — штоф, за собаку — штоф, а за жену злую — два сучка, три крючка и пол цыганского пятачка! Погулял ярманку веселó, а дома кисло: печка не топлена, скотина не кормлена, ржу сорока склевала, солому галка в гнездо стаскала, а круп поскребышки склевали воробушки. Жена из заклада злая, теща — лютая, а ты сам с сухим усам. А люди-то добрые обычай блудут — вечерять по дворам идут! Соседска жена ряженá как сатана: троешовник в три хвата, под ним два халата, похóлстник белóй, шугай парчевóй, пушки в ушах, бареты на ногах. А моя баба завидается, как дьявол лается! Ты не лайся, не бранись, со мной по правде обойдись, а не то иди на постой — со двора долой, а я нехорóшее дело задумаю, да тебя впутаю!

(Записано в 1914 году в Москве от старой нищей Марфы Степановны Бакалягиной, происходящей из мещан гор. Калязина.)

Спасаясь от задолженности торговцам, доставлявшим с большой наживой фабрично-заводское производство, крестьянин, как мог, конкурировал с ними. Домашнее сукно из шерстяной пряжи от собственной скотины, а из него — зипуны, троешовники, троеклинки, серяшки, сукмянники, или сермяги, сибирки, чуйки, нагольные полушубки, «толупы», или тулупы, армяки, или халаты, балахоны, женские шубники, похóлстники, то есть холстинные рубахи из «отбитого» и «оттрепанного» домашним способом льна, полушубки примитивной, но прочной «дубки», валеные сапоги из овечьей стрижки, такие же, различной формы, шляпы, плетеные из березового лыка лапти, тканые «на стане» женские паневы и юбки, набитые деревянной формой сарафаны, ситешники, или кундыши, красики, холодники, шушпаны, моренники, выбегайки, шугаи, или душегрейки, пушки — вместо серег, из обкатанного в пшеничной муке нежного гусяного «подперка», косицы — для той же цели, из весенних перьев селезня, говорят за изобретательную вековую борьбу крестьянина с крупным торговцем. Видимо, даже незначительные частные кредиты, оказывавшиеся деревне, не были для нее выгодны и совершенно поглощали ее незначительный бюджет, если от дедовских и более давних времен сохранял землелашец производственное искусство своей первичной культуры. И в своем сопротивлении натиску торговцев народ выявлял высокохудожественные творческие силы: произведения его «стана» и выработка его рук ставятся как образец.

Иногда художники-прикладники только подражают ему или основывают свое творчество на его принципах. Воронежские, рязанские, тамбовские, смоленские, архангельские и вологодские домашние народные ткани, украинские плахты вызывают восторг искренних ценителей и специалистов. Запад старается подражать им в системе выработки и рисунка... А резьба по дереву: тябла, карнизы, наличники окон, столы и настольная утварь — в какой студии художник не старается иметь их?.. А общий колорит и

примитивно прекрасная форма всего одеяния, особенно женского, разве она не удивляет и не заставляет поражаться своеобразному вкусу?!

Помимо странствующих и временно устраивавшихся на месте торговцев были в деревне, конечно, и оседлые, имевшие постоянные лавки, склады и амбары. Наличие таких лавочников обуславливалось центральностью поселка, скрещиванием в нем нескольких дорог или особой скученностью населения. Хорошо памятливы эти торговые заведения: небольшая пристройка к жилому дому, большей частью с крытым, на обтесанных столбиках крыльцом, несколькими ступенями к нему и повешенной вкривь вывесочкой, извещающей о том, что здесь помещается «бакалейных и прочих товаров» торговля такого-то. По бокам надписи — непрременное предметное изображение: или сахарной головы, наполовину обернутой в синюю бумагу, или связки кренделей на крученой мочальной веревке, или китайской закрытой вазы с лаконической надписью — «чай».

А внутри чего-чего только нет: колесная мазь в деревянном ящичке рядом с караваем хлеба, «голички» из желтой кожи, серные спички в бумажной обертке, тощая, скорчившаяся в судорогах вобла на ляжке, ржавая копченая, покрытая каким-то особым налетом сырости колбаса, «отварные» баранки, связка кнутов, деревянные фонари, лапти, сыромятные ремни, мешок с подсолнухами и белыми семенами тыквы, жестяная банка «моипасье» фабрики Ландрин, несколько ситцевых платков, «штука» кумача, вянувший зеленый лук, сахар и крупа в ящиках — соседи бидона с керосином, ведра дегтя и бочонка постного масла, серые и синие с крапинками бруски мыла; наконец, в самодельном, с замазанной красной замазкой стеклом наличнике: цветистые конфеты, впавшая от времени в чахотку, усохшая белая ломтиками пастила и несколько экземпляров сахарных лепешечек, к которым приклеен бумажный циферблат. Последнее считалось шикарным подарком для детворы и называлось «часами».

И благодаря пестроте товарного ассортимента в помещении стоял всегда какой-то особый запах, шибко ударявший посетителя в нос.

За прилавком, выпачканным всеми предметами продажи, обязательно находился толстый хозяин, наряженный в рубаху навыпуск, «личные», «бутылками» сапоги и жилет с массивной серебряной цепью, на которой висели медный жетон, ключик для заводки часов и металлическая кисточка. Голова солидного представителя лавки была густо смазана домашним «скоромным» маслом, расчесана на гладкий пробор, заканчивавшийся сзади стрижкой под скобку и бритой упитанной шеей.

Хозяин стоял всегда около весов, спускавшихся железными цепями от коромысла, прикрепленного на костыле потолочной перекладины.

В зимнее время картину дополняла хлопающая дверь, к которой вместо груза привязывалась на веревке, продетой в колесный блок, бутылка с песком. Скользя взад и вперед, она издавала странный, жалобно-вопросительный звук.

Это был своего рода частный банк, в который собирались трудовые крестьянские деньги, обогащавшие ловкого предпринимателя-лавочника.

При лавке бывал иной раз «постоялый двор для проезжающих»,

чайная или, в зависимости от спроса, полный трактир с «поджарками» из выставленных на «катке» дешевого качества продуктов: вареной «щекотины», «рубца», воловьей печени, сердца, легких и свиной головы. В самом же помещении находился еще у прилавка косой ларь с овсом и железной мерой. В отличие от лавки предприятие это щеголяло особой вывеской, на которой рисовались чайные чашки с самоваром, внушительные чайники, муромские «с анисом» калачи и бутылки вина.

«Трактир с продажей крепких напитков распивочно и на вынос и подачей чая парами» — так повествовала надпись.

По образцу отмеченных народной песней «царевых кабаков» эти заведения спаивали народ, многих разоряли и держали в тяжелой нужде.

«Рубль на рубль нажить мне много, — говорил такой торговец, — дайте копеечку на копеечку!»

И действительно, брались эти копеечки со всего, с чего только можно: с незамысловатого товара, со случайно купленной крестьянской продукции и как проценты по залогам, ибо владелец такого учреждения неизменно занимался ростовщичеством, приемом закладов за выпитое вино, заменял собой даже кассу ссуд.

Касаясь бытовых наблюдений, хочется указать, что очень любопытной фигурой в трактире являлся буфетчик, раздававший «услужившим» посуду, сыпавший заварки чая, иногда старого, «спитого», пережаривавшегося по несколько раз и вновь употреблявшегося с примесью соды «для колера» и т. д. Ловкость этих людей была удивительная. Сидя, в поисках бытовых записей, в каком-то трактире у Калужской заставы в Москве, я был поражен кипучей деятельностью маленького тщедушного человечка, стоявшего у посудного шкафа. Трудно описать все его движения.

«Пять пар, с шипцами, порция сахару!» — быстро выкрикивал подбегавший официант.

Мгновение — и правая рука буфетчика тремя пальцами руки захватывала пять сложенных одна на другую чашек и по-жонглерски бросала на разбросанные веерообразно по подносу левой рукой блюдца.

Происходило это так быстро и с таким верным расчетом, что чашки, попав от толчка на свое привычное место, как бы сами по себе поворачивались на нем несколько раз без участия их поразительного командира. Далее на блюдечко прыгал белоснежный пиленый сахар, шуршал сыпанный в надеждающее помещение чай и стучало железо не отодвинутого, а отброшенного на соответствующую дистанцию подноса.

За этой процедурой следовала вторая, третья, четвертая и без конца, не задерживая ни на одно мгновение быстрой и хлопотливой людской очереди. Я невольно загорелся интересом зрителя, наблюдавшего аттракцион.

— Что это, ярославский у вас буфетчик? — задал я вопрос несшему на кончиках пальцев руки поднос чуть ли не с дюжиной приборов официанту. Он остановился и, по привычке, ухарски помахав над головами посетителей сомнительного цвета салфеткой, зажатой в левой руке, добродушно ответил:

— Никак нет-с, не наш, случайный... олонецкий... вытегорский. Из камзольных воров-с! Зовут Павел Иваныч!

В объяснение этой реплики приходится сказать, что про вытегорцев существует следующий анекдот: во время пребывания Петра I в этом крае местные жители ночью украли у него царскую одежду. Петр, встав поутру и заметив пропажу, будто бы воскликнул: «Вытегоры воры!» Это и послужило поводом для создания прозвища вытегорцев — «камзольники».

Помимо буфетчика встречались иногда незабываемые типовые фигуры и среди «услугающих», или официантов, «народного ресторана». Всех их не перечислишь. Я знал, например, с рассказов отца, одного хилого, с рябым от ослы лицом, старичка из «чайного отделения» — «трактирного низка», то есть помещения в первом, нижнем этаже, который всерьез обижался, если в его присутствии произносили: «Комара убил на своем носу, на сосну, Москву смотреть лазивши!»

Старичок бросал дело и уходил, отказываясь работать при столе, откуда слышалась эта незатейливая шутка.

В анекдотических повествованиях о «пошехонцах» можно найти пояснение этой фразы. Надо предполагать, что искренне обижавшийся на курьезный пустяк по случайному совпадению был из Пошехонии.

Про «половых», «услугающих» или «официантов» острили, намекая на их умение пользоваться доверчивостью посетителей при подаче счета:

«Семь рюмочек — семь гривен-с, — рубль семь гривен; два пирожка, да полпорции судачка — рубль двадцать, — пять рублей двадцать! Се-ляночка, да соляночка — рубль с гривной-с. Рюмочка, да трубочка — двадцать пять копеек-с, всего — восемь рублей двадцать пять копеек-с. Пять копеек вашей милости почтенья, да тридцать ярославцам за услу-женье... Пожалуйте красненькую*, в расчете и будем!»

(По народному лубку издания П. Н. Шаранова, Москва, 1858 г.)

А вот как отмечали самого трактирщика народные меткие словца:

«Трактир-кабачок, с забавой старичок, трактирщик-починщик, всем повинщик: борода в оклад, животик в наряд, да цепь к часам, да табак к усам. Да на лапнице перстень, да в кармане кистень!»

(Из произведений скоморохов Т. Е. Клюкина и П. И. Кошеварова «Акулька Игуменья»)

«У лесочка, у бродяжного кусточка постоялый двор Яшки — медной пряжки. Вор Яшка первейший-первый, из солдат беглый, ходил по-бур-лацки, говорил по-хохлацки, бросил дом отецкий, да баржи переграбил много купецкой. От того и богатеем стал. Складно да ладно, с пашпортой облыжной — пришел на плес нижний, пришел на Ознобишинский вал и землю себе сарендовал.

Эх, Яшка, Яшка — медная пряжка, рожа облюдская, квитанция рекрутская! Овес да сенцо, долговское вино, от щец сгустки, да квашеной капуста. Стал проклятуций, богатущий!»

(Из произведения скоморохов Т. Е. Клюкина и П. И. Кошеварова «Постоящик Яшка»)

* Красненькая — кредитный билет в 10 рублей красного цвета.

«Целовальничек, лавочник, зарбчна душа, закладна казна, загребу́ща рука, винна душа, с анбаром изба! Душу из народа нашего деревенского винищем вымотал, порты выпытал, кулачищем шею выботал, мир поел, да сам погорел. Накопил добро, а впрок не пошло! Копеечки мирские поверил жене — Анфиске-белене. Белена-то выросла, ай зацвела, зацвела на все цветы — выморила ягодны кусты, подбила яблоньку в ненастный день, сдвинула с корня старый пень. Пень-то сдвинула, силушка в нем сгнула! Андрюшка, деревенский парень-брат, взял беленку в обхват, обратал, окрутил, с собой рядышком садил. Андрюшка твой пьяница, бывало, к тебе таскается, полштоф за рубашку сменявал — лаляся, тебе в ножки кланялся. А ноне, лавочник-целовальничек, он Анфиски твоей милвальничек, наш Андрюшка-потаскушка... Ты подь домой — спит в постели пуховой, похрапывает, твоей мощной позвякивает! А твоя белена — Анфиска-жена на полу сложенá!»

(Записано от упоминавшейся М. С. Бакалягиной)

«Взял целовальник в залог ниток клубок, а я за ниточку потянул, клубочек весь размотнул. Взял целовальник мой анбар, а я не дал, увез хлебушко на базар — к саням крепко привязал. Ходил целовальник промеж саней, да не взять ему моих пожитей. А зависть-то крепко берет, что хлебушко в руки не идет. А я свой анбар продам, а ему не отдам! Выручу деняжки, сварю дома бражки! Не продам — не проси, свое только брюхо прочь уноси, крапивная душа, репейное семя, чтоб тебя псы съели! Первой обидчик, в бедноту прикидчик!»

(Записано в 1913 году от неизвестного крестьянина в г. Арзамасе)

Не трудно, собственно, определить, кто главным образом совершал денежные обороты с хлебом — помещик или крестьянин. Первый торговал значительными излишками, являвшимися результатом крупного землевладения и возможности использования большого количества дешевых рабочих рук. Второй продавал зерновой прирост личного «душевного надела». Но в общей массе рынок все же считался с многочисленностью крестьянина.

Помещик продавал хлеб, обмолоченным или на корню, по справочным ценам целого ряда банков и всегда в первую очередь. Крестьянин в этом отношении попадал на второй план, знал и руководствовался только ценами своей, ближайшей к нему ярмарки или базара. Отсутствие же путей сообщений, главным образом железнодорожных веток, лишило его возможности переброски зерна в другие, более выгодные для него, пункты.

Как я уже говорил, второстепенное положение крестьянина в деле рыночного сбыта прекрасно учитывал барышник, составлявший на мелкой единичной ссыпке крупные партии. Распространяя слух о том, что требуемые для него запасы зерна уже сделаны, он влиял этим на психологию неграмотного землепашца, а затем «гнул цену» едва ли не половинную против цен и норм частной биржи. Во всяком случае, основная покупная смета его всегда учитывала хлебные урожаи и посевы только помещицких

полей, наделы же деревни составляли к расчету лишь то дополнение, отсутствие которого не могло отразиться на предполагаемом обороте.

Как велики были доходы хлебных торговцев от операций с зерном, можно судить по одному тому, что занимавшиеся этим коммерческие фирмы расценивались как предприятия с миллионными капиталами. И почти все они начинали с самого незначительного — с оборота. На Волге до сих пор хорошо известны и памятны имена мукомолов и зерновиков Бугрова, Башкирова и Блинова, имевших для подвоза к своим складам закупленного товара буксирные пароходы и многочисленные баржи.

Мне вспоминаются типичные бытовые сцены, которые приходилось наблюдать на привинциальных зерновых базарах.

...Выстроит в длинные ряды крестьяне свои телеги, набитые кулями овса, ржи и пшеницы, и с раннего утра готовятся к встрече с покупателем, о приезде которого известно еще накануне. Да и не один, а целых два покупателя приехали на базар: на постоялом дворе в «чистой половине» «стоят» приказчики двух конкурирующих фирм — Бугрова и Башкирова. Несколько часов, как живет рынок своей жизнью, а они еще и не думали выходить.

— Должно быть, закупились, цен давать не будут? — решают крестьяне.

Через большой промежуток времени оба приехавшие появляются, однако, на улице и, на виду у ожидающих крестьян-возовиков, идут к толпе, заполняющей торговую площадку. Только проходят, не взглянув, мимо хлебного ряда и устремляются к лошадиникам. Долго ходят среди них и внимательно осматривают животных.

— Коренника нового для шерабана бугровский себе торгует, — разносится слух среди крестьян.

И действительно, неизбежные в таких случаях цыгане впрягают в разбитый экипаж матерого серого с крапинами жеребца и начинают лихо прокатывать на нем обоих приказчиков. А время идет... Скоро полдень. Мучники не торопятся.

— Должно, и впрямь домой с хлебáми поедем, — решают окончательно мужики, — ишь ты — и рыло от добра воротят, лошадьми занялись. Купили, говорят, под Саратовом большую партию, в баржах места нет, пять расшив принимали!

А тут и мелкий, путешествующий за приказчиками маклер. Ходит, вздыхает и сердечно сочувствует их положению.

— Вам бы, — говорит он, — недели две назад к пристаням выехать надо было, не дожидаться базара-то. Вот и пропустили сроки, теперь берегите себе, да по фунтам продавайте. И не сметливый же вы народ! В Саратове их прямо сгрудили, урожай там очень велик, и цены друг перед дружкой сбиди. Закупились, им теперь что, начихать на ваши возы-то. Ишь руки назад заложили и прогуливаются! — кончает сочувствующий «добряк», кивая в сторону приказчиков.

А последние наездились на лошадях и, обсыпанные мелкой дорожной пылью, направляются уже обратно на постоялый.

— Иван Тимофеевич, — кидаются вдруг крестьяне к маклеру, — да будь отцом родным, поговори ты им — окаянным, давеча своего мы засылали, так и речи не повели. Заладили — не надо, да и только!..

— Ну, вот так бы вчера мне сказали, — сразу оживляется маклер. — По пятаку комиссии с пуда дадите, попробую, — только дело трудное — не знаю как... Правда, оба они ко мне люди уважительные, да ссыпать-то некуда...

— Возьми, Иван Тимофеевич, по «семишнику», право деньги нужны!

— Говорю по пятаку: стоило бы из-за чего с порядочными людьми разговор вести, — настойчиво машет рукой маклер.

— Ну, возьми три, да не таянись — к избе подходят, проклятые! — гудит хор голосов.

На трех копейках заканчивают. Маклер быстро поворачивается и идет в сторону приказчиков. У самых дверей он нагоняет их и на глазах у крестьян, сняв почтительно с лотной головы картуз, продолжительно говорит с ними.

— Уломает, право слово уломает, ишь как вертится, картуз с головы инда сбросил, — решают крестьяне, — такому ловкачу и трех не жалко!..

А если послушать разговор приказчиков с маклером, то станет совсем ясной вся инсценировка.

— Боятся, что уедете, очень боятся, я их до смерти напугал, — подобострастно не говорит, а льет слова Иван Тимофеевич. Цену сейчас возьмут самую невеликую. А купить как раз вовремя, не пустой же «посуде» и расшивам* в Нижний подниматься, команда каждый день хлеба, расхода на содержание требует. И урожая лишнего нигде нет. Вы, — говорит он «бугровскому», — Конон Ильич, овсеца заберите, а вы, Захар Семенович, — обращается к «башкировскому», — зернецо ржаное. И никому не обидно. Погрузитесь — и с богом, а я сегодня же вперед... Только уж по пяти-то на покупной рубль, по прошлогодним условиям, сообразуйте. С них же на меня натянете... Пойдите еще малую толику, будто кураживаетесь, и пойдём ссыпать!..

Действительно, приказчики, слитые соглашением конкуренты, куражатся для виду и, по причине слабых закупок по всему урожайному маршруту, охотно очищают мужицкие возы. Последние радуются искренне половинным ценам. И надо видеть, как тонко разыгрывают свои роли покупатели, как, нехотя, двигаются они меж возов, «прокидывают» на руке зерно, пробуют его, просыпают через пальцы, солидно качают головой на назначаемые цены и решительно говорят свои... И как при этом отстаивают мужицкие интересы маклер, вступая даже в пререкания с приказчиками из-за качества и достоинства товара. Прощаясь же и получая многочисленные трехкопеечники, он не удерживается от хвастовства:

— Эх, черти, крышка бы вам со всем добром вашим без Ивана Тимофеевича! А еще торговались.

* Речные баржи.

Мне пришлось слышать и записать следующую скоморошину-рассказ, имевшую отношение к торговцу хлебом. (Упомянутая в ней фамилия Бугров принадлежит, как упомянуто выше, одному из крупнейших в Поволжье мукомолов, миллионеру-старообрядцу.)

«Где собаки лают, галки летают, да кошки подышают, двадцать две девки старых души чистые спасают. Хмелек дуб повил, все желуди сронил. На овражине, где ручей камешки моет, Бугров скит божий строит. Прости господи, да господи прости, раскольничьи грехи отпусти! А грехов множество, — не снести их на ноженьках... Кого мало поприжали, а кого с воли — того и поболее... А хоромины — понимай дело так: много чистым делом не наживешь, темнить надо, глаза затирать, след порошить, да с начальниками грешить. Чтонибудь да не так, с чего бы скиты строить, пароходы в расшивахи пускать, квас хлебный пить, да белугой закусывать? Лоцман у нас был один, на «Работках» жил, так тот службой гнушался, никак в сезон не шел, Кашиниха его сама упрасивала, и то никак, а в рейс катал, коли товар на штрахе в обчестве и вредность ему причинить желание какое там есть. Иль на косу посадить — с течью в корме, или вовсе — на дно пустить. Деньги за это брал хорошие! А хозяин тут как тут! Ай-ай-ай, убытки, разорился человек и бац штрафовку в банк. Не иху, а другую такую баржу на косе мы с Тимофеем Егорычем сами видели. Посередь мешков с зерном чехонь ныряет, да уклеики. Эх, хороший человек, что ценой прижимали — это впрямь, на прижиме и добрели, а вот про иное это только слыхивали. Да и не к чему! Они сами нам раз рубль подарили медью, в грамотку закатанный. Солидный человек, кафтан у него вроде барского платья, в двурядь пуговицы. Наше дело маленькое — цветочек аленький, затоптал его невароком и кончено. Хлебца да мучка — животу вспучка, как ни бай! Один пирог подадут через порог, а Бугров — сто рыбных пирогов. Это нам, а почище кто — сколько? Почище кто — тому много небось? А сколько самой-то, к слову тоже, Пашеньке под Балахной, у ней дом двойной, в двести икон с окладами моленная, душа нетленная, до, коли сам туды скочует, — дня два спрочует не без подарка. А к Марише под Семеновом не пролезет и кот, — двое на запоре ворот! У матери еще Анфисы — все шубы лисьи. Много их... Только Пашенька одна — вроде первья! Эх, забредешь с языком арестантским куда не надобно, прости господи, да люди, помолчи, добрые! С вина-то я больно плохо говариваю!»

(Запись рассказа скомороха П. И. Кошеварова. Рассказ этот представляет часть обычной беседы.)

ИЗ ПЕРЕПИСКИ В. Я. БРЮСОВА С М. Н. СЕМЕНОВЫМ

К истории издания журнала «Весы»

Предисловие и публикация Наталии Шик

«Журнал «Весы»... есть событие для меня, а по-моему, и вообще событие...» — так писал Александр Блок 26 августа 1907 года Г. И. Чулкову. Эта оценка дана поэтом, не только не являвшимся сотрудником журнала, но не единожды подвергавшимся критике на его страницах.

История создания главного органа русского символизма — журнала «Весы» достаточно хорошо известна. Ей посвящено уже несколько серьезных исследований. Однако некоторые архивные документы, ранее не публиковавшиеся, позволяют лучше познать некоторые секреты редакционной «кухни» журнала.

Исследователи уже отмечали роль В. Я. Брюсова в создании «Весов» и в руководстве журналом. Человек целеустремленный, пристрастный, независимый, он был твердо убежден, что все бразды правления должны находиться в одних руках. «Мое твердое убеждение, что делать что-либо возможно только по личной воле, а все коллегиальное, все, где будто бы работают сразу многие, — есть самообман», — писал он в ноябре 1902 года Г. И. Чулкову, обсуждая план будущего журнала.

Но все же нашлись смельчаки, не побоявшиеся спорить с В. Я. Брюсовым, высказывать собственное мнение, давать советы. Одним из самых ярых «спорщиков» оказался Михаил Николаевич Семенов — литератор, переводчик, один из пайщиков «Весов». Он хорошо чувствовал книгу, знал издательское дело, и его переписка с поэтом — главным редактором журнала — представляет сегодня значительный интерес.

При подготовке публикации использованы материалы рукописного отдела ГБЛ ф. 386, карт. 72, ед. хр. 32, карт. 102, ед. хр. 31.

13 декабря, 1903, Флоренция

Дорогой Валерий Яковлевич!

...С удовольствием прочел о возобновлении «Нового Пути», но боюсь, что это отвлечет от «Весов» много статей. Употребите всю редакторскую практику, чтобы удержать хотя бы москвичей, особенно не упускайте Андрея Белого. Впрочем, мне кажется, что «Весам» с первого же номера надо придать вид журнала критико-библиографического, который не должен конкурировать с «Новым Путем» и «Миром искусства» — его задача скорее добавлять их. Этого можно достигнуть: во-первых, больше характерных критических статей, а во-вторых — помещением возможно большего количества рецензий. Книги должны рецензироваться немедленно по появлении их на книжном рынке. Впрочем, я напрасно пишу Вам обо всем этом, все это Вы знаете лучше меня. Но я очень прошу Вас прислать мне первые корректуры, и особенно корректуру обложки. Может быть, я сделаю какие-либо указания практического характера. Необходимо на обложке первого же номера объявить, что контора редакции принимает заказы на книги русские и иностранные, подписку на газеты и журналы (но только без рассрочки подписной платы), что легко может исполнить Василий (служащий конторы. — *Н. Ш.*), а в результате получается лиш-

ний источник для покрытия расходов на содержание конторы. Сергей (С. А. Поляков. — *Н. Ш.*) Вам, вероятно, уже передал, что я был у Викторова¹, который согласился переводить Ницше, но хотел бы взять «lenseit» и «Gottesdämmerung»². Для философской редакции он предлагает Айхенвальда. Между прочим, есть небольшая статья о Гейне, не пойдет ли она для «Весов». К Иванову заехать не мог, поэтому напишите ему относительно «Трагедии» и просите писать о французских изданиях. Засадите также Юргиса (Ю. Балтрушайтиса. — *Н. Ш.*). Сам я жду из Германии книг, и как только получу их — напишу несколько рецензий. У немцев вышло много очень интересного. Пусть Сергей напишет Гамсуну, может быть, он согласится корреспондировать из Норвегии...

25.X.1904, Paris (Passy)

Дорогой Валерий Яковлевич!

...Получил вчера корреспонденцию от Папини из Италии³ и вчера же начал ее переводить, закончу дней в 10. Она очень недурна, в ней говорится о современных итальянских поэтах и о театре. К ноябрьской книжке я пришло библиографии (перечень) немецких, французских, итальянских книг. Пожалуйста, напишите последний срок доставления таких библиографий, которые я думаю составлять систематически... Надеюсь, что «Весы» не объявят Балтрушайтиса итальянским корреспондентом и тем не лишат себя такого прекрасного корреспондента, как Папини? (<...>)

1904, 15/28 ноября, Париж

Дорогой Валерий Яковлевич!

...Посылаю Вам наконец новые книги, собирался послать раньше, но задержал Ван Бевер⁴ с французским отделом. Я собрал также и русские книги, но думаю, что не полно, поэтому добавьте. Карточки подобраны по алфавиту, но не перемечены, что Вы сделаете уже сами после добавлений в русском отделе. На сей раз список выйдет немного больше, чем будет в следующий раз, — это оттого, что первый раз немецкий отдел я сокращаю до последней возможности, но у немцев выходит столько интересных книг, что набралось порядочно.

Убедительно прошу Вас ничего из иностранных отделов не сокращать. Повторяю — я придаю таким перечням громадное значение. Это придаст «Весам» серьезную библиографическую ценность.

В карточном приложении руководство для Василия Ивановича. Напишите, когда получите. Также интересно знать, вовремя ли? чтобы установить точный срок на будущее получение рукописи. Конечно, я не могу себе представить, что Вы не напечатаете этот список в ноябрьской книжке. Рукопись будет у Вас 19-го. Вами же назначен последний срок 20-го. От Реми де Гурмона⁵ ответ получен, он соглашается сотрудничать в «Весак», но просит меня зайти к нему для переговоров. На днях зайду. В декабрьской книжке я пришло к 10-му несколько заметок о иностран-

ных журналах — в хронику — и новые книги к 15-му. Думаю, что Вы захотите выпустить декабрьскую книжку до Рождества, поэтому пришлите список раньше <...>

Париж, 23 ноября 1904 г.

Дорогой Валерий Яковлевич!

Вы, конечно, уже получили корреспонденцию Папини. Ее необходимо напечатать в ноябре. Она мне не нравится за свой стиль наивно-детский, также длинна, хотя местами я ее посокрашал. Я переводил дословно, спеша и не заботясь о языке, поэтому при чтении, пожалуйста, исправьте слог. Я уже написал Папини, чтобы следующую корреспонденцию он писал иначе, так как в «Leonard» он пишет совершенно другим языком, здесь же он, очевидно, хотел облегчить переводческую работу. Дня через 3—4 я вышлю Вам перечень книг. Я совершенно с Вами не согласен относительно бесполезности этих перечней. Я уверен, что «Весы» приобретут многих лишних подписчиков, когда будут помещаться систематически такие перечни, прямо-таки необходимые для всякого, кто занимается литературой, историей искусств и пр. Подробный перечень не дает ни один из русских журналов.

Кроме того, необходимо поднять отдел рецензий, который до сего времени велся из рук вон плохо. Почти совершенно не было по истории литературы, искусств, музыки и пр. Я, со своей стороны, сделаю все, что возможно. Вместе с корреспонденцией послал Вам рецензию Волошина на книгу Пеладона, кроме того, он сам Вам послал рецензию на новую книгу Реми де Гурмона. <...> Я намеревался на днях ехать к Дальгейму (мужу «голубой птицы вечности»), который известен как музыкальный критик⁶. О русской музыке им издана книга в «Mercure de France». О том, чтобы пригласить его в «Весы» в качестве музыкального критика, я думаю, что и для «Весов» его сотрудничество было бы более желательным, чем Гохшюлера⁷, которому я, конечно, ничего не сказал. <...> Последний номер «Весов», как я уже писал Вам, нами получен. Обложка произвела самое удручающее впечатление на одних из патриотических соображений и решительно на всех — из эстетических⁸. Как Вы могли допустить такую оплошность. Ведь это верх безобразия, это даже на детскую рождественскую книжку не годно. Тут уже ходит версия, что редакция «Весов» поместила этот рисунок из ненависти к японцам, из желания показать, насколько скверно их искусство. Такими промахами можно окончательно отогнать от себя всех одаренных хотя бы небольшим художественным чутьем. Прямо стыдно показать европейцу этот номер «Весов». И так жаль — он так хорош содержанием. Очень хороша статья «Копье Афины». Впрочем, я уже ее раньше знал — это результат наших жевевских бесед о «Весах» (статья написана Вяч. Ивановым. — *Н. Ш.*). Спасибо Вам за отповедь Семенова⁹ — за заметку о Художественном театре. О Семенове мы переведем на французский язык и пошлем в редакцию «Mercure de France». Говорил ли Вам Сергей, что у меня есть воз-

возможность достать статью Реми де Гурмона — о французском романе. Получу от него ответ на днях.

Пора делать объявление о подписке на 1905 год. В этих объявлениях необходимо печатать предполагаемое содержание 1905 года.

Мы наметили здесь следующие статьи:

Ван Беве — Жюль Ренар,

М. Волошин — Марсель Шваб,

М. Семенов — Станислав Пшебышевский,

М. Волошин — Перламутровая раковина.

Статьи различных лиц о следующих художниках: Вюйаре, Бонаре, Ван Гог, Гюсмаре, Моро, Сливинском, Якунчиковой, Фогелере. Если к этому списку присоединить еще имена Метерлинка, Гофмансталя, Гюисманса, Реми де Гурмона и всех тех, которые сотрудничают теперь, и список тех рукописей, которые, наверное, имеются в портфеле редакции, то объявление получится превосходное...

Вчера получил второй том Пшебышевского и облегченно вздохнул, он был без отвратительного рисунка Феофилактова. «Силы земли» переведены очень хорошо. (...) Почему в последнее время в «Весах» не появляется Бальмонт? Всеми силами держите Андрея Белого. (...)

19 ноября, 1904 г.

Дорогой Михаил Николаевич!

Спасибо за длинные письма. Так как они посвящены исключительно делам, позвольте и мне отвечать Вам деловым письмом.

Никто лучше меня не знает существенных недостатков «Весов». Вряд ли вообще можно издавать журнал безуказно. Срок выхода книги: когда она готова, журнал должен быть готов к сроку. Дьявольская разница! Но «Весь», кроме того, гнетет отсутствие работников, т. е. единомышленников. Вы взяли за работу в ноябре. Юргис от своей отказался в марте. Летние книжки целиком писались, редактировались и корректировались одним мною. Не желал бы я повторять этого опыта!

Однако, признавая всякие промахи в «Весах», с теми, какие указываете Вы, я не согласен вовсе. Начну с пресловутой японской обложки. Вы, конечно, думаете, что, найдя ее «бестактной», Вы высказали для нас что-либо неожиданное. Как только возникла у нас с Серг. Алекс. мысль сделать «японский» №, мы спросили себя, не будет ли это бестактно. И, рассудив, решили, что нет. «Весь» должны среди двух партий японофильствующих либералов и японофильствующих консерваторов занять особое место. «Весь» должны во дни, когда разожглись политические страсти, с мужеством, беспристрастием исповедать свое преклонение перед японским рисунком. Дело «Весов» руководить вкусом публики, а не потворствовать ее инстинктам, иначе надо было пригласить не Валерия Брюсова и Андрея Белого, а Максима Великолепного и Леонида 1-го. Что касается художественного достоинства рисунка на обложке, то спор об этом мог бы стать на твердой почве, если б мы с Вами изучали спе-

циально японское искусство, но оба мы в нем вовсе не знатоки. Вам рисунок не нравится, мне — нравится, и дело кончено. Но два объективных и бесспорных достоинства у него есть: 1. это не копия с копии, а воспроизведение оригинала акварели; 2. он бесплатный.

Перехожу к отделу рецензий. Что Вы пишете, будто он «велся из рук вон плохо», это, конечно, пустяки. Нельзя этого говорить об отделе, где печатались статьи К. Бальмонта, Андрея Белого, Вяч. Иванова, Ренэ Гиля, мои. Правда то, что много интересных книг в нем не разбиралось, но, во-первых, интересных книг во всей Европе выходит за месяц так много, что рецензии на них заполнили бы весь наш №, а во-вторых, надо выбрать одно: или интересные рецензии, или рецензии о интересных книгах. Я окончательно решил выбрать первое и раскаиваюсь, что давал в «Весах» место разным пустословиям В. Саводника (В.С.), В. Каллаша (В.К.) и других, ради того только, что о таких-то изданиях надо было иметь отзыв. Рецензия сама по себе должна представлять ценность и интерес, — только тогда ей место в «Весах». А добиться, чтобы о всех стоящих внимания книгах были истинно ценные рецензии, безусловно, невозможно. Впрочем, можно, начиная с будущего года, разделить наш отдел «О книгах» на две половины: в первой сообщать настоящие «рецензии», т. е. маленькие критические статьи, а во второй — сухие библиографические заметки, по возможности о всем любопытном.

Теперь о перечнях книг. Если Вы на них так настаиваете, — я, конечно, Вам уступаю. Но полученный от Вас список для ноября займет не менее 5 страниц. Страницы эти должны быть отняты у текста, так как бумаги у нас ограниченное количество и делать № свыше 5 листов мы не можем, бумаги неостанет на декабрь. Печатать тем шрифтом, какой предлагаете Вы, нельзя: его нет у Василия Ивановича. Я говорил ему с весны, чтобы он купил иностранного петита, но у него, видимо, нет денег на покупку, и по сей день мои настояния бесплодны. Итак придется печатать нашим обычным боргезом. Поэтому нельзя будет печатать в две колонки (да и вообще при размере набора, какой в «Весах», эти две колонки были бы очень некрасивы и отнимали бы только лишнее место), не будем и начинать каждую книгу с новой строки — по крайней мере в ноябре и декабре (надо же соблюдать традиции журнала). — В январе можно это изменить. Перечни надо мне иметь не 20 числа (если я так написал, это нелепая описка), а 12-го, ибо весь №-то выходит тотчас после 20-го и если Вы получаете его за границей много позже, то лишь по вине экспедиции да почты. А перечень для декабрьской книжки мне надо иметь не позже 10-го, так как около 29-го типография уже перестает работать, а наш декабрь непременно должен быть сдан до рождества!

Имена Метерлинка, Реми де Гурмона, Гофмансталя, разумеется, соблазнительны, но не надо забывать, что «Весы» — русский журнал, что хорошего будет, если большая половина наших статей будет переводами, хотя бы и с рукописей! И так мы уже отягчены Гилем (статья его о французской поэзии за 1904 год может идти только в январе, декабрь уже весь намечен). Что же касается того, чтобы печатать в объявлениях

эти имена (т. е. Метерлинка и др.), то как же можно это делать, не имея их формального согласия? Может получиться европейский скандал. Не думаю также, чтобы кого из подписчиков соблазнило упоминание в объявлении такой статьи «Ван Беве — Жюль Ренар», это для русских читателей два совершенно пустые X-а. Обычные же объявления на 905 г. уже делаем. Дальнейша, разумеется, пригласите. Свои рецензии для декабря присылайте как можно скорее.

Привет Анне Александровне.

Искренне Ваш

Валерий Брюсов.

20 ноября, 1904 г.

Дорогой Михаил Николаевич!

Сегодня сдан в набор Ваш перечень книг. Как я Вам уже писал, Ваше желание исполнено в том, что он будет напечатан целиком, и не исполнено в том, что он будет напечатан не так, как Вы бы того желали, последнее ввиду технических затруднений. Список составлен не совсем удовлетворительно. Прежде всего, во всякой библиографической работе важно единство плана, которого нет в Вашем перечне. Надо выработать единый порядок, в котором и писать титульные слова книги, одинаково как русской, так и иноязычной. Я предлагаю следующий общепотребительный:

1. Фамилия автора, буквы его имени.
2. Заглавие книги.
3. Имя редактора, указание на рисунки, е. с.
4. Издатель.
5. Место издания.
6. Цена.

Между тем в Вашем перечне при русских книгах нигде не указано место издания, что очень затрудняет, например, покупку книги; при итальянских нигде не указана цена; при французских цена поставлена раньше имени издателя, тогда как при русских после; при немецких опять нет цены. Затем итальянский перечень отличается излишней краткостью, часто не знаешь, что это — роман или стихи; немецкий, напротив, излишней болтливостью — рассказывается чуть ли не все содержание книги, перечисляются все чины и звания автора, редактора и издателя и т. д. Далеко не единообразен и выбор книг. В немецком, например, отделе избыточно богат перечень художественной литературы, во французском не указаны здесь даже такие издания, как: «G. Lafenestre «Les primitifs Bruges» et a Paris, о котором теперь твердят все журналы (я его вставил в перечень).

В отделе французских романов упомянуты почему-то два романа г-жи Жиль, писательницы, конечно, не стоящей никакого внимания, а если перечислять все романы, выходящие по-французски, придется ими одними занять целую страницу в месяц, зато не упомянуты новые романы Кл. Анэ или Рене Базена — писателей тоже неважных, но ничем не

уступающих Жиль. В немецком перечне новый перевод «Войны и мира» не упомянут и т. д. Необходимо, чтобы Вы дали Вашим сотрудникам более точные указания, более определенную программу работы. <...>

Это письмо Брюсова не закончено и не было отправлено.

В своем следующем письме к Брюсову Семенов вновь возвращается к вопросу о возмущившей его японской обложке журнала.

Париж, 15 декабря, 1904

Дорогой Валерий Яковлевич!

...Перехожу к неприятному вопросу об японской обложке. Лишь Ваш ответ на мои замечания заставляет меня снова начать разговор о ней. Я писал Вам, что рисунок скверен; Вы пишете, что он Вам нравится и *дело кончено*, а так кончать никаких дел нельзя. Вы пишете, что мы с Вами японского искусства не изучали, а потому спор о художественной стороне рисунка не имеет почвы и сейчас же добавляете: «„Весь“ должны руководить вкусом публики». Как же, помещая этот рисунок, Вы рассчитываете руководить вкусом публики, когда сами только что сказали, что 1) в вопросе о художественных достоинствах рисунка у Вас нет почвы под ногами и 2) что Вы ничего не понимаете в японском искусстве, в то же время «преклоняетесь» перед этим японским рисунком. Я же думаю, что для того, чтобы руководить вкусами публики и судить о художественных достоинствах рисунка, будь он японский, арабский или современный, необходимо прежде всего самому иметь этот вкус, а не ссылаться на то, что не изучал того или иного искусства. У кого нет вкуса и понимания рисунка, так изучай, не изучай — все равно из этого ничего не получится. Теперь об «изучавших». Волошин, например, изучавший японское искусство, говорит то же самое, что и я, т. е., что рисунок ниже всякой критики. Говорил я здесь и с другими, *серьезно изучавшими* японское искусство. Они также находят, что рисунок ниже всякой критики, что рисунок скверный, даже говорят, что он не японский, а *китайский*. Так что если этому поверить, то выходит какая-то чепуха: редакция «Весов» заняла особое место по японскому вопросу среди русских японствующих либералов и японофильствующих консерваторов (я не выдумываю: все это у Вас написано!) и китайским рисунком! Указанные Вами достоинства этого рисунка: 1) с оригинала, а не копии с копии и 2) бесплатный — наивны. Таких безымянных оригиналов можно набрать в здешних художественных лавках, где продаются также китайские сервизы и разные обезьяны, сколько угодно — цена им от 3 до 5 фр. Не отсюда ли ведет свое начало и тот рисунок? Бесплатность же не может быть достоинством в вопросах художественных!

...Теперь о «Весах» вообще. Когда мы с Сергеем Александровичем мечтали о «Весах», то мне это будущее издание представлялось в совершенно ином виде, чем оно вышло теперь. Я хотел создать подспорье «Скорпиону». Русское «Literarische Echo» — подспорье издательской фирмы «Fontaneau», которое Вы по какому-то недоразумению, в одном из

писем ко мне считаете серьезным и недоступным читателю изданием. Современные «Весы» гораздо серьезнее и недоступнее. Открыть при нем книжный магазин, печатать каталоги, одним словом, двинуть скорпионовские издания. Вышло наоборот, «Весы» не развили «Скорпион», а почти умертвили его. Конечно, о «Скорпионе» я жалею, но не жалею, что мои планы не осуществились, т. е. что «Весам» придан более литературный характер. Тогда, во время подачи прошения о «Весях», не могло быть и речи об этом, т. к. Сергей Александрович и слышать не хотел о журнале литературном. Но я думаю, что внешность, приданная «Весам», — ошибочна. Они имеют вид покойных Insele'я или «Химеры». Думаю, что смерть этих хороших литературных изданий была вызвана отчасти их внешностью. При печатании на матовой бумаге и в малом формате Вы вынуждены постоянно, чтобы вести журнал художественно, искать дорогих и редких оригинальных рисунков, причем ввиду характера бумаги эти рисунки должны быть сделаны пером или штрихами, что также усложняет дело. Если бы журнал издавался, например, вроде «Kunst und Künstler» или «Gasette des Beaus Arts» (я беру, конечно, лишь внешнюю сторону), тогда явилось бы возможным помещение обзоров выставок (русских и иностранных), печатание фотографии картин в тексте, а не на отдельных листах, что Вы принуждены делать теперь, если бы захотели помещать подобные обзоры, и что стоит значительно дороже. Видите, впечатление получилось бы иное. Внешность очень влияет на публику. В иных номерах «Мира искусства» нет решительно ничего, кроме перепечаток фотографий из иностранных изданий, но русская публика, да и вообще всякая публика на это внимания не обращает, а ценит лишь прекрасный внешний вид.

Тут два выхода: или изменить внешний вид «Весов», или совершенно прекратить печатание рисунков, что при настоящем положении редакции было бы также недурно. Но во всяком случае, если будут оставлены рисунки, необходимо привлечение в редактора художественного отдела художников: Коровина, Грабаря, наконец, даже Дурнова, если нет в Москве других более крупных художников, тогда не будет выходить таких коренных разногласий, как в истории с японским рисунком или феофилактовскими обложками к Пшебышевскому...

Вижу, что мое письмо разрослось в целое послание, оставляю потому в стороне целый ряд вопросов о неустройстве «Весов», по которым у меня особое мнение <...>

15/28 декабря Брюсов пишет Семенову:

Дорогой Михаил Николаевич!

Со времени нашей эпистолярной полемики прошло уже столько дней, что думаю — оба мы можем взглянуть на нее объективно, и думаю, что — как это и всегда бывает — оба мы правы. «Нет в мире виноватых» — слова короля Лира. Вы были правы в том, что искренне желали блага «Весам», указывая на все, что считали в них недостатками. Но и я был

прав, так как, отдав «Весам» год жизни (они отнимают у меня буквально всю жизнь) и сделав для них столько, сколько, я уверен, не сделал бы никто другой, я не мог ожидать от того, кому «Весы» близки, одних упреков. Что «Весы» несовершенно, это бесспорно, я это говорил и повторяю еще раз, и не только ради слова, а с полным сознанием. Но столь же бесспорно, что сделать большего я не мог и, кажется мне, на моем месте, при тех средствах, какие были в моем распоряжении, не мог бы никто. В частности, сотрудничество мое в «Вессах» может прекратиться и сегодня, и вот в эту минуту, ибо «Весы» принадлежат не мне, я в них только работник, — но (не сердитесь, дорогой Михаил Николаевич, пишу это без всякого «сердца») делать себе выговоры я не могу позволить никому.

А после этих слов позвольте просто и сердечно извиниться, если в прошлом моем письме было сказано что-либо излишне раздраженным тоном. В вечной горячке журнальной работы (увы! вот во что превратился когда-то мирный Скорпион) нет возможности сохранить истинного спокойствия, говорить все слова с тем беспристрастием, как должно. И потом, не выдав Вас уже год, зная Вас лишь из скудных вестей писем, я как-то утратил свое личное отношение к Вам. Вы как-то против моей воли стали для меня более отвлеченной величиной, чем тем Михаилом Николаевичем, которого я научился (Вы верите, конечно) ценить, уважать, любить. Надеюсь, если наша так неприятно начавшаяся переписка не смолкнет, это чувство личности, это живое отношение между нами — вернется. Я очень хочу верить, что, взявшись было деятельно за сотрудничество «Весам» (во времена Пушкина всегда говорили сотрудничать кому, а не где или с чем), Вы не бросите этого дела. Недостаток работников — это первое, что угнетает «Весы». При основании их мы рассчитывали на силы шести человек: Бальмонта, Балтрушайтиса, Вас, Сергея Александровича, Белого, меня. Но фактически все свелось к работе одного меня, которому немного помогает Сергей Александрович и неожиданно подошедший Вячеслав Иванов. Больших статей, особенно на отвлеченные, философские темы, сколько угодно, но делать именно журнальную работу, писать рецензии, «обозревать» журналы, выбирать материал для хроники решительно некому.

Почему бы Вам не взять на себя Германию? Франция, благодаря Гилю, Беверу, Волошину и моему личному хорошему знакомству с французской литературой, представлена достаточно. Но Германия у нас в несправедливом загоне. Был у нас единственный работник в этой области Максимилиан Шик, но, во-первых, он и не очень надежен... во-вторых, вот уже два месяца, как он ничего не пишет и даже не отвечает на письма. Если бы Вы выписали себе основные немецкие журналы и следили бы за новыми немецкими книгами, Вы оказали бы «Весам» неоценимую услугу.

Затем, думаю, что, раз Вы уже начали составлять подробный перечень книг, надо это дело продолжать. «Весы» об этих перечнях объявили бы в каталогах и проспектах. Василий Иванович пегит купил, и отныне можно будет печатать эти перечни в том виде, как Вам желалось. Про-

должаю, однако, думать, что в моих замечаниях на первый перечень многое будет справедливо. Перечни разных литератур должны быть составлены по одному плану, означение книги должно быть кратко, но полно (включая в себя имя издателя и цену, непременно). Если собираетесь составлять такой перечень до января, тем лучше.

Что де Гурмон и его статья? Что итальянские рисовальщики? Что Папини?

Как только освобожусь от 12-го №, напишу Вам подробно о преобразованиях, которые мы намечаем сделать в «Весак» 1905 года.

Очень надеюсь, что Вы примете мое письмо *sans rancune*¹⁰. И вообще, каковы бы ни были наши отношения в «Весак», верю, что в жизни Вы мне позволите быть непременно и сердечно

Вашим

Валерием Брюсовым.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Викторов Давид Викторович — студент, затем преподаватель университета.

²«По ту сторону добра и зла» и «Гибель богов». (Речь идет о произведениях Ф. Ницше.)

³Папини Джованни (1881—1956) — писатель, итальянский корреспондент «Весов».

⁴Ван Бевеер Ад. — писатель, корреспондент «Весов».

⁵Реми де Гурмон — французский писатель.

⁶«Голубая птица вечности» — имеется в виду известная русская камерная певица: Оленина д'Альгейм М. А. (1869—1970). Муж ее д'Альгейм Пьер (1862 — 1922) — музыкальный критик.

⁷Гохшюлер Макс — музыкальный критик из Германии.

⁸Редакция «Весов» специально в дни русско-японской войны посвятила №4, (1904 г., японской графике. Редакция сопроводила их таким текстом: «Мы хотим напомнить читателям о той Японии, которую все любим и ценим, о стране художников, а не солдат...»

⁹Семенов Евгений Петрович (Коган Соломон Моисеевич) — литератор, поместил в «Mercure de France» слабые корреспонденции под названием «Русские письма».

¹⁰...*sans rancune* — без злопамятства (фр.).

Василий Розанов

ТРИ РЕЦЕНЗИИ

Публикация, предисловие и примечания
Виктора Заньво-Розанова

Имя Василия Васильевича Розанова (1856—1919), мало знакомое современному читателю, было очень популярным в конце XIX и начале XX века. Философ, педагог, журналист, писатель, автор оригинальных книг «Уединенное», «Опавшие листья», «Смертное» — Розанов был в центре культурной жизни русского общества.

Сейчас фигура В. В. Розанова вновь живо заинтересовала литературную общественность*. Интерес этот понятен — невозможно представить себе историю отечественной культуры, литературы и философской мысли без этой крайне противоречивой, не укладывающейся ни в какие ходячие определения фигуры. Личность и творчество В. В. Розанова вызывали у современников и преклонение, и раздражение, порою — возмущение. Но бесспорным было одно — признание непохожести его дара, оригинальности его мышления и письма.

Примечательно в связи с этим высказывание А. М. Горького о В. В. Розанове, которого великий писатель считал человеком гениальным и замечательным мыслителем: «...в мыслях его много совершенно чуждого, а порою — даже враждебного моей душе, и — с этим вместе — он любимейший писатель мой...»

Предлагаемые читателям «Альманаха библиофила» с небольшими купюрами рецензии В. В. Розанова впервые были опубликованы в газете «Новое время» в 1911, 1913 и 1916 годах и дают некоторое представление о тонком ценителе книги и искушенном библиофиле — Розанове.

К всеобщему успокоению нервов...

После нумизматики, этого «металлического зеркала, отражающего в себе всю древность» (выражение Глинки-Бутковского¹), самая интересная наука есть библиография. Народ может не иметь великих поэтов или великих философов, — что делать, «Бог не дал», «не уродилось». Но чего он *не в праве* не иметь — это превосходной библиографии, в смысле знания и интереса к старым книгам, к старым рукописям, к чудесам миниатюры и, наконец, ко всяким уклонам и мелочам, которые великолепно окружают эту изящнейшую и благороднейшую науку, как старое ожерелье грудь красавицы... Впрочем — как шею красавицы; «грудь» — нескромно сказать в отношении добродетельной и чуть-чуть суховатой библиографии...

Ах, годы юности... Мы и в старости любим то, что успели полюбить в молодости. Как, живя на 25 руб. в месяц², я собирал под Сухаревой башней в Москве старого Ломоносова, Кантемира, Княжнина, Крылова, — *непре-*

* См.: Нелспин А. «Разноцветная душа» Василия Васильевича Розанова // Лит. учеба. 1988. № 1. С. 113—118.



В. Розанов в молодости

менно в изданиях при жизни каждого автора. И все скупил: 1-е издание «Российской грамматики» Ломоносова купил за 1 руб.; «Сатиры» Кантемира, в превосходном современном переплете, с предисловием к ним Феофана Прокоповича, — за 5 руб.; «Сочинения Статского советника Михаила Ломоносова» 1757 г. тоже за 5 руб. Какой портрет его там! А прелестные гравюры (напр., «Сон Светланы») к Жуковскому... Не говорю уже о петровских изданиях, как «Ифика Иерополика» (т. е. «нравственность и государственведение»)... И как я тащил все это домой. Уже по дороге проковыривал пальцем

бумагу («во что завернуто»), чтобы в дырочку посмотреть золотистый переплет. Как переплетали тогда, золотили буквы: позолота *нисколько не потемнела* на современных самим авторам «Баснях» Сумарокова и «Сочинениях» Княжнина...

Наконец, я купил за 5 рублей даже инкунабулу. Вот ее заглавие: «*Quintiliani institutiones cum commento Laurentii Vallensis Pomponii ac Sulputii*». На ней, в конце книги, стоит год: «*Impressum Venetiis per Perigrinum de Pasqualibus de Bologna. Anno Domini MCCCCLXXXIII. Die XVIII. Augusti (1494)*»³. Сохраняю правописание буква в букву. На заглавном листе надпись, чернилами: «*Bernardus Treituvem Doctor Utriusque jvris Sarenissimi Utriusque Bavariae Ducis Albeati Consiliarius etc. Partus (sic!) meus mihi summo officio et observantia ni perpetuum de inictus. 13 Calend. maij. Anno a Christo nato MDLXXIII hunc dono debet librum. Ioannes*»⁴.

И все за 5 рублей!! Книга по полям и между строк испещрена рукописными заметками. И, наконец, весь этот чудно сохранившийся экземпляр переплетен в лист пергаментной рукописи, черт ее знает что содержащей: может быть заклинания Фауста, какой-нибудь заговор или волшебство!!

Тут колдовство, тут бесом пахнет...⁵

И переплетено вместе с напечатанною в 1481 году, в городе Парме, книжою: «*Questiones perutiles super tota philosophia magistri Iohannis Wagni doctoris Parisiensis cum explanatione textus Aristotelis secundum mente doctoris subtilis Scoti*»⁶.

И вот притащишь домой «известно в какую» студенческую комнату, быстро сбросишь веревки и бумажонки, раскроешь... и ничего не понимаешь! Тут-то самый и восторг. «Значит, что-нибудь интересное купил, если ничего понять нельзя». Но на лекциях уже слышал — «Лаврентий Валла»⁷ или «Пик-де-Мирандолла»⁸ (эту книгу купил уже в Петербурге), и вот начнешь подчитывать, справляться, ниточка за ниточкою распутывать клубок «библиографической находки».

Незабвенные дни... Нет, ей-ей: чтобы сохранить здоровье и нервы и избежать этой проклятой теперешней «неврастении», нужно непременно заниматься или нумизматикой, или библиографией. Не понимаю, чего смотрят доктора по нервным болезням. Все прописывают паллиативный бром, когда есть радикальная библиография...

И так дешево: ей-Богу, доступно всякому! За студенческие годы я до Карамзина включительно — и из Пушкинской эпохи лишь прикупая прелестные тогдашние альманахи «Северные Цветы», «Незабудочку», «Московский Меркурий», — в сущности, приобрел *всю русскую литературу* рублей не более как за сто!! Все — случай! Ах, у библиографов «случай» играет большую роль, —

Тут домовой, тут леший бродит...

Все это пишу к тому, что в параллель к изумительным «Старым Годам» вот-вот начал выходить новый журнал «Русский библиофил», на русском и французском языках. Господа, бросьте браунинги и займитесь библиогра-

фией! Все равно с этим чертовым «правительством» ничего не поделаешь. Плюньте. Оставьте. Сам Бог простит, что не одолели... Куда тут: сто тысяч войска, миллион войска, а нас, «студентов», приблизительно — ну, тысяч тридцать. Да и то не всех «согласных». С «обществом» наберется тысяч сто. С кулаками. Так что поделаешь с «кулаками», когда там пушки? Поэтому Господь простит, если мы «оставим». Сказано: «Перекуем мечи на плуги». Ну — библиография и есть эти самые «плуги». Возьмем тихостью, возьмем терпением, возьмем кротостью, возьмем мирным трудом. Если оно, проклятое, увидит, что мы все читаем «Библиофила» и «Старые Годы» (конечно, *ни в одну гимназию для учеников не выписывается*), то оно посмотрит-посмотрит, подождет-подождет — и снимет везде «худые положения», там «военные» и разные другие; и вообще, тоже перекует «мечи на орала» и переделает «трехвостки» просто в веревочки для завязывания провизии. Ей-ей, это — не дурная политика; ибо и на «правительство» наше занятие библиографией подействует тоже как *kali bromati*.

Кстати, в «Мелких заметках» № 1-го «Библиофила» сообщается о таких имеющих скоро наступить аукционах древних рукописей и книг, что зуббы разгораются. Автографы Байрона, Гайдна, письма Лютера к Карлу V-му, письма Тилли и Алленштейна... Вот бы купить для Спб. Публичной Библиотеки «просвещенному правительству» или Министерству просвещения — для Румянцевского Музеума в Москве. Ах, бывые годы! ах, минувший век! Как умели это сделать Екатерина II, Александр I, Николай I. Но потом пришла проклятая «смута», и вот 50 лет все только «полиция» и «полиция», да «Ведомости Спб. Градоначальства», и нет шумящих и роскошных приобретений для музеев и библиотек... Захирел наш Эрмитаж, слышно; захирела Публичная библиотека... Разве что пожертвуют сим бедным «нищенкам»... «У самих денег нет». И об этом говорят уже вслух и реально с антиквариями и коллекционерами.

1911

Прелести старокнижия

I

Библиотека А. В. Петрова. Собрание книг, изданных в царствование Петра Великого. С.-Петербург. 1913 г.

На тихой, лежащей в стороне от «торговых дорог литературы» лужайке библиографии все вырастают новые цветы. Они тем целомудреннее, что их почти никто не видит. Вот выходит на лужайку одинокий дед... Склоняется, срывает цветок и долго втягивает носом его ароматичность. Это библиофил. Помню, лет 30 назад впечатление... Я присмотрел у буканиста, в крошечной лавчонке около храма Спасителя, «*La nouvelle Heloise ou lettres de deux amans, habitans d'une petite ville au pied des Alpes; recueillies et publiees par J. J. Rousseau. A Londres. MDCCCLXXXI*»⁹, пять томиков крошечного формата, с прелестными гравюрами и в золотом обрезе. Переплет кожаный. И все ходил смотреть, не продано ли, пока скопится три рубля

(студент). Вот раз копаюсь там в книгах, одним глазом смотрю на незаметного Руссо, в темном уголку, а другим — на вошедшего ученого. Он был не очень еще стар, но очень изможден наукой и трудами. Заботливо он спросил у лавочника:

— А покажите мне ваш *Требник Петра Могилы*¹⁰.

— Продали три дня назад за 160 рублей.

— Продали?!!

Лавочник мотнул головой. Я смотрел на ученого. Он побледнел, а книга, которую он держал в руках, задрожала. Он сказал несколько невнятных, мягких слов, в которых я расслышал только «целый» и «прекрасный экземпляр». На душу, на лицо его пал туман; случилось горе. Да, великая вещь — «упустить книгу». Ну, это понимают только благочестивые старцы, посещающие уединенную лесную поляну — библиофильство.

В минувшем году вышло превосходное, *настольное* для всякого библиофила, описание *И. Г. Иваска*: «Частные библиотеки в России» — с великолепными портретами собирателей книг, начиная с любимца царя Алексея Михайловича боярина Артамона Сергеевича Матвеева и кончая современными — братьями Шукиными, Юдиным, Шереметьевым и прочими мудрецами и благочестивцами земли русской. Дана *история* каждой библиотеки, куда она пошла, большею частью (увы!) разрозненно, — после смерти собирателя. Тут есть библиотеки и в 100 000 томов (Юдина), и совершенно маленькие, даже до 600 томов, библиотеки, например гимназического преподавателя (в Ярославле) Мезинова. Конечно, всем бы им место, по смерти владельцев, в *хорошо организованных губернских библиотеках*, о которых решительно нужно «всероссийски» подумать...

Свежий ландыш на этом поле — великолепно изданная «Библиотека А. В. Петрова. Собрание книг, изданных в царствование Петра Великого. С.-Петербург. 1913 г.», увы, отпечатанная только в 100 экземплярах! Неужели числом «100» исчерпываются большие библиотеки в России и частные любители «книжной старины»? Подобная цифра нам кажется явно безрасудной. Автору, очевидно, надо было издать по крайней мере 600 экземпляров, т. е. полунормальный «типографский завод». Стоимость печатания лишь немного удорожилась бы, — на стоимость бумаги, — и в таком количестве оно конечно бы раскупилось! Книги петровской печати — растерянная и исчезающая ценность наших дней: много погибло от петербургских наводнений, другие от пожаров, и еще более всего — от мышей. Между тем А. В. Петрову удалось отыскать такие некоторые книги, каких не видели ни академик Пекарский, составивший известное описание книг петровской печати, ни — Бычков. Таково значащееся под № 17 описание аудиенции, данной царем английскому «чрезвычайному послу и комиссару» Витворту в мае 1710 года. Это было «извинительное» посольство, — за оскорбление русского посла Андрея Матвеева. Оскорбление заключалось в том, что когда посол после тщетных переговоров о заключении союза с Англией против Швеции был отозван и собирався уже выехать из Лондона, то его карету остановили посланные купеческим шерифом люди, избили посла, изодрали его платье, «держали за ворот», и отняли у него шлагу, трость и шляпу; затем на простой

извозчицей повозке его отправили в долговую тюрьму. Причиной того была неуплата послом взятых займа денег. За Матвеева сейчас же вступились дипломатические представители других иностранных послов в Лондоне, ввиду чего английское правительство обещало дать русскому послу полное удовлетворение. После чего Матвеев покинул столицу Англии и уехал от «христогоняющего народа, канальского злочестия исполненного». В брошюре, отпечатанной в 200 экземплярах и единственный экземпляр которой удалось найти г. Петрову, описан подробно прием Петром Великим английского чрезвычайного посла, содержание его речи и ответ царя. Витворт при этом вручил и грамоту с извинениями, подписанную королевою Анною. Извинение это, замечает г. Петров, было принесено только в мае 1710 года, т. е. после Полтавской баталии, тогда как инцидент с послом Матвеевым произошел в 1708 году. Очевидно, времена переменялись, и отношение к России стало другое после знаменитой «виктории»¹¹. Есть и еще несколько книг величайшей редкости. Число всех собранных г. Петровым книг 100. Книга сопровождается фототипическим воспроизведением многих заглавных листов книг, которые по обычаю того времени обильно украшались замысловатыми рисунками, — то прямого, то аллегорического содержания. Кстати: проходя «Петра Великого» в гимназиях, ведь почти необходимо показать ученикам эту книжку Петрова, — показать ради воспроизведения заглавных листов первого гражданского книгопечатания в России! Это так ново и заняло бы учеников совершенно другим, нежели теперь, «видом книги». У Пекарского и у Вычкова этих фототипий заглавных листов — нет. А между тем как много говорят, например, заглавный лист «Географии генеральной или повсюдной» (1718 года) или две гравюры из книги «Земноводного круга описание» (1719 года), из коих одна символизирует Европу, а другая символизирует Азию. Решительно, нужно же вводить учеников в зрелище памятников древности...

II

«Русский библиофил» за 1913 г., V-ый выпуск

В только что появившемся пятом выпуске нашего превосходного «Русского Библиофила» (надеюсь, этот хорошенький и умный журнал не выписывается в ученические библиотеки гимназий?) продолжают печатанием «Записки князя Ив. Мих. Долгорукова». Это поэт, выпустивший в 1802 г. в Москве в университетской типографии у Люби, Гария и Попова большой том стихотворческих произведений в 390 страниц, под заглавием: «Бытие сердца моего, или Стихотворения князя Ивана Михайловича Долгорукова». Стихотворения, не блещущие поэзией (откуда ее всем взять?), но в которых везде видна благородная и ищущая мысль. Мысль эта, а следовательно и книга данная, положила свой умный камень в труднейшее дело создания умственной хранины русского общества, которое вот от таких «Бытий сердца моего» до образов Платона Каратаева и Раскольниковых у Толстого и у Достоевского шагнула — всего в сто лет — шаг, пожалуй, более огромный и более психологически трудный, чем какой сделала Греция тоже

в 100 лет от Греко-персидских войн до века Перикла. Вот почему все умные камешки этого поразительного столетия мы должны благоговейно рассматривать, а при случае и целовать. Всякая книжка на синеватой слабой (неплотной) бумаге (какой отлив!) должна быть рассмотрена, местами (для «образца») почитана, а бумага, с превосходным затхлым запахом нерешительного тления, должна быть и понюхана. Без утонченного «эллинского» обоняния вообще нет настоящего библиофила и едва ли могла бы сложиться подлинная библиография, сей культ старых книг. На странице 23-ей «Бытия сердца моего» поэт и человек поместил надгробную надпись супруге своей, княгине Е. П. Долгоруковой, вырезанную на гробнице ее в Девичьем монастыре (в Москве):

Супруга нежного се памятник печали!
Сокрыта здесь в земле достойная жена;
Ума и сердца в ней доброты все сияли.
Угоден Богу тот, кто жил так, как она.

Редактор-издатель «Русского Библиофила» Н. В. Соловьев (не все знают, что это тот самый Соловьев, который имеет гастрономическую лавку на углу Невского и Литейного, — и таким образом добрый Николай Васильевич (?) *всячески* окормляет Петербург) разыскал рукопись этих замечательных мемуаров, — и теперь с каким волнением к этому надгробному четверостишию мы прочитываем первый приуготовленный шаг:

«Посидевши с полчаса за столом в Braut-Kammer (опочивальня новобрачных), графиня Анна Николаевна Пушкина, сестра ее княгиня Меншикова и княгиня Наталья Ивановна Куракина повели по обряду жену мою в спальню и там ее одели в ночное платье, а г-жа Бенкендорф снимала царские бриллианты для возвращения в целостности (невеста — бедная дворянка Смирная, питомица Смольного монастыря; на свадьбу великая княгиня Мария Федоровна, по этикету, украсила ее шею и голову собственными бриллиантами). Между тем я провожал гостей и, поблагодаря дядюшку (графа Строганова) за все его милости, принужден был им войтить к жене в шелковом халате и колпаке, которые по точным правилам светских обрядов приготовили для меня в приданом невесты (привезено было ему в дом утром). Наконец все утихло в доме. Амур ждал своей минуты; он вознагражден непорочностью, и страсть моя к Евгении (невеста-жена) получила в сей день вожденнейший трофей. Тако исполнились судьбы Божии, и мы начали супружеское поприще в райских восторгах».

Во всей обширной главе, описывающей женитьбу, интересно наблюдать, так сказать, филигранную отделку бытовых и общественных форм и удивительную серьезность мысли, серьезность ожиданий и серьезность самосознания жениха, всего 20-летнего юноши! Читаешь и думаешь: как бы необходимо и благотворно было сделать (без жеманства, без политики и без пропусков) классное, учебное издание лучших наших мемуаров за XVIII и XIX века. Конечно, это задача Министерства просвещения, и, конечно, Министерство никогда об этом не догадается.

В пятом выпуске помещена также очень большая статья, украшенная многими портретами, Н. П. Лихачева¹², под заглавием: «Генеалогическая история одной помещицкой библиотеки». В ней кидаются в глаза следующие высокоценные, педагогические слова: «Существует большая литература о грубости нравов людей XVIII века, о невежестве его общества, об офицерских оргиях и кутежах, но никем еще не собраны материалы на тему, какое количество из этих елизаветинских и екатерининских офицеров собирало и читало книги». Автор и хочет посмотреть на дело с этой стороны, — обратить внимание на образование, на чтение, на читателя XVIII века. И здесь мы также можем припомнить прелестные «Записки Андрея Тимофеевича Болотова», садовода, хозяина, офицера и дворянина XVIII века, который по уму, деловитости и доброму сердцу был бы украшением всякого века и всякого общества. Вообще сатиры двух заезжих к нам иностранцев, Кантемира и фон-Визина, вместе с полемическими проповедями Феофана Прокоповича бросили совершенно неверный свет на наш XVIII век. Эти сатиры, *одни* изучаемые в школах, посеяли в наших несчастно воспитываемых юношей самоуверенное представление, будто XVIII век был веком непроходимой общественной грубости, глупости и пошлости, нравов темных и диких; будто это был век «недорослей» и Вральманов, Кутейкиных и Скотининых... И будто бы лушкинская эпоха родилась из *ничего*, без залогов, без предшественников... Это поистине дикое, а главное — вредное, антивоспитательное представление разрушается множеством теперь изданий, особенно превосходными «Старыми Годами» и «Русским библиофилом». Они делают большое школьное дело, хоть несколько обезвреживая нигилизм, навеваемый плоским, мелким духом гимназического преподавания истории и словесности.

1913

III

«Русский библиофил». Le bibliophile russe. Основанный Н. В. Соловьевым. Петроград, 1916 г.

Ах, эти «библиофилы» — сущие поэты. С лупою в руках, не видя политики, «общественности» и проч., — они наклоняются над священным «мусором прошлого», что-то там делают, как-то там копаются: ворчат, бормочут. Бегут в типографию, что-то шепчут наборщикам: и в срок, когда «нужно» — в те часы и дни, когда сами они блаженно почивают, отдыхают от трудов, конечно, «праведных», — перед читателем являются великолепные страницы, вишнечки, рисунки карандашом и пером, извлеченные из старых, заветных библиотек, архивов...

Тот век прошел, и люди те прошли;
Сменили их другие; род старинный
Перевелся; в готической пыли
Портреты гордых бар, краса гостиной,
Забывтые, тускнели; поросли
Дворы травой, и, блеск сменив бывалый,

Сырая мгла и сумрак длинной залой
 Спокойно завладели... Тихий дом
 Казался пуст; но жил хозяин в нем —
 Старик худой и с виду величавый,
 Озлобленный на новый век и нравы...

Так цитируешь из Лермонтова, просматривая в великолепном издании «Русского Библиофила» альбом князя А. М. Белосельского (1752—1809 гг.): этот его «Vademecum», куда он заносил во время путешествия в Италию свои заметки и шивал множество получавшихся им писем от великих людей политики, литературы и философии того красочного века, — века пудры и кафтанов, учтивостей, великолепия и сменившего их буйства и отчаяния революции. Одно из писем путешественника, написанное в Петербург, случайно попало в руки Екатерины, и она надписала на нем: «Вот превосходно написанное и еще лучше продуманное письмо, — где же искать людей, если его автора оставлять без дела? Я приказала принести мне список вакансий и назначу его к какому-нибудь иностранному двору». Письмо это, написанное Екатериною по-французски, воспроизведено в fac-simile в «Р<усском> Библиофиле». Так же воспроизведены из альбома автографы Бомарше и Бернардена де Сент-Пьера, а равно два рисунка сепией Томона, прелестный «Ангел, играющий на лире» Виже Лебрёна и известного художника — портрет Вольтера, идущего в меховой шапке и шубе, присланных ему Екатериною для защиты от швейцарских горных ветров, и... в ночных домашних туфлях!. Портрет превосходен по верности, экспрессии и живости движений. Мастер слова, В. А. Верещагин, ставит над ним историческую эпитафию:

«Альбом закрыт и едва ли откроется когда-либо вновь; он исчерпан, исполнив свое назначение. В ярких и жизненных красках он восстановил перед нами заманчивый облик одного из вельмож екатерининского времени с тем обязательным владычеством, которое они умели себе присваивать в обществе и на которое современное им общество отвечало благородным покорством. Это сознательное покорство испытываем и мы, знакомясь с их увлекательным бытом.

Где же теперь эти великолепные вельможи: Шуваловы, Разумовские, Белосельские, Румянцевы, Хованские, Бутурлины, Новосильцевы, образованные и талантливые, поражающие нас разносторонностью знаний, удачно соединявшие блеск живого ума с утонченными формами, мишуру и шумиху придворного быта с искрой священного пламени? Их нет и не будет; конечно, и удивляться их отсутствию нечего. Прошли те условия, при которых могли выливаться воплощавшие их стройные формы. Русская жизнь, устающая всегда от усилий, охладела, утомленная творчеством. И потому, может быть, что нет таким людям возврата, отголоски их прошлого манят улыбчивой ясностью, величавым изяществом барства и ослепительным блеском существования».

А в самом деле, что же такое случилось? А что-то такое случилось. Мы можем ярко отметить грань 14 декабря 1825 г., после которой Шуваловы и

Хованские как-то отходят вдаль, в тень, а к свету и жизни, наконец, к сухой служебной деловитости — вызываются Клейнмихели, Дубельты, Бенкендорфы, Нессельроде, Гирсы. Событие на Сенатской площади дорого обошлось русскому дворянству. Это — еще падение, после стольких же; еще «лес рубят — щепки летят». Все переменялось, в формах и духе. Быстро все стало очинивничаться и обмещаниваться. Уже не фарфор и мрамор, а железобетон, железные дороги, гигантские мосты. Русь явно переодевается в новое платье — платье мастерового. Историки вздыхают. Но, конечно, не они делают историю. Пришел Витте и даже уже успел умереть. Совсем другой дух — какой-то американско-одесский.

Как музыка, звучит того же автора и статья о выставке французских и английских гравюр XVIII века. Тема молодит автора: и пишет будто не человек почти пожилой, а юноша 17 лет.

Великий князь Николай Михайлович отыскал в бумагах Государственного архива список книг, избранных для великого князя Александра Павловича его воспитателем Лагарпом, и с его замечаниями, — и предложил его «доброхотным читателям» «Русск<ого> Библиофила». находка очень ценна в историческом отношении. Книги — почти все на французском языке, ибо тогда «цивилизация» сливалась с «Францией»; и очень немногие их на немецком языке. Поразительно любопытны и волнуют заметки Лагарпа для царственного ученика о таких «современных» книгах, как «Contrat social», «L'origine de l'inegalite parmi le hommes» Ж. Ж. Руссо. Кроме истории и мемуаров, в состав списка книг входят трактаты по финансам и торговле.

Так «Русский библиофил», основанный (приснопамятным) Н. В. Соловьевым, продолжает нести на спине своей драгоценные сокровища минувших царствований и эпох уторопленным и суетным современникам.

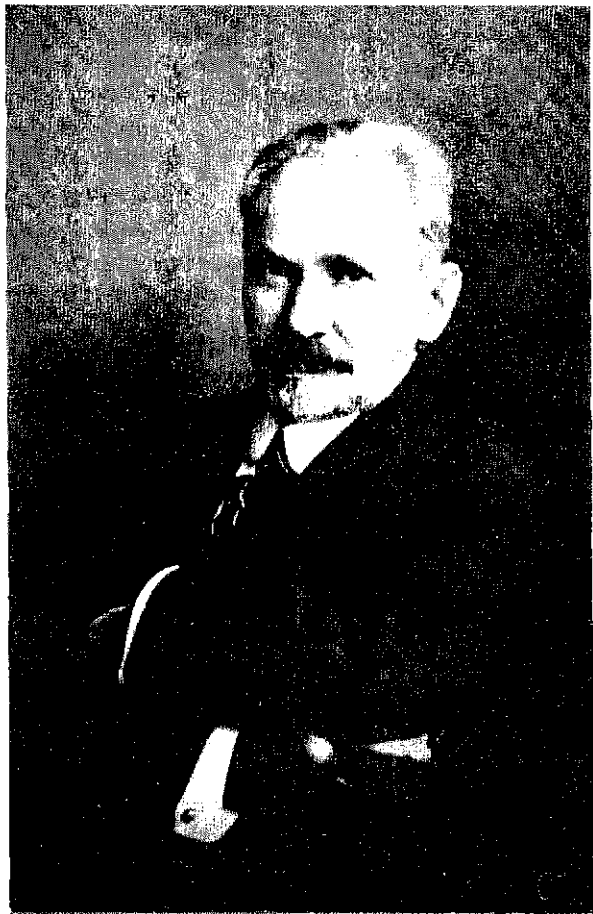
1916

НАШИ БИБЛИОФИЛЫ

Уж если кто благочестив — то это библиофилы. На том свете, я воображаю, будет заготовлена особая комнатка: «Библиографическое отделение», — где седые, я думаю, толстенные из себя (от постоянного сиденья) старички, нахмурив ужасно лоб, будут перелистывать книги в переплете тагоquin, с золотыми когда-то и теперь, т. е. уже в то «райское время», почерневшими образами, с местами порванными страничками и со вздохом над каждым таким порванным местом. А «ангелы мирные», не изменяя Божьей службы, будут приносить им еще и еще тагоquin'ов, и великолепных переплетов, и изданий Эльзевиров и Альдов, и разные восхитительные миниатюры и гравюры... Боже, какое восхищение. И не будет трапезы слаще, чем эта «библиографическая трапеза». Ибо где же еще такие райские кушанья...

Признаюсь, за долгий срок писательства я возненавидел книгу. Но библиография — это другое дело. Тут запах этой милой, сыроватой плесе-

В. В. Розанов



ни... Странички — синенькие, помните. И главное — эти головокружительные гравюры.

На изданиях Батюшкова, Жуковского, Крылова — кто их не помнит? Кто не помнит бордюриков и веночков на «Северных цветах»? Уж не говорю об иностранщине.

Так я представляю себе, копаясь в «примечаниях», в хронике аукционов книжных редкостей, в каких-то анонимных статьях (кстати, написанных точнейшим и великолепнейшим языком, напр.: «...но автору не удалось этого доказать с *покоряющей убедительностью*», — нельзя не подпрыгнуть на стуле, читая такое выражение) «Русского библиофила». Какая любовь к предмету, к предметам: везде — какое чудное беспристрастие, например, хотя бы даже в отношении благоговейно чтимого Пушкина! Истина, факт —

везде «выше Пушкина». Учиться науке у этих старых (представляю себе) копунов. Увы, я их никого не знаю лично. Следовало бы устроить «Выставку библиографов». А то где же их увидишь, узнаешь. Они вечно сидят дома, погруженные в свои «сокровища».

В последней книжке журнала г. Марк Азадовский (уж не совсем русская фамилия!) написал с таким бесконечным *вниманием* о художнике Федотове, что... даже стыжусь сказать, как хотел бы ему выразить благодарность: и собрал всю библиографию о нем; и издал его неизвестный доселе альбом рисунков в статье под заглавием: «Дневник художника, неизвестный альбом Федотова».

...В той же 4-й книжке «Русск<ого> библиофила» — два интереснейших письма Фета (неизданные) о Сопикове и его командировании с книгами Публичной библиотеки в Олонецкую губернию по случаю «шестивия двенадцатизыков в Россию».

Очень ценно в литературном отношении указание на труд г. Столпянского, исследующий отношение болгаринской «Северной Пчелы» к Пушкину:

«Статья П. Н. Столпянского в серии книг «Пушкин и его современники» (издание Академии наук) должна приветствоваться как окончательное обнаружение истинного отношения болгаринской газетки «Северная пчела» к Пушкину и опровержение нудного радикального «поношения» ее вот уже которым поколением пушкинистов. П. Столпянский принял на себя положительно подвижнический труд: перелистать страницу за страницей «Северную Пчелу» за время ее издания, дабы отметить в ней все, относящееся к Пушкину. И вот наблюдения Столпянского дали поразительные результаты. За время с 1825 по 1837 г. в «Северной пчеле», оказывается, было помещено 265 статей и заметок, имевших прямое отношение к великому поэту и к тому же доброжелательных в огромном большинстве. Известно, что «Северная Пчела» имела крупное влияние на тогдашнее общество, к ней прислушивались, и, конечно, теперь придется пересмотреть вопрос об отношениях Булгарина к Пушкину, и пора признать большую роль «Северной Пчелы» в создании пушкинской славы. Коротенькие, четкие, какие-то юркие статьи «Северной Пчелы», ее многочисленные эпитеты к произведениям Пушкина и афоризмы о них запоминались, влияли и невольно способствовали раскрытию пушкинского гения. Непродолжительный поход «Северной Пчелы» против Пушкина был, по-видимому, случайным эпизодом, в котором был виноват мелочный и самолюбивый Булгарин, но не без вины был и пламенный Пушкин. Работа Столпянского будет продолжаться печатанием и в следующих выпусках «Пушкин и его современники», так что мы в праве ожидать и еще более разъясняющих открытий от него...»

А что, вот мысль: монументы Пушкину, Гоголю, Лермонтову не следовало ли бы окружать в своем роде бронзовыми миниатюрками этих библиофилов, издателей, комментаторов? Ведь они, именно они, никто, как они, раньше бронзового монумента великану слова выковывали кропотливую работу своею бронзовое кружево к памятнику. Они все подготовили, они все сделали в истолковании, в уразумении поэта.

В приготовленном большом труде г. П. Столпянского «История Петербурга» замечательна его прекрасная и верная мысль, что наши «оды» XVIII века в ту пору отсутствия прессы заменяли собою «передовые статьи» теперешних политических газет, разъясняя обществу намерения и планы правительства и, с другой стороны, поддерживая и поднимая дух общества. Они были так же насущны и необходимы, а потому и так же обильны, как теперь политическая печать, — а не были только личною прихотью и ложным пафосом. Очень меткое замечание.

1916

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Глинка-Бутковский Александр Петрович, историк и нумизмат. Розанов неточно цитирует Бутковского, нужно: «...математическое зеркало, в котором отразился весь древний мир...» (Бутковский А. П. Нумизматика, или История монет древних, средних и новых веков. М., 1861. С. 2).

² 25 рублей в месяц В. В. Розанов получал от старшего брата Николая Васильевича (1847—1894), директора гимназии в г. Вязьме, поддерживавшего его во время студенчества в Московском университете (1878—1882), где он проходил курс на историко-филологическом факультете. После кончины матери в июне 1870-го старший брат взял над Розановым опеку.

³ Речь идет о венецианском издании 1494 г. сочинений Марка Фабия Квинтилиана (ок. 35—96 гг. н. э.) «О воспитании оратора» с комментариями Лоренцо Валлы Помпония Леты и Иоанна Сульпиция.

⁴ «Бернард Третув, доктор обоих прав, член Совета светлейшего герцога Баварского Альверта в 13 календу мая в год 1576 от Рождества Христова в вечное пользование мне в знак высочайшего уважения передал. Иоанн» (лат.).

⁵ По всей вероятности, Розанов составил строку размером пушкинского «Руслана и Людмилы». Розанову свойственно свободное отношение к чужим источникам.

⁶ Речь идет об издании труда средневекового ученого Иоанна де Магистриса «Рассуждение о естественной философии в целом».

⁷ Лаврентий (Лоренцо) Валла (1406 или 1407—1457), итальянский философ-гуманист.

⁸ Пик-де-Мирандола (Пико делла Мирандола) (1463—1494), итальянский философ-гуманист.

⁹ «Новая Элоиза, или Письма двух возлюбленных, живущих в маленьком городке у подножья Альп; собранные и изданные Ж. Ж. Руссо, Лондон, 1781» (фр., лат.).

¹⁰ Могила Петр Симеонович (1596—1647), церковно-политический и культурный деятель Украины, автор многочисленных сочинений, часть которых применялась в духовных заведениях.

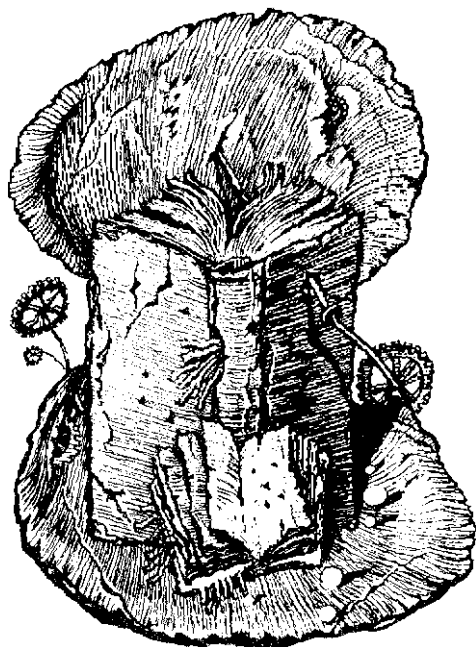
¹¹ «Виктория» — Полтавская победа 1709 г.

¹² Лихачев Николай Петрович (1862—1936), историк, искусствовед, книговед. Розанов был с ним в личной дружбе.

НАША ПОЛКА

Александр Марков
РЕДКИЕ АСТРАХАНСКИЕ ИЗДАНИЯ

Ольга Шмук
НОВАЯ СЕРИЯ КАТАЛОГОВ



Александр Марков

РЕДКИЕ АСТРАХАНСКИЕ ИЗДАНИЯ

«Какое это чудесное, увлекательное занятие — разыскивать книги, брошюры, летучие издания, вышедшие много лет назад в родном городе!.. И, кстати, это огромной, научной важности дело — сберегать старые провинциальные издания, особенно те, которые выпущены уездными и даже сельскими типографиями»¹ — эти слова библиофила О. Ласунского мог бы повторить и я.

Мне тоже пришлось пережить немало счастливых, волнующих минут, когда удавалось наконец приобрести или отыскать редкое издание. Но суть не в этом. Я хочу, хотя бы фрагментарно, показать самое значительное, любопытное из того, что появлялось в астраханской печати в XIX — начале XX века.

Речь пойдет о изданиях местных, которые сохранились в количестве очень ограниченном, но представляют большой исторический интерес.

Начну с астраханской газеты «Восточные известия». Ее издание неразрывно связано с именем Иосифа Антоновича Вейсскопфена. Материалы, хранящиеся в Астраханском государственном архиве, позволяют говорить о нем довольно подробно. Родился он в 1780 году, учился юридическим наукам в Венском университете. Хорошо владел немецким, французским, русским языками. Знал латынь. В 1806 году прибыл в Россию. С 1811 года стал преподавать немецкий язык в Астраханской гимназии. Но его занимало другое. Иосиф Антонович решил завести в Низовом городе типографию и издавать еженедельную газету «Восточные известия». Стал хлопотать о разрешении. 24 августа 1811 года из Совета Казанского университета пришло дозволение завести типографию и издавать газету под надзором директора гимназии Александра Храповицкого. Это вполне устраивало Вейсскопфена. Отношения с директором гимназии у него были дружеские. Храповицкий слыл оригинальной личностью. Он учился в Кадетском корпусе. В 1789 году поступил в конную гвардию вахмистром. В 1797 году Александр Александрович вышел в отставку штабс-капитаном. И вот этот профессиональный военный поступает в Дерптский университет и три года изучает математические и физические науки. Прекрасно владел многими языками. Став директором Астраханской гимназии, он привлек к преподаванию лучших учителей и поддержал идею Вейсскопфена издавать в Астрахани еженедельную газету.

Иосиф Антонович долго не мог подыскать подходящую типографию. В 1812 году он заключил соглашение с иностранцами Гreve и Литке на совместное содержание типографии. В это дело Вейсскопфен вложил 2800 рублей. По городу было расклеено объявление: «С 1813 года в губернском городе Астрахани будут издаваться еженедельно в среду «Восточные известия», в которых помещено будет:

1. О важнейших азиатских происшествиях.
2. Выписки из новейших Европейских ведомостей.
3. Статистическое описание азиатских стран и произрастаний.

4. О торгах на Каспийском море и в г. Астрахани.
5. Описание азиатских народов.
6. Смесь и анекдоты.
7. Известия о приходящих и отходящих судах.
8. О денежном курсе, продаже, найме и проч.»²

В Астраханской областной библиотеке есть подшивка номеров за 1813 год. Рассматриваю первый номер: «Среда, гевваря 29 дня». Первая статья посвящена военным действиям против Наполеона: «Слава богу, мы получили радостное известие о вступлении победоносных наших войск за границу, о взятии Кенигсберга, Варшавы и Мемеля».

По случаю этих побед астраханский губернатор Андреевский объявил трехдневное торжество. 26 января были прочитаны манифесты. Чтение сопровождалось пушечной пальбой. Все лучшие городские улицы были иллюминированы. В центре Губернаторской площади, на особом постаменте, был сооружен храм славы — российский герб, над ним «знамя победоносных войск с перунами, поражающими неприятеля, и гербы поверженных городов Кенигсберга и Мемеля». В газете помещено и такое сообщение: «Ноября 19, 1812 года. Приведены сюда первые пленные французы. Рядовым отведены старые городские казармы, а офицерам назначены квартиры на Казачьем бугре. Они, а особливо последние, весьма довольны приемом». Здесь же помещено сатирическое стихотворение «Танцы Наполеона». В других номерах «Восточных известий» подробно излагались обстановка в Европе и ход войны с войсками Наполеона.

Большое внимание уделялось местным событиям, публиковались исторические очерки: «О происхождении имени Астрахани», «Отрывок из путешествия на Кавказские горы», «Описание города Испагани...»

Разнообразие материала, удачная подборка известий способствовала успеху газеты.

Боясь конкуренции со стороны провинциальной газеты, министр народного просвещения граф А. К. Разумовский распорядился воспретить Вейсгкопфену заимствовать из центральной печати статьи и заметки. Разрешалось печатать только местные известия. Но это несколько не повредило популярности «Восточных известий». В 1814 и 1815 годах было выпущено по 52 номера.

В ноябре 1813 года к астраханскому губернатору обратился главнокомандующий русскими войсками в Грузии генерал-лейтенант Ртищев: можно ли в Астрахани печатать указы и манифесты на армянском и грузинском языках?

Письменное объяснение главнокомандующему давал Иосиф Антонович: «Хотя я с начала заведения здесь типографии желал, кроме российской, немецкой и латинской, завести также армянскую типографию с тем, дабы «Восточные известия» выходили на обоих языках — российском и армянском, почему через господина гражданского губернатора просил здешних армян уступить мне их типографию»³.

Но оказалось, что армянское общество над типографией не властно. Она была заведена в конце XVIII века армянским архиепископом Иоси-

фом Аргутинским, на что истрачено 25 тысяч рублей. И в данное время, по словам Вейсгопфена, армянская типография «состоит в собственном заведовании патриарха-католикоса Ефрема». К тому же типография та «стара и весьма недостаточна».

Все же И. А. Вейсгопфен сумел раздобыть армянский шрифт. С 1816 года «Восточные известия» печатались параллельно на русском и армянском языках.

В феврале 1816 года между Вейсгопфеном и его бывшим товарищем по типографии Литке начался судебный процесс. Летом того же года Вейсгопфен скоропостижно скончался. Ему было всего 36 лет. Его молодая жена Екатерина Захаровна осталась с малолетним сыном без средств к жизни. Только после долгих хлопот ей удалось добиться небольшой пенсии. Со смертью Вейсгопфена прекратили свое существование и «Восточные известия».

Вот что писал в конце XIX века астраханский историк Николай Леонтьев: «Сколько можно судить о Вейсгопфене на основании архивных и других источников, это был человек умный, солидного по тому времени образования, правил честных и энергии редкой, настойчиво стремившийся к той цели, которую наметил. Его газета останется навсегда единственным печатным памятником астраханской жизни того времени и драгоценным материалом умственной и общественной Астрахани второго десятилетия XIX века»⁴. К этому стоит еще добавить, что «Восточные известия» были первой провинциальной газетой в России.

Говоря о редких астраханских изданиях, мы должны вновь вернуться к Вейсгопфену. Еще в 1812 году директор Астраханской гимназии Храповицкий в письме астраханскому губернатору Андреевскому указывал, что в заводимой в городе Астрахани учителем Вейсгопфеном типографии будет печататься не только газета, но и «театральные сочинения, отдельные ежедневные листы, частные и публичные известия и объявления»⁵.

Печатались и книги, которые сейчас стали библиографической редкостью.

Так, «Книга католических молитв и гимнов» на немецком языке была издана в 1813 году. В 1813—1814 годах Вейсгопфен издает составленное им учебное пособие — «Руководительную тетрадь для преподавания немецкого языка» в трех томах. В 1814 году выходят на немецком языке сочинения Фомы Кемпийского. В 1815 году появился «Российско-армянский букварь для обучения армянского юношества чтению, переложенный с русского на армянский диалект смотрителем армяно-католического училища Клементьем Шавердовым».

Но наибольший интерес из отдельных изданий Вейсгопфена вызывают «Басни Александра Агафи». Эта небольшая книжка вышла в Астрахани в 1814 году. В ней всего 12 басен. Автор этих басен был помощником директора астраханских училищ Храповицкого, членом Казанского общества любителей отечественной словесности и сотрудником газеты «Восточные известия». Его отец, Дмитрий Агафи, был незаурядной личностью. В 1778 году он, член Падуанской и Пизанской академий, знаток многих

европейских и восточных языков, был назначен директором главного народного училища в Астрахани.

В журнале «Сын отечества» (1814. № 47) литератор и критик Николай Сушков, родственник М. Ю. Лермонтова, дал высокую оценку книге басен Александра Агафи. Он писал: «Скажем в похвалу сих басен, что их после Хемницера, Дмитриева, Крылова и некоторых басен Измайлова можно прочесть с удовольствием. Слава астраханскому Парнасу».

Почти в одно время с типографией Вейсхгопфена и Литке в Астрахани существовала типография шотландского миссионера Джона Митчела, которая находилась в доме Кузнецова на Губернаторской площади. В 1816 году он издал на турецком языке «От Луки святое Евангелие», а в 1818 году на том же языке — «Библию». Затем выпустил на татарском языке «Книгу псалмов», «Евангелие» и «Книгу Бытия». Две последние книги имеются в Астраханской областной библиотеке. На титульном листе «Книги Бытия» выходные данные: «Астрахань. Типография Иоанна Митчела. 1819».

Нельзя обойти вниманием и такое редкое издание, как «Азиатский музыкальный журнал». Он выпускался преподавателем музыки в Астраханской гимназии Иваном Викентьевичем Добровольским с 1816 по 1818 год.

Добровольского привез в Астрахань из Могилева архиепископ Анастасий Братановский. Иван Викентьевич был капельмейстером архиерейского хора. После смерти Анастасия капельмейстер стал работать учителем музыки в гимназии. Тогда и задумал он издавать в Астрахани журнал, где решил помещать армянские, персидские, индийские, горские, киргизские, чеченские, грузинские, татарские, калмыцкие, хивинские, бухарские, черкесские, кабардинские и казачьи песни и пляски.

Журнал был ежемесячный. Годовая цена за 12 выпусков — 15 рублей. С пересылкой в другие города он стоил 20 рублей — цена по тем временам немалая. И все же журнал выходил три года и пользовался успехом. Это было первое музыкальное издание в России с нотами, текстом песен на языке оригинала и переводом на русский язык.

«Азиатский музыкальный журнал» был и первым литографированным изданием в России. И. В. Добровольский самостоятельно сконструировал литографический станок, применил новый способ печатания на камне, притом камне местной породы.

Столичная газета «Русский инвалид» отзывалась о начинании Добровольского так: «Почтенный издатель, не нашедший, по-видимому, в Астрахани резчика на меди, вздумал воспользоваться новоизобретенным способом печатания с камня. Следуя только одним описаниям, может быть, весьма недостаточным, начал печатать ноты помянутым способом, и хотя первые листы его журнала показывают те препятствия, кои надлежало ему преодолеть, но с тех пор работа его идет весьма успешно и достигает все большего совершенства».

* * *

В первой половине XIX века в Астрахани печаталось немало книг религиозного содержания и разных статистических сборников. Опубликованные тогда описания астраханских монастырей и храмов и сейчас служат незаменимым подспорьем для историков, литераторов, архитекторов, реставраторов, краеведов.

Несомненно, большой редкостью является книга «Прошедшее и настоящее общественной библиотеки в Астрахани», изданная в Астрахани в 1867 году. Ее автор, редактор «Астраханских губернских ведомостей» П. А. Кашперов, написал эту книгу как своеобразное приложение к «Указателю библиотек России» Геннади. Кашперов критикует методику составления «Указателя...» и ряд неточностей, допущенных Геннади. Например, в «Указателе...» показана лишь одна Общественная публичная библиотека в Астрахани, а Кашперов указывает, что в Астрахани в середине XIX века их было несколько: Морская, Семинарская фундаментальная, Общества морских врачей, библиотека при Палате государственных имуществ, не говоря уже о монастырских и частных.

Общественная публичная библиотека была открыта 19 июня 1838 года. Она включала в себя более 6 тысяч книг на русском и иностранных языках.

Большую роль в создании библиотеки сыграло астраханское купечество. Купец Солодовников пожертвовал библиотеке 3000 томов, а иностранец Швейцер 1000 томов. Но главным учредителем библиотеки Кашперов называет Н. И. Шайкина, который жертвовал не только книги, но и большие суммы денег. Его сын Осип Шайкин, страстный книголюб, тоже передал некоторые свои книги библиотеке и на свой счет арендовал помещение в здании Общественного собрания. Желающих пользоваться библиотекой вначале было мало, хотя в Астрахани в 1838 году насчитывалось 45 708 жителей.

П. А. Кашперов приводит извлечение из «Отчета публичной библиотеки за 1842 год». Из него видно, что библиотекой заведовал «2-й гильдии купеческий сын Осип Шайкин». А вот отзыв чиновника В. Бенземана: «Но энергия и пожертвования Шайкина и других ничего не могли сделать с холодностью общества при недостатке поддержки местных властей. Число подписчиков было незначительно...»

Конечно, большую роль здесь играла не «холодность общества», а недоступность библиотеки для широкого читателя. За пользование книгами взималась большая плата.

Далее Кашперов повествует: «Годы проходили, сменялись люди и события: после замечательной во многих отношениях ревизии здешней губернии (1844) сенатором князем П. П. Гагариным переменялись здесь три начальника губернии (военные губернаторы Темирязов, Чистяков, Басаргин). Астрахань пережила холеру 1847, 1848 и 1853 годов. Многое изменилось под нашим небом... 6 августа 1853 года от холеры здешней умер военный губернатор, вице-адмирал Басаргин. На его место астра-

ханским военным губернатором (управляющим и гражданской частью) и главным командиром Астраханского порта был назначен контр-адмирал Николай Александрович Васильев. Именно он предложил служащим города вносить один процент жалованья на нужды библиотеки. Чиновнику особых поручений при губернаторе Н. А. Акимову поручено было привести публичную библиотеку в порядок и составить каталог...» К концу 1854 года книги были разобраны, описаны, расставлены в определенной системе, составлен хронологический каталог. Но после отъезда из Астрахани губернатора Васильева библиотека снова пришла в упадок, что отмечал в своем дневнике в 1857 году Тарас Шевченко, бывший в ту пору в Астрахани.

И лишь через два года положение вновь стало выправляться. Быстро стал пополняться основной фонд библиотеки. Кроме беллетристики, приобретались и солидные научные труды. Вносились в каталоги все выходящие астраханские издания. Некоторые из этих книг представляют сейчас большую библиографическую редкость. Так, Кашперов указывает, что в 1860 году в Астрахани была издана книга «Сказание о Дербен-Ойротах» нойона Тюменя. Перевод этой рукописи сделал Георгий Степанович Лыткин. И тут я вспомнил интересную рукопись, хранящуюся в Астраханском государственном архиве. В ней переводчик «Сказания о Дербен-Ойротах» описывал свое путешествие по калмыцким степям. С внуком переводчика Александром Александровичем Перроте — бывшим командиром эсминца «Расторопный» — я познакомился в августе 1975 года в Астраханском государственном архиве. Он привез для сдачи в архив «Дневник поездок в калмыцкие степи студента Петербургского университета Г. С. Лыткина». Дневниковые записи охватывают 1858—1860 годы. Я присутствовал при передаче этого ценного материала и с интересом выслушал рассказ ветерана. Александр Александрович сообщил, что в 1918 году он прибыл в Астрахань на миноносце. И весь 1919 год провел в низовьях Волги в жарких схватках и походах. Это было незабываемое время. Навсегда осталась Астрахань в сердце боевого моряка. Вот почему теперь, на склоне лет, решил он привезти в Астрахань рукопись своего деда, тоже связанную с Астраханским краем. О деде Александр Александрович рассказывал с увлечением.

Георгий Степанович Лыткин родился в 1835 году в глухом Усть-Усольске. Был он зырянником (коми) по национальности. Детство было трудное — в семье десять детей. И все же Георгий успешно закончил уездное училище, а затем Вологодскую гимназию. Удивительная тяга к знаниям привела его в Петербургский университет. Он поступил на восточное отделение филологического факультета. Но, проучившись два года, перешел со второго курса на первый восточного факультета по «монголо-калмыцко-тюркскому» разряду. С третьего курса он командировался на два года для исследования калмыцкой письменности и совершенствования в познании калмыцкого языка.

Квартира Лыткина находилась в ставке хошеутовского владельца князя Церенджап Тюменя, близ Волги. Церенджап приходился

родным племянником герою войны 1812 года Сербеджап Тюменю. Князь был польщен, что к нему прибыли студенты Петербургского университета (вместе с Лыткиным был друг, студент А. Михайлов) и на первых порах оказывал им всяческое содействие. 16 июня 1858 года Георгий Степанович сделал такую запись: «Утро было чрезвычайно жаркое, почему я до обеда был на террасе и читал грамматику Попова. В 10 часов утра князь призвал меня в комнату, где децун (хранитель реликвий) показывал знамена прадедов князя...»

Там было и знамя, с которым калмыцкие полки принимали участие в сражении против войск Наполеона в 1812 году. На знамени изображен грозный воин — Дайче Тегри, сидящий на коне в полном вооружении и в шлеме.

Затем Лыткин посетил могилу героя войны 1812 года полковника Сербеджап Тюменя и оставил ее описание: «Памятник сделан из кирпича четырехугольной формы. Окружен деревянным забором, внутри которого находятся несколько шестов с вертящимися дощечками, на которых надпись по-тибетски...»

Через несколько дней Георгий Степанович получил доступ в книгохранилище князя, который был в близком родстве и с известным калмыцким летописцем Батур Убаши Тюменем. Лыткин был потрясен обилием неизвестных науке калмыцких рукописей. Он начал переводить многие сочинения на русский язык. Особенно важными он считал «Сказание о Дербен-Ойротах» Батур Убаши Тюменя; «Краткую историю калмыцких ханов» (XVIII в.) неизвестного автора; «Повесть о разгроме монголов Дербен-Ойротами...»

Лыткин впервые перевел и прокомментировал «Хронологию достопамятнейших в истории буддизма событий», начиная с 962 года до новой эры и по 1652 год. Но, к сожалению, эта работа не была опубликована. Огромный научный интерес вызвал его перевод «Сказания о Дербен-Ойротах» Батур Убаши Тюменя, изданный в Астрахани в 1860 году. Это был первый подробный перевод на русский язык истории калмыцкого народа.

* * *

В конце XIX — начале XX века издатели астраханских газет начинают привлекать читателей бесплатными приложениями к отдельным изданиям. Особенно широко практиковал это издатель «Астраханского вестника» Адольф Николаевич Штылько. Некоторые из этих приложений представляют сейчас большую библиографическую редкость.

13 ноября 1890 года в газете «Астраханский вестник» было помещено объявление: «Все наши годовые подписчики получают в виде бесплатной премии избранные сочинения М. Ю. Лермонтова с изящно исполненным портретом поэта. Избранные сочинения выйдут в свет и будут разосланы в июле 1891 года. Они будут содержать все главнейшие, выдающиеся произведения пера замечательного поэта».

Редакция не смогла вовремя выполнить своих обязательств, так как книга была затребована на предварительную цензуру в Петербург. Разре-

шение на выпуск этого издания было получено только 18 августа 1891 года.

В книге 128 страниц и гравированный портрет поэта. Внизу, под портретом, указано, что гравюра отпечатана в новой русской типографии на Пароходной улице. В сборник вошли такие стихотворения и поэмы, как «Боярин Орша», «Измаил Бей», «Люблю я цепи синих гор...», «Могила бойца», «Кавказ», «Демон», драма «Маскарад».

В Астрахани сохранился всего лишь один экземпляр этого сборника. Он находится в Областной научной библиотеке. Без титульного листа, переплет картонный, серо-зеленый, с кожаным корешком. Эту книгу передала в библиотеку в 1961 году заслуженный врач РСФСР Нина Васильевна Шубина. А ей книга досталась от отца, Василия Степановича Петрова, который был большим книголюбом.

В 1912 году А. Н. Штылько выпустил в виде бесплатных приложений сразу две интересных книги — «Записки об Астрахани» М. Рыбушкина и «Гюлистан» персидского поэта Саади. На оборотной стороне титульного листа «Записок...» указано: «В настоящем издании сохранены титульные страницы, посвящения, предисловие и проч. — в том виде, как все это было напечатано самим автором М. Рыбушкиным, в его собственном издании 1841 года».

Дело в том, что к началу XX века книга Рыбушкина об Астрахани стала библиографической редкостью. Эту книгу безуспешно пытался прочитать еще Тарас Шевченко. Когда летом 1857 года опальный поэт возвращался из ссылки, он больше недели прожил в Астрахани, обошел весь город, побывал на базарах, в гостиных дворах, осмотрел кремль и даже ризницу Успенского собора. Его заинтересовали астраханские древности, и он решил прочитать что-нибудь об истории края и города. Кто-то порекомендовал ему «Записки об Астрахани» Рыбушкина. Вот что записал по этому поводу великий kobзарь в своем дневнике: «...как бы кстати теперь иметь эту книгу: там, верно, помещены документальные сведения о времени построения кремля и собора как главного украшения города. Кто же мне заменит эту дорогую книгу?.. Пошел отыскивать городскую библиотеку. Против губернаторского сквера прочитал я на бледно-голубой вывеске «Публичная библиотека для чтения». Bravo, подумал я, в Астрахани публичная библиотека! Стало быть, и чтецы имеются. Замарашка мальчуган указал мне вход в это святилище, и я благоговейно поднялся на второй этаж и вступил в единственную залу библиотеки. Библиотекарь в сюртуке с красным воротником и с гренадерскими усами, которого я принял за полицейского чиновника, сказал мне, что книги Рыбушкина «Описание города Астрахани» в настоящее время в библиотеке не имеется, а что она находится у бухгалтера общественного призрения Васильева. Я объяснил ему, что я не здешний, но он все-таки послал меня в Приказ общественного призрения. Делать нечего, отправился я к помянутому бухгалтеру Васильеву. И от сего почтенного старичка получил надежду прочитать книгу Рыбушкина завтра в 9 часов утра»⁵.

Утром на следующий день бухгалтер так и не принес книгу. Еще через день, 14 августа, поэт записал в дневнике: «...пошел в библиотеку.

Но сия Публичная библиотека, вероятно, по случаю дождя и грязи, была заперта, и я, поклонившись дверям сего недоступного, таинственного святилища, ушел восвояси с миром, дивясь бывшему».

Так Шевченко и не прочитал книгу Рыбушкина. Но в чем же ценность «Записок об Астрахани» и кто такой Рыбушкин?

Михаил Самсонович Рыбушкин родился в 1792 году в Симбирске. После окончания гимназии поступил в Казанский университет, где, кроме предметов общей словесности, прослушал курс математических и естественных наук и был удостоен степени кандидата. Затем стал преподавать историю и географию в Казанской гимназии. С 1823 года он становится адъюнктом Казанского университета по кафедре словесности. В то же время М. С. Рыбушкин заведовал университетской типографией, занимался литературной деятельностью, печатал свои стихи и статьи в «Казанском вестнике», в «Прибавлениях» к нему. В 1832—1834 годах Рыбушкин стал издавать журнал «Заволжский муравей» и поместил там немало своих произведений. Сочиненная и изданная им в 1834 году книга «Краткая история города Казани» была приобретена для Эрмитажной библиотеки.

Любопытно, что Пушкиным на Рыбушкина была написана эпиграмма: в 1814-м Михаил Самсонович опубликовал свою трагедию «Иоанн, или Взятие Казани». Вскоре в журнале «Сын отечества» появился о ней отрицательный отзыв. Рыбушкин неумело защищался от нападок критика, что и вызвало эпиграмму:

Бывало, прежних лет герой,
Окончив славу брань с противной стороной,
Повесит меч войны средь отческие кущи;
А трагик наш Бурун, скончав чернильный бой,
Повесил уши⁷.

В феврале 1835 года Рыбушкин был назначен директором гимназии и училищ Астраханской губернии. Он прожил в Астрахани девять лет и все это время занимался изучением истории Низового края, печатал свои статьи в газете «Астраханские губернские ведомости». В 1841 году в Москве, в типографии Селивановского, вышла его книга «Записки об Астрахани». Он посвящал ее Михаилу Николаевичу Мусину-Пушкину, попечителю Казанского университета и его учебного округа. В предисловии Рыбушкин писал: «По прибытии моем в Астрахань на место директора училищ, я за первый долг себе поставил заняться составлением записок об этом замечательном городе и извлечь потребные для того материалы из дел архива... Подвергая суду читателей слабый труд мой, я не могу не обнаружить мысли моей, что история всякого края, города и местечка составляет уже звено, принадлежащее Истории Государства».

Книга, изданная Рыбушкиным, несмотря на некоторые ошибки, в течение долгого времени оставалась единственным произведением об истории Астрахани. Ее не раз цитировали ученые, писатели, поэты, путешественники. В начале XX века «Записки...» имелись только в Астраханской публичной библиотеке, и то в единственном экземпляре. Вот почему

Штылько и решил переиздать эту книгу в виде бесплатного приложения к своей газете.

В том же 1912 году он осуществил и публикацию творений замечательного персидского поэта Саади «Гюлистан» («Цветник роз»). Штылько не зря взялся за издание сборника притч и коротких новелл выдающегося поэта Саади Мослихуддина, жившего в конце XII — начале XIII века. Произведения Саади давно пользовались заслуженной славой в странах Востока и Европы. Но в России «Гюлистан» впервые был опубликован в Москве в 1882 году. Перевод этот сделал профессор Иван Николаевич Холмогоров, который был тесно связан с Астраханью. Об этом мы узнали из биографических сведений о переводчике, которые сообщены астраханским историком Н. Ф. Леонтьевым и приложены к астраханскому изданию «Гюлистана». Более подробные сведения о Холмогорове имеются в Одесском областном архиве в фонде Ришельевского лицея. Там хранится «Формулярный список о службе исполняющего должность профессора-наставника восточных языков при Ришельевском лицее Ивана Николаевича Холмогорова, составленный 5 сентября 1853 года».

Ко времени составления формуляра уроженцу Симбирской губернии Холмогорову было 35 лет. После окончания Казанского университета он назначается старшим преподавателем персидского языка в Астраханскую гимназию с 19 июня 1843 года. Иван Николаевич исполнял должность и учителя латинского языка в низших классах гимназии. А также «за неимением учителя с распоряжения г. министра народного просвещения исполнял должность учителя истории и географии в Астраханском армянском Агабабовском училище с 1844 г. по 1846 г.».

В 1847 году Холмогоров был назначен преподавателем арабского языка в Казанский университет, а потом в Ришельевский лицей. В лицее кроме преподавательской деятельности он занимался определением и систематизацией древних монет. Ему удалось собрать и систематизировать огромные коллекции монет Херсонеса, Таврии, Панतिकопеи, Ольвии, Фракии, Фаоса, боспорских царей и римских императоров...

Через пять лет Холмогоров опять назначается в Астрахань. На этот раз инспектором Астраханской гимназии. Уже в первый свой приезд сюда Холмогоров тщательно изучает произведения Саади, по крупицам собирает разбросанные по многим источникам сведения о персидском поэте. Наконец, Николай Иванович защищает магистерскую диссертацию «Шейх Мослихуддин Ширазский и его значение в истории персидской литературы». Публикация этой диссертации в Казани вызвала многочисленные отклики русских писателей и ученых. Только теперь в России по-настоящему узнали о многотрудной жизни и необыкновенных приключениях поэта из Шираза. Спасаясь от ужасов монгольского нашествия, Саади покинул родной город, 30 лет скитался по разным странам, добрался до далекой Индии, жил у огнепоклонников. Бежал оттуда в Мекку и Дамаск, жил отшельником близ Иерусалима. Здесь его захватили в плен крестоносцы и привезли в Триполи, где заставили, как и других невольников, соорудить крепость. Его выкупил из неволи один знакомый купец. С боль-

шим трудом Саади вернулся в родной Шираз. Уже в преклонных годах поэт написал «Гюлистан» — лучшее свое произведение.

Холмогоров переводил стихи Саади прозой, удивительно бережно сохраняя образность языка поэта. В предисловии к своей книге Саади писал: «Я вкратце высказал несколько слов-анекдотов, замечательных изречений, повестей, стихов, историй из жизни прежних царей и все это поместил в предлагаемой книге. Я израсходовал на это занятие часть дорогой жизни...»

Часть своей жизни потратил и Холмогоров, воздавая должное поэтическому мастерству и глубине философского суждения Саади.

До сего времени не утратил своего значения перевод Холмогорова. Знаменательно и то, что публикация «Гюлистана» в Астрахани была первой публикацией произведения Саади, сделанной в России вне столицы и данной в бесплатном приложении к «Астраханскому вестнику».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Альманах библиофила. 1978. Вып. 5. С. 21.

² ГААО, ф. 1, оп. 2, д. 32, л. 20.

³ ГААО, ф. 1, оп. 3, д. 22, л. 4.

⁴ В кн.: Остроумов Т. Исторический очерк Астраханской 1-ой мужской гимназии за время 1806 по 1914 г. Астрахань, 1914. С. 37.

⁵ ГААО, ф. 1, оп. 2, д. 32, л. 1.

⁶ Шевченко Т. Дневник. М., 1954. С. 130—131.

⁷ Пушкин А. С. Эпиграммы. М., 1979. С. 11.

Ольга Шмук

НОВАЯ СЕРИЯ КАТАЛОГОВ

В потоке печатной продукции, обрушивающейся ежедневно на нашего читателя, редко мелькнут издания, предназначенные специально для библиофилов; они составляют буквально каплю в книжном море. Много ли мы можем припомнить изданных за последнее время каталогов, описаний личных библиотек и книжных коллекций? К сожалению, нет. Это — книги для немногих, выход которых в свет не производит сенсаций. Долго ищут они своего читателя. Но зато счастливая у них судьба — найдя этого читателя, становятся надежными друзьями, незаменимыми помощниками в работе...

С тем большей радостью хочется отметить появление не просто нового каталога, а целой серии каталогов «Русская книга XX века в собрании Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина», инициатива создания которой принадлежит отделу редких книг крупнейшей библиотеки страны. Подготовленные здесь каталоги начали издаваться с 1980 года под редакцией доктора исторических наук Е. Л. Немировского.

На сегодняшний день отдел редких книг выпустил пять каталогов. Три из них носят монографический характер: «Прижизненные издания Александра Александровича Блока» (М., 1980), «Прижизненные издания Владимира Владимировича Маяковского» (М., 1984) и «Прижизненные издания Валерия Яковлевича Брюсова» (М., 1985). По тематическому признаку составлен каталог «Русская сатирическая периодика 1905—1907 гг.» (М., 1980). Наконец, еще один выпуск посвящен описанию книжного собрания — «Автографы советских поэтов из коллекции А. К. Тарасенкова» (М., 1981).

Каждое из описаний ставит перед собой свои задачи, но есть среди них и общая — информировать читателя о сокровищах, хранящихся в книжных фондах отдела редких книг. Тот, кто хотя бы приблизительно представляет себе размеры этих сокровищ, легко может оценить значение таких описаний.

Каталоги новой серии «Русская книга XX века в собрании Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина» занимают особое место среди других библиографических справочников. В отличие от традиционных библиографий, они снабжают читателя более разнообразной информацией о книгах в целом, а также о тех экземплярах этих книг, которыми обладает отдел редких книг.

Попытаемся продемонстрировать преимущества такого рода описаний на примере каталога «Прижизненные издания А. А. Блока» (составитель кандидат филологических наук Е. И. Яцунок). Прежде всего, этот каталог сохраняет все достоинства библиографического справочника, поскольку содержит полное описание прижизненных изданий Блока (сюда вошли, кстати, и зарубежные издания), то есть полезную библиографию. Несмотря на то что библиография Блока издавалась неоднократно (вышла она и в серии «Русские советские писатели. Поэты»), новый каталог при-

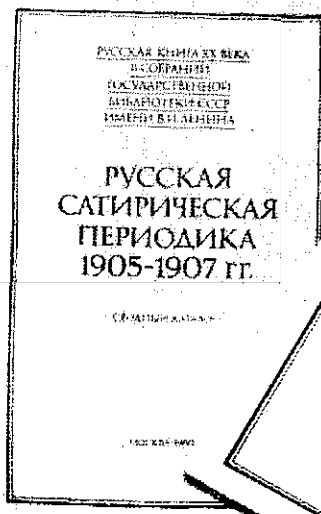
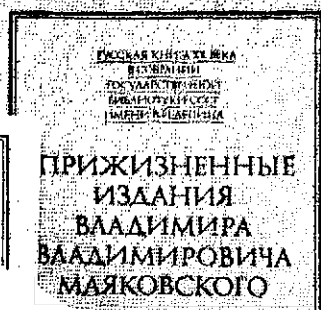
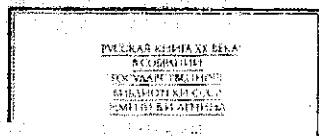
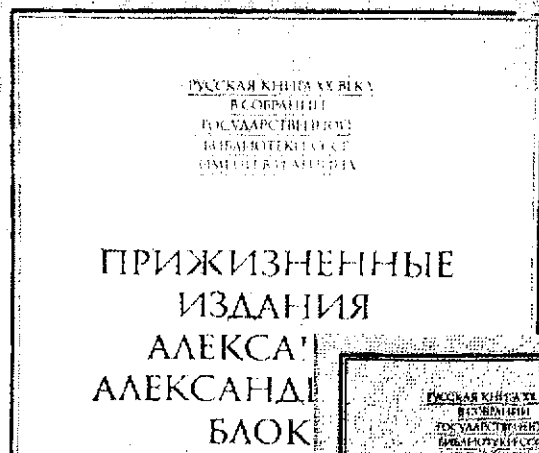
обретает особую ценность, поскольку в нем приводится целый ряд сведений, которых не найдешь ни в одном библиографическом справочнике: дата выхода книги из печати, название типографии, где печаталась книга, описание обложки и объявлений, помещенных на ней. Более того, помимо этих сведений, каталог содержит подробное описание экземпляров отдела редких книг, воспроизводя автографы, дарительные надписи, владельческие пометы, посвящения и тому подобное.

Наконец, в качестве иллюстраций используются фотографии обложек некоторых сборников, а также автографы и надписи на них. Все это превращает небольшое по объему издание каталога в уникальный и ценный справочник, нужный и исследователю, и библиографу, и просто любителю книги. Одно достойно сожаления — мизерный тираж. 1500 экземпляров разошлись давно, и эта справочная книга скоро станет столь же редкой, как и сами прижизненные издания.

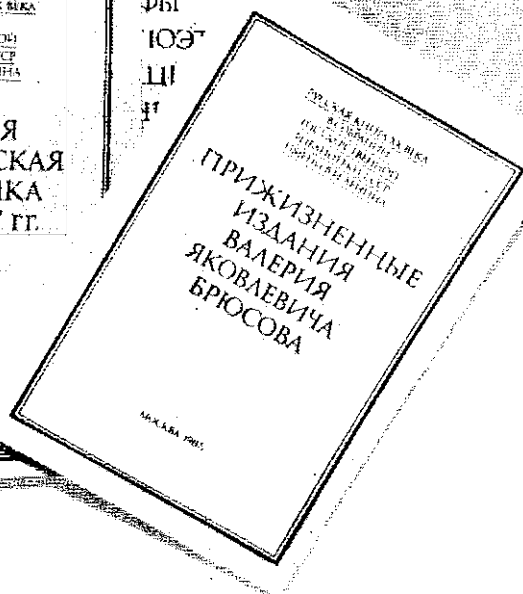
Подобно каталогу изданий Блока выполнены описания «Прижизненные издания Владимира Владимировича Маяковского» (составители С. С. Ишкова и кандидат филологических наук Е. И. Яцунок) и «Прижизненные издания Валерия Яковлевича Брюсова» (составители кандидат филологических наук Л. М. Ельницкая и Г. А. Сусликова). Три выпуска этих каталогов лишний раз показали целесообразность избранного типа описаний, которые включают следующую информацию: сведения о разделах книги (очень важные для поэзии XX века, с ее пристрастием к циклизации), о текстах, опубликованных на обложке, об особенностях художественного оформления, об общем числе и наиболее интересных экземплярах в отделе редких книг. В таком виде каталог способен удовлетворить потребностям как библиофила, так и исследователя. Тираж всех трех изданий разошелся очень быстро, что лишний раз подтвердило его своевременность и полезность.

Хотелось бы сказать несколько слов и о каталогах другого типа, изданных в той же серии. Первым (по времени выхода) стал сводный каталог «Русская сатирическая периодика 1905—1907 гг.» (составитель кандидат филологических наук З. А. Покровская). Здесь дан достаточно полный перечень изданий указанной тематики. Но перед нами не просто хорошая тематическая библиография; каталог содержит и уникальные справочные сведения. Составители каталога привлекли к работе 37 библиотек страны. В результате был составлен путеводитель, в котором не просто перечисляются издания, но и указывается их наличие в библиотеках СССР. Такой справочник является незаменимым помощником в работе, особенно при отсутствии в стране единой информационной службы. Сводный каталог решает, таким образом, широкий круг задач, информируя читателя, в частности, и о малотиражных сатирических журналах, часто закрывавшихся по тем или иным причинам и воскресавших под новыми названиями.

Наконец, рассмотрим еще один тип каталога — «Автографы советских поэтов из коллекции А. К. Тарасенкова» (составитель кандидат филологических наук Е. И. Яцунок). Прославленная библиотека А. К. Тарасенкова едва ли нуждается в дополнительных рекомендациях: основа-



ФН
ЮЭ
Ц
И



тель ее на базе своего собрания выпустил целый ряд справочников и обзоров советской поэзии. Данный каталог, подготовленный отделом редких книг, знакомит нас с текстами посвящений и дарительных надписей, которые есть почти на всех книгах. Читатель получает возможность ознакомиться со стихотворными экспромтами Н. Асеева, А. Жарова, М. Исаковского, С. Кирсанова, А. Твардовского и многих других известных советских поэтов. Хорошо подобран иллюстративный материал, где часть автографов воспроизводится факсимиле.

Итак, на сегодняшний день в серии «Русская книга XX века в собраниях Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина» вышло пять каталогов трех разных типов. Можно только приветствовать тот факт, что руководители издания ищут в каждом конкретном случае свой стиль, отвечающий теме. Сравнивая разные каталоги, в каждом из них находишь свои достоинства. Наиболее перспективным типом, как представляется, станет описание изданий писателей и поэтов, в которых удачно сочетается информация об изданиях как таковых со сведениями о собраниях отдела редких книг.

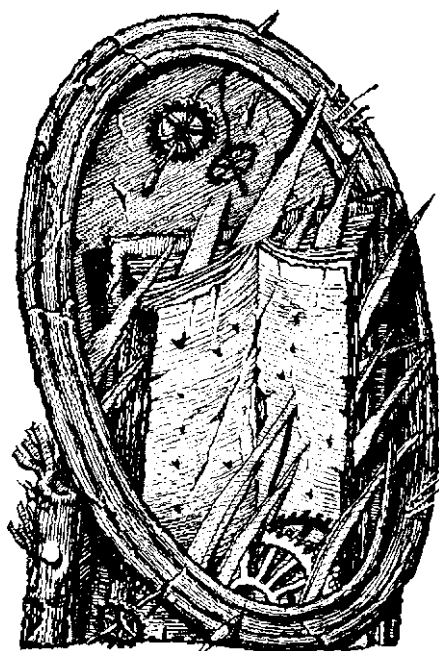
В наши дни, когда изучение искусства XX века поднимается на качественно новый уровень, продолжение этой работы будет иметь большое значение. В искусстве XX века книга занимала почетное место, являясь предметом своеобразного культа. И сегодня, когда воскресают имена многих поэтов — А. Белого, Н. Гумилева, И. Северянина, В. Хлебникова и других, отдел редких книг должен пойти навстречу тем, кто интересуется их поэзией. Надеемся, что серия не остановится на достигнутом.

Думается, что есть и другие возможности ее продолжения: описания можно вести не только по авторам, но и по отдельным издательствам XX века, среди которых были такие прославленные, как «Скорпион», «Всемирная литература» и другие. Таких справочников у современных исследователей еще нет. При описании можно брать за основу литературные группировки — символизм, футуризм и т. п. Возможностей много, потому что начато большое и полезное дело, совпадающее с магистральными путями развития советского литературоведения на современном этапе. Пожелаем же ему достойного продолжения и хороших тиражей.

О КНИГАХ И О СЕБЕ

Лирий Воронцов

ИЗ ЗАПИСОК МОСКОВСКОГО КНИЖНИКА



Лирий Воронцов

ИЗ ЗАПИСОК МОСКОВСКОГО КНИЖНИКА

«А ЗА ВАМИ ДОЛЖОК...»

Мои друзья и в счастье и в
несчастье —
Надежные, как стены, стеллажи.
Н. Зверева

Если уж говорить по большому счету, то все мы, магазинные книжники, — мелкая сошка. Настоящие книжные киты по магазинам не торчат — слишком это неэффективно — по неделе за одной книгой, да и не солидно. У них другие каналы, связи, знакомства... Дореволюционные издания, так называемые «старенькие», они через букинистов приобретают.

С одним из подобных «профессионалов» я однажды разговорился в букинистическом магазине, в Столешниковом. Ему потребовался худлитовский юбилейный десятитомник Пушкина. Так, для подарка одному нужному человеку ко дню рождения. А у меня как раз были абонемент и уже вышедшие первые три тома. Он стал меня всячески обхаживать, звать в гости — обещал хороший обмен и все такое прочее... Так вот неожиданно-негаданно я оказался у него в Сивцевом Вражке.

Старый, начала века, шестизэтажный дом с разбросанной по фасаду лепкой и водосточными проржавленными трубами. Скрилучий лифт-тихоход за проволочной сеткой. Квартирная дверь размечена по краю именными табличками, и при каждой своя кнопка от звоночка, а по плоскости, вплотную друг к другу, пришлепнуты в три ряда почтовые индивидуальные ящики. Здесь, на пятом этаже, в коммунальной квартире с длинющим коридором, уставленным всяческим старьем, начиная от цинкового корыта, нацепленного на гвоздь под потолок, и кончая совсем уж неопределенной, с выпростывающимися пружинами, рухлядью, и жил мой новый знакомый.

Вадим Алексеевич размещался вместе со своей обширной библиотекой в протяженной комнате с высоким потолком и одним узким окном, которое выходило в тупичок, замыкаемый недавно выстроенным кирпичным домом-башенкой, жильем артистов московских театров. Дом их смотрелся весело, оттуда доносились музыка и пение, в широких лоджиях кувыркалось несколько обезьянок, лопотал попугай... А здесь, напротив, был другой мир. Темновато, солнце категорически устраняют шторы, дабы не выцветали корешки. Комната большая сама по себе, но в ней так тесно, что просто негде повернуться. Книги заполнили буквально все углы и плоскости: горками лежат на столе, на крытой ковром кушетке и даже на креслах. Я уж не говорю о стеллажах, которые покрывают стены от пола до потолка, как доспехи рыцарей. За стеклами стеллажей фарфоровые статуэтки держат таблички с предупредительными стишками: «Не шарь по полкам жадным взглядом, здесь книги не даются на дом» или «Коль книга здесь на полке встала, как экспонат в музее стала»... Культ книги в сих пенатах глобальный — ее здесь делят и пестуют, как будущего

наследника, бесценное сокровище и пр. Хозяин мне с гордостью поведал, что собрание взято на учет и он завещает его государственной библиотеке!

— Вообще-то, — пояснял он, — мне и квартира поэтому положена. Да все дают где-то у Окружной, а мы с женой здесь привыкли, не хочется с центром расставаться...

По возрасту Вадим Алексеевич пенсионер, но мне вручил визитную карточку, из которой видно, что от дел он не устранился. Вот она, теперь уже пожелтевшая, лежит передо мной и напоминает о хозяине. Старинными завитушками на ней выведено: В. А. Стеклов, журналист, телефон, адрес.

Совсем седой — он все-таки не выглядел старым, настолько был энергичен, боек, а фигурой сухошав и совершенно прям. Свои книги представлял с такой любовью и вдохновением, будто ничего более интересного и замечательного в жизни и быть не может. А собрано у него действительно немало! Замечательна, например, подборка материалов о Маяковском: воспоминания, фотографии, библиография. Редкий альбом коллекции картин президента Сукарно в двух книгах, изготовленных в пятидесятых годах в Китае, — отпечатан он исключительно свежими и яркими, очевидно, растительными красками... Трехтомное, в сафьяне с золочеными застежками, издание Библии с рисунками Доре. Несколько раритетов в кожаных переплетах. Все это несомненно любопытно, ценно. Но из ряда вон в его собрании, конечно же, автографы — истинное детище и создание Вадима Алексеевича! Уникальна и сама коллекция автографов, и то, как тщательно, с неиссякаемой выдумкой он готовит их. Да, именно готовит!

— Чтобы автограф получился нешаблонным, с выдумкой, — рассказывал он, — автора нужно расшевелить, раззадорить. Для этого я заранее соответствующим образом оформляю издание, вклеиваю цитаты, фотографии и прочее. Это создает авторам соответствующий настрой, будит ответные мысли и чувства...

Он мне показывал альбомы Бидструпа, Жана Эффеля, форзацы которых разрисованы авторами. Демонстрировал истинные «россыпи» автографов: Маршак, Ахматова, Твардовский, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Райкин, Ильинский, Бёльль... Большинство надписей были с остроумными пояснениями, вырезками из периодики, фотомонтажом, с интересными комментариями самого Вадима Алексеевича. Он водит знакомство со многими, чьи автографы украшают его коллекцию. Долго рассказывал мне о Михаиле Светлове...

Поздним легким вечером, теплым и душистым после дождика, шли с Вадимом Алексеевичем на Кропоткинскую — уговорились ехать ко мне в Беляево за юбилейным десятилетием Пушкина. И в конце долгого дня был он по-прежнему бодр, шагал легко и скоро. Вот уж, действительно, книжный живчик!

Доехали на метро до Беляево, приятно беседуя на книжные и исторические темы, и забрал у меня Вадим Алексеевич Пушкина, под честное слово забрал, а вот про обещанный взамен восьмитомник Герма-

на — позабыл. Несколько лет уже миновало. Обворожил он меня — собственными руками ему в тот вечер вручил и абонемент, и три тома!

Осталась у меня на память лишь пожелтевшая визитная карточка — журналист Стеклов. Дьявол-искуситель, а не журналист. Как-нибудь все-таки соберусь и позвоню: «Здравствуйте, здравствуйте. Сколько лет, сколько зим! А за вами должок...»

«ХЕМИНГУЭЛЬ И БРЕДЬБЕРИ»

Отрядом книг оставил полку,
Читал, читал, а все без толку...

А. Пушкин

Все мы, книжники, равно одержимые и в то же время такие разные. Сегодня «на Калинина» в нашей компании собрались одни единомышленники — спецы по альбому: Лев и Ида Леопольдовна, Марк и Эстер Мироновна, Антон Борода и Ученый...

Разговор в нашей компании идет плавно:

— Ну, что новенького скажете? Где сейчас были?

Появляются две новые фигуры.

Это — приятели. В шутку мы прозвали их «Хемингуэль и Бредьбери». Парни, как говорится, из другой оперы. В книгах ориентируются, как в потемках, — на ощупь, да и интересует их прежде всего коммерческая сторона. Для души они собирают исключительно детективы, и только отечественные, которые поступают на прилавок по преимуществу из областных издательств или, как говорят, «из области». Серии ВП* и «Стрелка» — вот их кредо! Между собой на первый взгляд не контактируют и внешне разные. А вот если увидишь в магазине одного, наверняка и второй где-то недалеко, может, на другом конце зала или этаже.

Хемингуэль — этаким тяжелый кабанчик, грубая сила. Малиновое вздутое лицо, на лбу бисером лежат капельки пота. Выражение лица одно и то же: «Чего дают-то?» Как увидит толпу возле прилавка, таранит ее животом, точно бульдозер, и, глядишь, уже ближе всех к раздаче талонов! Говорит хрипло, каждое слово в отдельности, через солидную паузу, и перегарчиком от него при этом, конечно же, ударяет, как говорит Эстер Мироновна, «прямо-таки самым кошмарным образом».

— БВД была у жены... Всю спустил — по книге распродал... Осталось немного. Всего не помню, надо записать на бумажке... Теперь будет дороже! Или же давай меняться — нужен Шевцов.

Бредьбери — тот поплосше, помельче и посмышленей. В руке хозяйственная поместительная сумка, а в ней, конечно же, книги. Из тактических соображений старается быть незаметным, разговаривает полупотом. Лицо всегда недовольное, будто утверждающее, что сегодня стало труднее, чем вчера, а завтра будет еще хуже. А потому запасайся, чем

* Военные приключения — серия Военного издательства.

дают, особенно про уголовку: «Записки Серого Волка», «Злым ветром», «Ошибка резидента». На таких книгах «не наколешься» — спрос на них стабильный! Когда их дают, Бредьбери оживает, волка ведь ноги кормят: в кассу — к прилавку и снова — в кассу.

— На чек, возьми, меня уже запомнили... Вот, еще — чек. Возьми, скорее! Заведующая — засекала...

Он маневрирует: «выбивает» в разных кассах, чек подает из-за чужой спины, и хозяйственная сумка тяжелеет прямо на глазах.

Кепка на Бредьбери мятая-перемятая, и глядит он из-под нее, как из-за угла, крени голову набок. Постоянно неспокоен, озирается — говорит не в лицо, а куда-то в сторону, мимо. Подойдет тихонечко к стоящим и так, словно бы ни к кому конкретно, словно бы в пустоту:

— Шукшин есть, Матюрин... — и молчок.

Все оглядываются: «Кто сказал, у кого есть?» А Бредьбери держит паузу, как заправский конференсье, и потом сквозь зубы цедит:

— Нужен «Черный треугольник», нужен «Негромкий выстрел»...

Большущий Антон Борода наклоняется к нему и вполголоса, нараспев:

— А «Выстрел в сортире» нужен? Новенький, из области...

Остальные не выдерживают и начинают смеяться.

Бредьбери выстреливает злым огоньком глаз и отходит в сторонку — поближе к «Пузу» (так он зовет Хемингуэля)...

— Слышь, Борода, а ты видал вот эту черную книжечку? Интересней детектива! (Марк, лижонистый аспирант-целевик, достает из кармана брошюрку и многозначительно помахивает ей перед нашим «интеллектуальным» кружком.) — Автора этого не читал...

Белый крахмаленый воротничок, импортный кофейного цвета костюм, распахнутый плащ — все на Марке с иголки. (К слову сказать, провинциалы в сравнении с нами, коренными, по этой части обычно куда старательней.) Сам Марк парадный, уверенный в себе, как будто уже на банкете после защиты. Смотришь на него, и думается: «Вот человек, наверняка всем довольный, и будущее его усыпано одними удачами!»

А Лев — все никак не может пережить неудачу с альбомом Билибина:

— Нет, вы все-таки вдумайтесь, что же это такое — из-за этой книжки мы ходили три дня!

— Никто тебя ходить не заставлял.

— Заставляли или нет, но посмотрите, что за порядки установились — ведь это же стало обычным!

— Ну, что ты заладил — все о книгах, да о книгах, — Марк обнажает свои замечательно ровные зубы, морщится, трет пальцем кончик носа.

...Мои ноги крепко застоялись, и я решаю размяться. Поднимаюсь во второй этаж магазина, иду в самый левый край, в букинистический отдел. Посмотреть на «старенькое». Именно посмотреть, так как цены здесь совсем не по карману. Сойкинские, марксовские, павленковские издания. Классики и позабытые: Лев Толстой и Салиас, Чехов и Арцыбашев — под одним стеклом, в одном ряду. (Да вдобавок Салиас и Арцыбашев подороже.)

Кругосветные путешествия цесаревича, великих князей на корвете, фрегате и т. п. — роскошные фолианты в шагреновых переплетах с золотым тиснением. И история, история... Екатерина, Петр, Павел — Костомаров, Устрялов, Голиков, Лемке... Номиналы на всем трехзначные. Как же дорога история — и в прямом, и в переносном смысле!

А у прилавка академическая тишина — два-три, не более, покупателя.

ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВ

Мой кров — убог. И времена — суровы.
Но полки книг возносятся стеной.
Тут по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы...

М. Волошин

Настало время рассказать об Олеге. Книги он собирает давно, еще со школьных лет. С тех пор и на инвалидности — сердечник, с врожденным пороком. Поэтому и учиться после десятого класса дальше не пошел. А в собирании для него главный смысл жизни открылся. Книги постепенно захватили все его думы и чаяния. Они превратились в предмет поклонения, культа.

Принеся домой очередную книгу и оставшись наедине, как с желанным, дорогим существом, Олег начинает ее оглядывать, ощупывать и даже обнюхивать (запах новой, только что из типографии, книжки для него ни с чем не сравним). Скрупулезно обследуется качество изготовления: ровность обреза, корешка, нет ли где замятости, перекоса, не осыпается ли золото на надписях... Если книга в мягкой обложке, в светлом матерчатом переплете или в супере, то, прежде чем поставить на полку, он аккуратно оборачивает ее в прочную кальку. Идеально, по его мнению, иметь для чтения второй экземпляр. Но поскольку в двойном количестве есть далеко не все, то первый экземпляр прочитывает с превеликой осторожностью, например, раскрывает страницы на небольшой угол, непременно с закладочкой и т. п.

Как накатил книжный бум, для Олега начались сплошные волнения. Не только потому, что покупать книги стало трудно, — выбирать не дают! Скорей, скорей — подавай чек, бери экземпляр, какой дают, и отходи в сторону: задние напирают, и никто ожидать не хочет, тем более что выдача книги быстро кончается. Когда, прищурив глаз, бедолага Олег осматривает полученный экземпляр и выясняет, что достался неудачный, — отдашь ему взамен свой, если попался образцовый, значит, сделаешь лучший подарок. С дрожащими от волнения руками он примет от вас этот «презент» и поистине собачья преданность будет в тот момент в глазах его...

Олег решительно устранил из своей жизни все, что так или иначе заслоняет книги, отрывает от общения с ними. У него нет ни телевизора, ни радиоприемника. Из газет выписываются лишь «Литературная газета» и «Книжное обозрение». Никаких дополнительных развлечений — аскет да и

только! По части денег не разбежишься — родители пенсионеры, сам на инвалидности. Поэтому во всем, непосредственно не связанном с книгами, жестокие ограничения. Он мне сам признавался: «Какие фрукты! Я не знаю, что такое запах апельсина!» Строжайшая экономия на всем, в том числе на питании и одежде.

Чтобы быть в курсе, ничего не упустить, Олег дотошно изучает тем-планы всех центральных издательств, выпускающих художественную литературу, — да и не только центральных — и берет на заметку приглянувшееся.

Все это обязано на следующий год встать на полки! А интересы его обширны: от беллетристики до литературоведения, от мемуаров и воспоминаний до искусствоведческих изданий и альбомов. Некоторые ему говорят с упреком: «Тебе все надо!» Но это не вина его, а беда. И силы, и весьма ограниченные средства — все приносится в жертву на алтарь неумейной страсти.

Соответственно спланирован распорядок: днем в книжных магазинах, по вечерам чтение либо пластические операции над книгами — реставрация на дому. Для этого и соответствующий инструмент припасен: нож для обрезки края, аппаратик для тиснения, кусочки кожи и колтенокора. Вечерами приходится и подрабатывать: он исполняет (а мама и отец подсобляют) кое-какую надомную работу, что предлагают инвалидам, — клеит конверты, елочные игрушки, детские бумажные флажки или козырьки от солнца. Заработок скромный, зато надежный.

Однажды довелось провести у Олега целый вечер. В тот раз, помнится, я задержался на зачетах и пришел к нему поздновато. Дело сводилось к какой-то книжной операции, сейчас уж и не припомню, что именно обменивалось... Олега я застал за текущей работой — он подновлял золотом надписи на переплете и корешке какой-то давней книги, кажется, томика переводов Брюсова. Тишина в квартире гробовая. Отец в соседней комнате за чтением переводного детектива, а мама хлопочет на кухне.

После чаепития Олег на донце тарелочки разгладил настоящую английскую золотую фольгу, которую с превеликим трудом достал у патентованного переплетчика, и показал, как с ее помощью выполняется тиснение. Ну а потом настала очередь осмотра библиотеки. Он торжественно, будто перед святилищем, встал перед старомодным шкафом красного дерева с выступающим, как козырек, карнизом, резными завитушками и инкрустацией, отомкнул его ключиком и повел, повел по сокровищам.

Квартира из двух небольших комнат не позволяет разместить все книги на полках, и значительная часть их хранится в больших картонных коробках. От шкафа ключик держит всегда при себе — запирает от племянника, которого иногда приводит сестра, но, думаю, не только от него. Показывает книги с несказанным удовольствием, достает с полки с особой осторожностью, с благоговением. Книг до чертиков, но помнит каждую, когда и где приобретена, что за нее было отдано и так далее.

— Сейчас никто не поверит, а я году этак в шестьдесят пятом прихожу в «Книжный мир», и как раз целую тележку Булгакова вывезли. То-

го первого, синего. Стоял и преспокойно листал книгу — ее почти никто и не брал. Я его тоже не знал и долго решал, купить или нет, но все-таки взял. Вот он, голубчик, виден, совсем не изменился с тех пор! Вот эти шесть томиков Северянина выменял очень удачно, по случаю, — отдал шести-на-всего пятитомник Флобера!

— И не дрогнуло в тебе — ограбил ведь человека?

— Почему ограбил? Значит, срочно понадобился Флобер — бывает такое?

— Но в деньгах-то они все-таки далеко не равноценны, и этого товарищ, видимо, не знал.

— Я-то при чем — сам меня упрасивал (железная логика, против нее не попрешь). Северянин — мой любимец. Красиво писал. «Ананасы в шампанском» — какво! — Олег даже языком прицелкивает. — Вот — Мирбо в восьми томах, «Агасфер», «Петербургские трущобы» — все это в «букке», по тридцать-пятьдесят рублей старыми за том! Неплохо — а? (И глаза у него в этот момент точно у kota, того и гляди искры.) Выносили на прилавки. Сейчас-то разве купишь? Хотя и подскочили цены, номиналы-то прежние, да в новых деньгах, а все равно на прилавках не лежат. Полюбуйтесь — Вересаева «Спутники Пушкина» и «Пушкин в жизни», за них сейчас тоже бешеные деньги просят! (Надо в этот момент Олега видеть, как он воспарил, — и улыбочка при сем у него самая плутовская, дескать, как хорошо, что вовремя приобрел, не сплосал, брал по дешевке, упредил события.)

Одних собраний сочинений у Олега не менее сотни — на полки, ради экономии места, ставятся лишь первый и последний тома, а остальные — в коробках. Проза, сказки, книги о животных, поэзия, всевозможные серии, «старенькое» — всего не перечислишь, что я у него увидал. Пара полок занята исключительно серией издательства «Academia» — это чрезвычайно ценные книги, издававшиеся в двадцатые — тридцатые годы. Сейчас у любителей пользуются большим авторитетом. Много книг по истории России. Это, кажется, его слабость — «историю» собирает давно, любит о ней порассуждать. От «Повести временных лет» до пятнадцатитомника Сергея Соловьева. Пшебышевский, Карамзин, Мережковский... — далеко не полный перечень его собрания исторической литературы. И чувствуется, что все это прочитано, и не по одному разу. В ходе осмотра, вероятно, возникли ассоциации, и Олега «понесло»:

— Никак с нашей Россией не решишь, так сказать, в историческом масштабе. Просто загадка столетий, наподобие сфинкса. Сколько раз Европу удивляла, и не только удивляла — спасала!

Олег подтаскивает скамеечку, тянет руку наверх, под самый карниз шкафа, и достает оттуда ветхую небольшого размера брошюрку.

— В этой книжечке Гамсун описал свое путешествие в Россию. Назвал ее «Сказочной страной». Он тоже подметил эти черты русского характера. Вот, пожалуйста, у меня здесь заложено, цитирую: «Эта наклонность выбиваться из колеи, безрассудство, которое свойственно единственно русскому народу. Где же еще есть страна, в которой бы пьяница, под-

лежащий аресту, мог ускользнуть от него лишь потому, что обнимает, целует и молит полицейского о пощаде среди улицы?»

Но мне эти русские чувствительность, совестливость — не по нутру, просто даже раздражает. Я твердость, целеустремленность, рассудительность люблю!

Олег стоял передо мной в вельветовой пижаме, накинутой, как в больнице, почти наголо, и переход к рассудительности мало вязался с его тщедушным видом: костлявой узенькой грудью и болезненной бледностью. Казалось, что этим он сам себя заклиняет на манер йогов, тренирует силу характера, вдохновляется на ежедневную борьбу.

«Воспарил» Олег, а время позднее, пришлось возвращать его на бrenную землю. Осмотр сокровищ подходил к концу, пора было переходить к деловой части визита. А я, кроме прочего, собирался проконсультироваться. Дело в том, что срочно нужно было (на работе поручили) для подарка нашей сотруднице достать приличный альбом, а достать срочно можно только на книжном рынке. Олег у нас по рынку считается главным специалистом. Кроме магазинов, он еще и там регулярно толкается и добывает многое. Не покупает, не продает — только обмен. А свой обменный фонд постоянно пополняет во время ежедневных магазинных бдений. Набьет авоську детективчиками и на толкучку — терпеливо разыскивает, высматривает и нет-нет да и отхватит какую-либо редкость. А уж если что заметит, хватка у него мертвая, профессиональная — ни за что не упустит. Мне тогда все растолковывал — обстоятельно, со знанием дела: и к кому подойти, и сколько платить, и как торговаться. Такой консультации цены нет, потому что как истинный специалист, знаток — от души он ее дает!

...Известие о смерти Олега Алексеева вначале воспринималось неожиданным, нереальным. Не верилось, что никогда уже не увидим бледнолицего Олега, стоящего в кругу наших старушек, в своем финском картузике, с жаром обсуждавшего что-то книжное с Евгенией Степановной. А было ему всего сорок лет. Весна в том году выдалась мягкая, дули все время теплые легкие ветерки, такие же нежные, как шерстка котенка. И лишь немного не дожил до них Олег.

Поздней осенью, в ноябре — декабре, он сильно занемог. Я последний раз его видел сразу после Нового года. Он сильно изменился, совсем усох, лицо осунулось, и вокруг глаз черные окружья. О своем близком конце тогда еще он, конечно, не знал. А о книжных делах говорил с нескрываемой грустью, должно быть, предчувствовал — трудные наступают времена, в том числе и с подписками. Более уж видеть его не довелось. Вскоре он попал в больницу и оттуда не вернулся. Убивался, что застрял в больнице, а в магазине может пройти какая-нибудь редкость! Да еще мама обосновалась у его постели, апельсины привезла: «С ума сошла — деньги тратит не на книги!» — до последнего дня он ссорился с ней, прогонял дежурить в магазин:

— Мама, ты же знаешь: третья «Альтернатива» на подходе — она будет очень ценной. Если мы соберем все четыре книги, сможем совершить крупный обмен! Только попробуй ее упустить... Я этого никогда не прощу! —

так до последнего вздоха. Напрочь извел свою мать в те дни. Прожила она после Олега только одну неделю. Совсем обессилела, отвращение к пище возникло, ничего не хотела есть — умерла от горя и истощения.

По Олегу устроили поминки.

Собрались главным образом наши женщины, да еще Виталька Ученый и ваш покорный слуга. Справили все, как и положено, тихо и торжественно. Слово об Олеге произнес Виталька. Сказал, каким Олег был начитанным, до конца верным в своем призвании, отзывчивым на любые наши просьбы, истинным рыцарем книги. Собравшиеся его дружно поддерживали: «Давал дельные советы по обменам! Безошибочно определял, что придержать, а от чего освободиться». В общем, «профессиональный» треп.

А у меня все сумрачнее на душе делалось. Что они, в конце концов, значат — книжные сокровища, если за ними такая вот нелепая развязка следует?..

ДУШЕВНОЕ ЛЕКАРСТВО

Я вижу, что не только вы собрали книги,
но и книги собрали вас...

В. Шкловский

...Вот и подходят к концу эти разнородные записки о делах наших книжных. Пока они писались, случившиеся за несколько лет события вновь прошли в моей памяти. Еще раз я переживал их все по порядку, и постепенно через них мне открывалось нечто новое. Сознание сначала действовало по принципу скрытой камеры, а теперь, после «проявления», пришла очередь «переоценки ценностей». По-другому я стал думать и о книжном собирательстве. Над входом в библиотеку фараона Рамзеса II, три тысячи лет назад, была удивительная надпись: «Душевное лекарство». Ох, как нашим современным душам необходимо позарез это лекарство! Но не в торчании в магазинах только ради Сименона или «Анжелики» оно заключается.

Сергей Ерофеевич Поливановский, бывший директор Москниги, у которого, по слухам, одна из крупнейших любительских библиотек Москвы, пишет: «Иногда спорят: сколько надо иметь книг в личной библиотеке? Одни говорят — двести — триста, другие — в пять или десять раз больше. Скажем прямо — универсальных рецептов тут быть не может. Все зависит и от интересов, и от бытовых условий». Я бы еще прибавил — и от сердца книголюбца, сильно ли жаждет оно «душевного лекарства»?

Когда я думаю об этом, перед глазами возникает Надя-маленькая — тоже наша, книжница. Может быть, из последних беззаветных добровольцев книги. Всегда тихая и скромная, она стоит где-нибудь в сторонке, с тряпичной сумочкой, старенькое пальтишко ей велико, только и видны из него большие войлочные ботинки, и терпеливо ждет.

Основной досуг ее — чтение, а живет она совсем одна. Если предлагают ей книги какого-нибудь из горячо любимых поэтов, отдаст все, что

попросят. И нет для нее при этом никаких меркантильных расчетов и эквивалентов. В ее сердце есть книги — и все тут! А работает она уборщицей. Говорит об этом просто:

— Потому уборщицей, что работа через день и отлучиться можно — много времени на магазин остается... Зарабатываю мало? Да, с трудом хватает, особенно как книги подорожали. Теперь по воскресеньям с детьми сижу. Знаете, многие мамы — студентки-заочницы, им нужно в библиотеке заниматься. Вот я и помогаю — и читать при этом удается. Я в книгу вместо закладки вставляю кустику полыни. Представьте, зимой — какой это чудный запах, тонкий, с небольшой горчинкой. Достаньте мне Ходасевича, очень вас прошу! В школьные годы его стихи читала, и не могу забыть — остались наравне с лучшими детскими воспоминаниями. Впоследствии я вообще-то трудно жила, можно сказать, голодала. Так уж сложилось. Ахматову постоянно перечитываю — нравится она мне, потому что сердцем пишет...

А мне думается, что Надя сердцем читает. Достал я с полки томик стихов «Золотое перо», полученный от Нади, и сразу же различил полынный дух, словно летом где-то сено жгут, отыскал между страниц и маленькую пепельную веточку... А недавно столкнулся с Надей прямо в переходе метро. Сошла она с эскалатора, идет навстречу и на ходу читает — остановил ее.

— Ах, это вы? — она смешалась и покраснела. — Здравствуйте!

— Добрый вечер, Надя, зачитались, небось, детективом?

— Что вы! — краснеет еще более. — Это я Ахмадулиной зачиталась. Еду домой с дежурства, зато завтра у меня целый день свободный. Буду «на Калинина». Приходите, а то вас совсем не видно...

Тут я спросил у Нади интересующую меня книгу — стали договариваться. Предложил, конечно же, взамен стихи. И вдруг, неожиданно, она отказалась — мало, дескать.

— Надя, что с вами случилось? — спросил я изумленно. — Вы же наш последний рыцарь книги!

— Если бы вы знали, как тяжело стали книги доставаться! — только и сказала она в ответ, тихо и грустно, и при этом посмотрела не в лицо, а в сторону лестничного перехода на Калининский радиус.

— Не вешайте нос, Надя, все скоро изменится к лучшему! — воскликнул я, расставаясь.

...Три тысячи лет минуло, а душевное лекарство так и не подвластно времени.

Александр Галич

* * *

Когда-нибудь дошлый историк
Возьмет и напишет про нас,
И будет насмешливо-горек
Его неспешный рассказ.
Напишет он с чувством и толком,
Ошибки учтет наперед,
И все он расставит по полкам,
И всех по костям разберет.
И вылезет сразу, в середку
Та главная, наглая кость,
Как будто окурок в селедку
Засунет упившийся гость.
Чего уж казалось бы проще —
Отбросить ее и забыть?
Но в горле застрявшие мощи
Забвенья вином не запить.
А далее — кости поплоче
Пойдут по сравнению с той —
Поплоче, но странно похожи
Бесстыдной своей наготой.
Обмылки, огрызки, обноски,
Ошметки чужого огня...
А в сноске — вот именно в сноске —
Помянет историк меня.
Так значит — за эту вот строчку,
За жалкую каплю чернил
Воздвиг я себе одиночку
И крест свой на плечи взвалил.
Так значит — за строчку вот эту,
Что бросит мне время на чай,
Веселому, щедрому свету
Сказал я однажды: «Прощай!»
И милых до срока состарил,
И вольно шагнул за предел,
И любящих плакать заставил,
И слышать их плач не хотел.
Но будут мои подголоски
Звенеть и до судного дня.
И даже не важно, что в сноске
Историк не вспомнит меня.

Анна Ахматова

* * *

Заболеть бы как следует, в жгучем бреду
Повстречаться со всеми опять,
В полном ветра и солнца приморском саду
По широким аллеям гулять,

Даже мертвые нынче согласны прийти,
И изгнанники в доме моем.
Ты ребенка за ручку ко мне приведи,
Так давно я скучаю о нем.

Буду с милыми есть голубой виноград,
Буду пить ледяное вино
И глядеть, как струится седой водопад
На кремнистое влажное дно.

Михаил Кузмин

* * *

Среди ночных и долгих бдений
И в ежедневной суете
Невидимый и легкий гений
Сопутствует моей мечте.
Нежданную шепнет строку,
Пошлет улыбкой утешенье
И набожному простаку
Простейшее сулит решение.
И вот небедственны уж беды,
Печаль забыта навсегда,
И снятся новые победы
Простого, Божьего труда.
Я долго спутника искал
И вдруг нашел на повороте:
В поверхности любых зеркал
Его легко, мой друг, найдете.
Печален взор его лукавый,
Улыбок непонятна вязь,
Как будто недоволен славой,
Лишь к славе горестной стремясь.
Вы так близки мне, так родны,
Что кажетесь уж нелюбимы.
Наверно, так же холодны
В раю друг к другу серафимы.
Но спутник мой — одна правдивость,
И вот — пусты, как дым и тлен
И бесполезная ревнивость
И беглый чад былых измен.
И вольно я вздыхаю вновь,
По-детски вижу совершенство:
Быть может, это не любовь,
Но так похоже на блаженство.

Максимилиан Волошин

* * *

Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних слов...
В них есть запах, в них есть прелесть
Умирающих цветов.
Я люблю узорный почерк —
В нем есть шорох трав сухих.
Быстрых букв знакомый очерк
Тихо шепчет грустный стих.
Мне так близко обаянье
Их усталой красоты...
Это деревья Познанья
Облетевшие цветы.

Владислав Ходасевич

ИЩИ МЕНЯ

Ищи меня в сквозном весеннем свете.
Я весь — как взмах неощутимых крыл,
Я звук, я вздох, я зайчик на паркете,
Я легче зайчика: он вот, он есть, я был!

Но, вечный друг, меж нами нет разлуки!
Услышь, я здесь. Касаются меня
Твои живые, трепетные руки,
Простертые в текучий пламень дня.

Помедли так. Закрой, как бы случайно,
Глаза. Еще одно усилие для меня —
И на концах дрожащих пальцев, тайно,
Быть может, вспыхну кисточкой огня.

Георгий Иванов

* * *

Я люблю безнадежный покой,
В октябре — хризантемы в цвету.
Огоньки за туманной рекой,
Догоревшей зари нищету...

Тишину безымянных могил,
Все банальности песен без слов.
То, что Анненский жадно любил,
То, чего не терпел Гумилев.

Игорь Северянин

НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ СОН

Мне удивительный вчера приснился сон:
Я ехал с девушкой, стихи читавшей Блока.
Лошадка тихо шла. Шуршало колесо,
И слезы капали. И вился русский локон.

И больше ничего мой сон не содержал...
Но потрясенный им, взволнованный глубоко,
Весь день я думаю, встревоженно дрожа,
О странной девушке, не позабывшей Блока...

НАШ САТИРИКОН

Владимир Лазарев, Ольга Туганова

БИБЛИОТЕКА ТИХОНЫ ШУМИЛКИНА



**Владимир Лазарев,
Ольга Туганова**

БИБЛИОТЕКА ТИХОНА ШУМИЛКИНА

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь...

*К. П. Прутков.
«Плоды раздумия»*

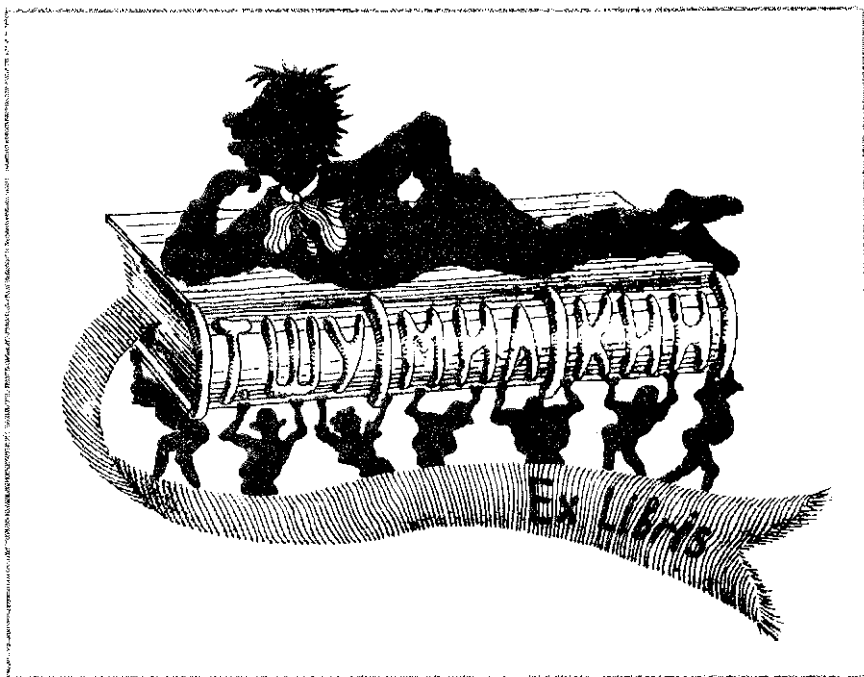
Некоторые нелепости и веселости через годы
внезапно обретают серьезный смысл.

*Т. М. Шумилкин.
«Алмазная скрижаль»*

Скажем сразу и без преувеличения: Тихон Шумилкин — самый библиофильский из всех существовавших когда-либо поэтов, ибо никто из них не был так связан с личной библиотекой (постоянно пополняющейся), как он. Можно сказать: Тихон Шумилкин — библиофильский гений, ибо как поэт принципиально синтетический он почти в полном объеме своего интеллекта проистекает из собственной библиотеки и является одновременно ее причиной и следствием.

Что же представляет собой его библиотека? Как бы вы ни были изощрены в библиофильстве, книговедении и собирательстве, каким бы отменным книгоцеем вы ни были, вы не сможете представить себе библиотеки нашего поэта. О, вы не знаете библиотеки Тихона Шумилкина! Она в полном смысле слова уникальна. Если в библиотеках самых выдающихся коллекционеров со времен Альдов — начиная с Альда Мануция-старшего, издавшего книгу «Война сна и любви» и основавшего «Новую Академию», и задолго до него (вне Гутенберговой Галактики), так же как и в библиотеках более близких нам собирателей: А. Ф. Смирдина, С. Р. Минцлова, Д. В. Ульянинского и собирателей нашего времени Н. П. Смирнова-Сокольского, В. Г. Лидина, М. И. Чуванова, А. И. Маркушевича, венгра Иштвана Рат-Вега (автора чудесной «Комедии книги») и во многих других отечественных и зарубежных личных собраниях — обязательно встречаются те или иные редкостные книги, всемирные драгоценности, то книг из библиотеки Тихона Шумилкина ни в одной из этих библиотек встретить невозможно. Их там нет! Историки литературы могут познакомиться с этими изданиями только в библиотеке Т. Ш., которая, таким образом, станет суммой историко-литературных источников. Т. Ш. обнаружил незаурядное искусство составления книжного букета — неповторимой книжной икебаны.

Но, отличаясь от библиотек выдающихся коллекционеров разных времен и народов, книжное собрание Т. Ш. в не меньшей степени отличается и от библиотеки разбогатевшего выскочки Тримальхиона, описанного «арбитром изящества» при дворе Нерона римским писателем Гаем Петро-



В. Левенок. Эксилибрис
(название по-датски)

нием в «Сатириконе», в той части романа, которая названа «Пир Тримальхиона». И если Тримальхион собирал книги исключительно из тщеславия, то Тихон Шумилкин — исключительно из необходимости, ибо его собрание книг, как ни у кого другого, стало частью его ремесла и призвания. Исключительно рабочая библиотека! Идеал и эталон таковой: все функционально.

Несколько слов о жизненном пути синтетического поэта-библиофила.

Его имя впервые прозвучало в московском сборнике «День поэзии — 1981» (М., 1981) на странице 117, где, среди прочего, сказано: «...возник даже некий тип процветающего стихотворца (особый феномен нашего времени)... О таких еще говорят: «тихий танк». Шумилкин, перебираясь с кочки на кочку, с бугорка на бугорок, наконец выхлопывает себе или занимает (следует отметить поразительное, какое-то машинное упорство этого типа) какое-нибудь литературное место... И наконец бедный Шумилкин начинает издаваться. Сначала редко. Потом чаще... От него уже некуда

деваться! И один из покровителей бедного Шумилкина, рассеянно перелистывая издательский план, неожиданно вскрикивает и хватается за голову: «Это у Шумилкина-то одноклассник избранного?! Боже мой! Да что же это делается, братцы?!» «То-то и делается...» — отвечают ему».

Однако нельзя сказать, что дальнейший путь Т. Ш. был усыпан розами и что мытарства его кончились. Сперва он работал редактором отдела переводной литературы с национальных языков одного из столичных издательств, затем — поднявшись на ступеньку выше — стал заведовать отделом литературы и искусства в журнале «Заготовление сельскохозяйственных продуктов» — что на Чистых Прудах. Тут уж он мог в некотором роде соотносить свое служебное положение с положением директора Пробирной Палатки, коим был Козьма Прутков. При этом Тихону продолжала рисоваться радужная перспектива. Дело в том, что Т. Ш. обладает особенным даром: он умеет отыскать перл в гигантском море поэзии! Его неутомимая деятельность раздвоилась: с одной стороны, он нырял за жемчужинами на самое дно поэзии и, перелопачивая огромное число изданий, пылился на полках, добывал их; с другой стороны, некоторые поэты сами, что называется, добром отдавали Тихону свои, но приглянувшиеся ему строки (он все-таки как-никак занимал литературное место!). Не ценками, а приглянувшимися ему строками брал Шумилкин, печатая своих собратьев, — что так же уникально, как его библиотека. А в знак поощрения любимых авторов и своего к ним расположения он оставлял их книги у себя. Так возникло и стало быстро расти его книжное собрание.

Тихон собрал много высокоценных строф и строчек. Например, он уговорил одного знаменитого поэта отдать ему следующую великолепную строчку: «Был для нас Окуджава, как Чехов с гитарой». Знаменитый поэт долго сопротивлялся, потому что эта строка ему самому очень нравилась, но наконец сдался, не выдержав натиска Шумилкина. Вот поэтому стихотворение «Киоск звукозаписи» появилось в «Дне поэзии — 1981» без этой изумительной строки, тогда как в журнале «Юность» того же года оно было напечатано с нею.

Отдавая свои строки Шумилкину, поэты как бы концентрируются, соединяются в нем. Т. Ш. гордо объясняет принцип своего творчества: «Я отвергаю отражение отраженного! Я окунаюсь в самую стихию поэзии: беру понравившееся живьем, как оно есть». Подробнее о механизме стихотворчества нашего почтенного автора можно узнать из публикации «Загадка Т. Ш.» и «Синтетический поэт (Тихон Шумилкин)» в журнале «Вопросы литературы» (смотри библиографию в конце статьи).

Сюжет Т. Ш. быстро развивался. Он появляется на страницах различных изданий, и, находясь в полном расцвете сил, наш герой прибегает к мистификации. Он объявляет себя усопшим — чтобы воистину прославиться! (Особенно его воодушевило то, что цепь известных мистификаций пополнилась в наши дни публикацией «Архива семьи Раменских» в журнале «Новый мир» (1985. № 8, 9), вызвавшей сенсацию.)

Тут и возникла во всей остроте проблема литературного наследия Т. Ш. Под публикациями этого необозримого наследия стали появляться

следующие обозначения: ЦГАЮС (Центральный Государственный архив Юмора и Сатиры), фонд ДП — 1981, опись 117, единица хранения... (что означает: «День поэзии — 1981», страница 117, — то есть зашифрованное место литрождения Т. Ш.).

Открыв общественности сию тайну, заметим, что в период ложного физического исчезновения Т. Ш. его друзья и передали нам часть его бесценного архива. Об архиве появились сведения в печати. Серьезные литературоведы, посоветовавшись за «круглым столом», назвали Тихона Шумилкина выдающимся и наиболее совершенным синтетическим поэтом нашей эпохи, а также поэтом-документалистом. Ближайшие друзья нашего героя, поэт-песенник Марк Рифман и неизданный прозаик и непризнанный художник Христофор Патроносов, высказали интересную мысль: провести, совместными силами Института мировой литературы (ИМЛИ) в Москве и Пушкинского дома (ИРЛИ) в Ленинграде, конференцию на тему «Тихон Шумилкин и современная антикультура»*. Заметим, что сам Т. Ш., представляясь, чаще всего называет себя коротко: «Поэт-садовник». Этот чин очень пришелся ему, владельцу садово-огородного участка, по вкусу с тех самых пор, как в книге Д. Жукова «Козьма Прутков и его друзья» (М., 1983. С 2) было напечатано, по недосмотру корректора, что К. Прутков — «поэт-садовник» (вместо «поэт-сановник»). Это случайное изменение «н» на «д» чрезвычайно понравилось Тихону Шумилкину, и он к своим титулам синтетического поэта, поэта-документалиста и первооткрывателя реализма шумилкинского толка стал прибавлять — «поэт-садовник».

Следует отметить, что, по всеобщему признанию, Тихон Мокеев Шумилкин обладает в движении по литературе какой-то «нелепой силой» (как Игорь Северянин сказал о Козьме Пруткове в сонете «Прутков», опубликованном в сборнике стихов «Медальон» (Белград, 1939)).

После ложной смерти Т. Ш. его произведения стали наперебой печатать все самые солидные столичные и периферийные издания. «Успешный» Т. Ш. почувствовал обиду: при всем том его как бы и нет на свете! «Для чего тогда всё?» — подумал он и решил снова объявиться среди живущих с той благородной целью, чтобы его узнавали в лицо в магазинах, поликлиниках, в городском транспорте и на стадионах. Он, однако, великодушно оставил часть своего скопившегося литературного наследия в наших руках и в нашем распоряжении, смекнув, что ему выгодно пребывать разом и на том, и на этом свете — для более объемного процветания. Но, вкусив оное, он, в отличие от многих, не запил, не распустился, а продолжал усердно работать по принципу «жаворонок-сова», то есть днем и ночью.

Все, написанное ночью, он аккуратно переписывал к утру в толстые великолепные альбомы ин-фолио (где он доставал их — трудно себе представить), посвящал отдельные произведения высокопоставленным лицам и наклеивал на страницы их портреты. Все это перевязывал голубыми шелковыми лентами и упаковывал в целлофановые мешки, которые

* В связи с Т. Ш. может, мы полагаем, возникнуть и утвердиться социо-философское понятие: библиотечная антикультура в раннюю эпоху глобального телеохвата.

тоже завязывал лентами — но на этот раз красными. Какой изумительный вкус! В таком непромокаемом виде — в целлофановых мешках — произведения Т. Ш. были готовы к отправлению в вечность...

Из всего вышесказанного становится, мы надеемся, понятно, как богата библиотека Т. Ш. и какой прекрасный товарный вид она имеет! Многие сочтут за честь попасть в это собрание и по своему собственному почину будут непрестанно пополнять и без того ломящиеся под тяжестью книг и папок полки.

Уникальная библиотека Т. Ш. заслуживает того, чтобы совершить по ней хотя бы краткое путешествие (что мы и предлагаем читателю).

Библиотека Т. Ш. состоит из: 1) книг авторов, коих Т. Ш. возлюбил; 2) из собственных его сочинений и изречений; 3) из редких рукописей и переписки.

Подходим к полкам. Перво-наперво внимание привлекает книга, облаченная в старинный переплет из телячьей кожи, темный и потрескавшийся, с золотым тиснением и украшенный чеканкой — бросающиеся в глаза диковинные звери и птицы. Мы было подумали, что здесь скрывается одна из альдин — скажем, «Война сна и любви» — или сочинение Эразма Роттердамского, — но нет, это — собственные сочинения Т. Ш., приобретенные им к изначальной мировой культуре. Открываем серебряные заставки и одно за другим читаем названия: «Алмазная скрижаль», «Библиофизмы», «Мысли из исповеди спонтанной», заметки «Дни и жизнь в литературе», «Из личного кодекса преуспевающего синтетического поэта», «Мое открытие меня — автобиографическое исследование». Мы не можем удержаться от того, чтобы не процитировать хотя бы несколько строчек из автобиографического исследования.

МОЕ ОТКРЫТИЕ МЕНЯ

Мне было 3,5 года. Помню точно, где стояла моя зашнурованная кроватка с шишками... Я бессознательно тянулся не к игрушке, а к книжке...

Сейчас я пишу мучительно долго. А тогда все сказалось само, неожиданно, сразу, единым духом. Ждали отца, он был в отъезде, и я написал:

Мчится поезд издалека,
Мчится быстро и легко.
Дым кружится и летает
И несется далеко.
Едет папа,
Едет к Тишке,
Едет к сыну своему,
И подарки дорогие
Он везет ему.

Меня до сих пор поражает ритмический рисунок этого стиха...

Тогда, создав первое произведение, в три с половиною года, и, видимо, почувствовав, что больше ничего путного создать не могу, я надолго замолчал и молчал до восьми лет, а потом стал писать стихи...

У меня неизбежность писать от любви и сострадания к человеку... Страдать может любой. Сострадать — только большой человек...

Это — доподлинный текст беседы Н. Доризо (Неделя. 1984. № 7. С. 21) с некоторыми изменениями: вместо «к Коле» Шумилкин поставил, естественно, «к Тишке».

Страницы тома с переплетом из телячьей кожи буквально усыпаны драгоценными бриллиантами мысли и слова! В «Мыслях из исповеди спонтанной» много рассуждения о том, что такое культура (ведь Т. Ш. приходилось бешеным аллюром осваивать и перерабатывать оную). Эпиграфом к своему эссе о культуре Тихон поставил очень импониовавшее ему восклицание одного поэта-авангардиста: «Культура — это не хухры-мухры!» (Лит. газета. 1985. 9 янв.).

А вот несколько высказываний из «Алмазной скрижали», связанных с любовью к книге (библиофизмы):

- Возвращать книгу владельцу — плохой тон!
 - Вложить новые сочинения в старинные переплеты равносильно тому, что влить новое вино в старые мехи.
 - Засевай маргиналиями поля книг!
 - Не люблю, когда в книге слышится стук науки!
 - Среди детских писателей часто встречаются балбесы...
 - Все бегут затем, чтобы вписаться в реестровую книгу.
 - Некоторые думают, что они познали мою творческую лабораторию. Но — кто копался в мозгу у Шекспира?!
 - Читая многих классиков, я понял, что пир приходит во время чумы.
 - Я — рыцарь книги и энциклопедист конца XX века. К концу века я ускоренным образом одолею тьмы и тьмы книг и перекою их в шедевры...
 - Собирая пыльцу со всех цветов, я есть истинный представитель многотысячного отряда современных поэтов.
 - Я должен возглавить борьбу против серых книг!
 - Вопросаю: кому из окружающих меня друзей нужна библиография? Отвечаю с полной уверенностью: никому.
- Далее — предписания из «Личного кодекса процветающего поэта»:
- Я начал коллекционировать чернильницы, памятуя о словах Л. М. Леонова (классик!), что скоро мы станем принимать человека в Союз писателей только за то, что он купил чернильницу.
 - Не забывать справлять юбилей! Недавно был отпразднован юбилей молодой, десятилетней поэтессы. Мне надо навестывать время!
 - Беседы, интервью и доклады следует начинать словом «нравственность».
 - Появление роботов в литературе обнадеживает. Не дразни литературных роботов, но дружи с ними!
 - Надо время от времени устраивать свои творческие вечера на стадионе. При этом председательствовать должен футболист — лучший бомбардир сезона.
 - Сейчас модно быть скромным. Будь им, но не доверяйся целиком капризной моде, держи ухо востро! Ибо — как написано в записной книж-

ке одного из моих учителей — «скромность — это кратчайший путь к забвению».

— Не отбивайся от стаи!

— Одно и то же произведение надо печатать сразу в нескольких журналах. Прибыльнее! И вместе с тем это — знамение времени и развитие инициативы на местах.

— Надо издать толстую книгу в богатом переплете — «Избранное из ничего».

— Надо организовать на телевидении постоянную программу «Жизнь поэтов». Я — ведущий! Тогда тираж моих будущих запланированных книг подскочит невиданным образом!

— Скворец Гриша получил на Международной выставке птиц золотую медаль. Он приветствовал гостей выставки на узбекском, русском и чешском языках. Получили медали также друзья Гриши: лиловый дрозд и белшапочная горихвостка. (Из газет.) — А что же я?! Я ведь тоже беру из узбекских, из русских, из чешских, даже из английских переводных стихов. Да и негоже мне быть без медали в наш век сплошного омедаливания всех живых существ!

Какая бездна мысли! Листаем, листаем, листаем... Оказывается, мы проникли в кипящий реактор творчества Т. Ш., скрытый под переплетом из телячьей кожи.

Но некогда задерживаться! Нас ждут новые открытия... Наше внимание привлек том в роскошном переплете. «Князь Серебряный» А. К. Толстого... Зачем он здесь? Оказалось, что Тихон выдрал из роскошного переплета его изначальное содержание и вплел в этот переплет вырезки из газет и журналов — полюбившиеся ему стихотворения и эссе. Под переплетом «Князя Серебряного» скрывается и «Архив семьи Раменских» — мистификация, о которой говорилось выше.

Заметим, что в комнате-библиотеке Т.Ш. находятся две картины, написанные его другом — неопубликованным прозаиком, а также непризнанным художником Христофором Патроносовым. Одна из картин — это портрет (тоже уникальный!) — Чехов с гитарой в духе сюрреализма и на сюжет стихотворения «Киоск звукозаписи»; другая — огромное полотно, писанное яркими красками, — «Появление Тихона Шумилкина в литературном обществе из пены морской в Коктебеле». Последняя картина написана в стиле роскошного (быть может, даже лакированного) реализма! Здесь же на полочке гипсовый бюст поэта Боба Гладиаторского с выразительными бородавками на лице, с губами в форме буквы «о», но с отбитым кончиком носа. На бумажной ленточке, обвивающей бюст Боба Гладиаторского, рукой Т. Ш. помечено: «Образцовый поэт». На письменном столе Т. Ш. два портрета-миниатюры: бедного дворянина Феофилакта Косичкина и философа Козьмы Пруtkова. Оба портрета — старинной работы. Надо сказать, что Тихон Мокеев и его друзья с большой охотой готовятся к юбилею первой публикации статьи К. Пруtkова «Проект о введении единомыслия в России» и к юбилею печатания военных афоризмов этого славного философа и книгогочя XIX века.

Среди старых и старинных изданий, приобретенных Тихоном Мокеичем в самое последнее время и расположенных неподалеку от портретов Козьмы Пруtkова и Феофилакта Косичкина, выделяется сочинение Николая Гавриловича Курганова, «профессора и кавалера», как он себя сам именовал, — его первое издание «Письмовника» (1769), которого ни у кого нет, весьма ветхое, зачитанное, с пропуском страниц, в десятый раз, наверное, переплетенное. Оно было подарено Тихону Мокеичу неким реликтовым интеллигентом, который сделал следующую дарственную надпись: «Глубокоуважаемому Тихону Мокеичу — удивительному энциклопедисту конца века». Величайшим человеком почитал Курганова Феофилакт Косичкин — «тот самый, который свои стихи и прочие художества печатал под фамилией “Пушкин”», — не забывал заметить Тихон Шумилкин.

Тихон Мокеич заказал фотоколлаж, который будет называться «Три века», призванный переплюнуть даже полотно И. Глазунова «XX век». На фотоколлаже должны быть, как предписал мастеру Тихон Шумилкин, «справа кудри профессора и кавалера (XVIII век), слева — надменный взгляд и пышный бант сановника, директора Пробирной Палатки (XIX век), а посредине — «Я» — заведующий отделом Худ-литературы и Худ-искусства журнала «Заготовление сельскохозяйственных продуктов» (XX век)».

Тихон Шумилкин сделал много выписок из Курганова и комментариев к его высказываниям. Этому в дальнейшем мы посвятим отдельный трактат. Здесь же приведем лишь одну выписку из «Письмовника» и один комментарий Тихона Мокеича. «Француз говорил, что многие русские портятся в чужестранных землях. “Это правда, — отвечал русак, — но всякий иноземец исправляется в России”.

“Это — главный краугольный камень российского юмора”, — написал Тихон Мокеич.

Много примечательного в библиотеке Тихона Мокеича — и даже загадочного. На письменном его столе лежит камень довольно больших размеров. История его, поведенная нам друзьями Т. Ш., такова: Т. Ш. в высшей степени понравилось стихотворение «Камень Байрона» из книги А. Ковалева:

Что-то бурное,
 Что-то тайное
 Ты, Женева, в себе сберегла.
 Камень Байрона,
 Камень Байрона
 На твоих берегах.
 Покрыт тот камень
 Ржавой росой,
 Суров, как Кальвин,
 Прост, как Руссо.

— Да это же про меня! — возопил Т. Ш., прочитав это стихотворение. Я — суров и прост!

И тут же Т. Ш. отправился на соседний пруд, несколько раз нырял и достал из тины камень довольно больших размеров, обмыл его и водрузил на свой письменный стол. Называет Т. Ш. камень по-разному: камень Кальвина — Байрона — Руссо, а иногда короче: «Камень Тихона Шумилкина» — и обещает написать историю этого камня в стиле Менипповой сатиры (то есть смешения прозы и поэзии), интуитивно следуя писаниям Мениппа из Гадары, жившего в III веке до нашей эры.

Т. Ш. известно, что ныне самый шик — это знать древних авторов. Поэтому он поставил книжки А. Ковалева «Бессонная артерия» (М., 1981) и «Вдруг» (М., 1982) рядом с томиком Плутарха. «Ковалев и Плутарх стоят у меня рядом — как у телекомментатора Зорина», — не забывает сказать Т. Ш. всем, осматривающим его библиотеку. И добавляет: «Если признаться честно и по душе, то у этого самого Плутарха ни одной настоящей ценной строки нет. А у Ковалева — все наоборот! А. Ковалев — один из величайших поэтов и мыслителей современности!»

Чуть поодаль от письменного стола висит большой портрет (в жанре фотореализма) какого-то дикого старика в войлочной шляпе, из-под которой торчат длинные волосы. Под этим таинственным изображением приклеена фраза, вырезанная откуда-то из газеты: «Безграмотный мудрый старик мне чем-то напоминает одновременно Гомера и Бояна». А под этим рукою Тихона Шумилкина обозначено: «Мой учитель». (Нам не удалось разгадать, кто мог бы быть этим Гомером и Бояном одновременно.)

Возвращаемся к книжным полкам. Вот трехтомник одного из любимых поэтов Т. Ш., автора двестишести:

Разрядите меня, как лушку,
А не то я сойду с ума...

Вот — сборник стихов Л. Ошанина «Самолеты и соловьи» и 3-й том его же Собрания сочинений, в коем скрываются неподражаемые стихосложения. Например, «Колыбельная», под которую дитя нежно баюкают, приговаривая:

Спи, моя молекула,
Зоренька моя...

Некоторые стихи — в виде газетных и журнальных вырезок — прикреплены бельевыми прищепками к веревке, протянутой через всю комнату. Мы взяли одну из них наугад, и нам повезло: это оказалось тоже одно из стихотворений Л. Ошанина:

...Что такое Тында?
Что такое Тында?
Тында — это там, где ты.
Только я приеду,
Тында станет Яндой...

Другое стихотворение с бельевой веревки принадлежит С. Островому. Оно называется «Самозащита» и содержит весьма характерную поэтическую формулу:

Я люблю обманывать дорогу,
Чтобы вечно властвовать над ней.

Здесь рукой Т. Ш. приписано: «Надо устроиться к нему на длительную выучку». И еще одна потрясающая строка из другого стихотворения того же автора:

Русалочье личико в тине...

В скобках Тихон Шумилкин пометил: «Нарисовать! Т. Ш.»

На отдельной полке стоят поэма Л. Щипахиной «Мой XX век» (М., 1984), сборник стихов И. Костина «Осенние листья» (Петрозаводск, 1984), книга Н. Шумакова «Солнце на кургане» (М., 1984) и все прочие издания его стихов («Он очень близок моему сердцу», -- гласит одна из маргиналий, сделанных рукою Т. Ш. на книге Шумакова).

Не можем удержаться, чтобы не прочесть стихи Шумакова, снова не насладиться ими:

Сорвал ромашку я,
Чтоб подарить любимой,
Но милая ромашку не взяла.
Прости меня, ромашка, не со зла,
А от любви лишил тебя я жизни!

Марк Рифман сказал, а Т. Ш. записал на полях: «Какое великолепное пасторальное стихотворение!»

А вот наоборот — герой-злодей, выведенный в одной из поэм Е. Крыльцова. Мы берем его «Мартовские звоны» (М., 1985). Стр. 59 и 62 заложены черной бархатной ленточкой. Открываем и читаем:

Расположившись за кустами,
Атаковав подводный мир,
Мы поплавок едим глазами;
Он — самый важный командир...

На берегу, как на смех рыбе,
Без клева с удочкой сидишь,
И поплавок из водной зыби
Тебе показывает шиш.

.....
Словам поверив зубоскальца,
Старалась верить до конца.
Но ускользнули его пальцы
От обручального кольца.

Это — очень жалобная поэма: о том, как утопилась девушка — невинная жертва обманщика. Т. Ш. любит, читая эти строки, напоминать

своей жене Рае Шумилкиной-Центровой: «А я поступил как порядочный человек: женился».

На томе произведений П. Вегина, стоящем тут же, обозначено рукой Т. Ш.: «Большой философ!» — и отчеркнуты красным карандашом в тексте следующие строки:

Время — племя! Время — бремя! Время — темя?
 То есть медленное наше облысение?
 Может Время — это вымя? Его млеко
 из молекулы вскормило человека...

Но далее! Далее! Сборник И. Резника «Монологи певицы» (Баку, 1980) — одна из драгоценностей шумилкинской библиотеки. Книжка представляет собой полиграфический шедевр периода брежневского рококо. Она оформлена в цвете по эскизам эстрадной певицы Аллы Пугачевой. На обложке — полуголая дива, на каждой странице — рисованная заставка в том же стиле и крупно набрано: «Илья Резник», дабы можно было расхватать книжку по отдельным страничкам. Предисловие Пугачевой — на страничку — заканчивается автографом: воспроизведена подпись певицы и начертано бесценной рукой сердечко. Слева — портрет автора с бантом на фоне гигантских томов (возможно, переплетов?). Невольно вновь вспоминается «Пир Трималхиона». Что же касается содержимого, то откройте книжку на любой странице, например — 66-й:

Я не скромна. Но вы скромны. Спасибо.
 Я не тонка. Но вы тонки. Мерси.
 Читали вы Платона, Кафку, Скриба
 И знаете, кто Бах, кто Дебюсси...

Это — нечто совершенно библиофильское! Т. Ш. отчеркнул эти строки красным карандашом и поставил три восклицательных знака. И в самом деле, какое единство содержания и оформления! Наличие данной книги в рассматриваемом собрании наводит на мысль, что библиотека Т. Шумилкина поистине золотая!

Конечно, Тихон не мог не включить в нее книгу А. Дементьева «Азарт» (М., 1983). Она стоит, как на выставке, портретом автора наружу. Тихон часто читает из этой книжки в тесном кругу семьи — восстанавливая традиции домашнего чтения. Он и его семья очень любят такие, например, строки:

[Место встречи — «Жигули»]*

Мы простились у подъезда.
 Вспыхнет свет на этаже.
 Уведу пустое место
 С пустотою на душе. (С. 52)

* Т. Ш. нередко давал чужим произведениям свои заголовки и заключал их тогда в квадратные скобки.

Рае — жене Т. Ш. — из этой книги особенно импонируют такие строки:

Нет женщин нелюбимых,
Пока мужчины есть. (С. 46)

Рая не устает цитировать эти строки вновь и вновь. И оба они — и Тихон, и Рая — рыдали, когда читали историческое стихотворение из «Азарта»:

Во гробу свинцовом, во тяжелом
Возвращался Лермонтов домой... (С. 57)

Любимица семьи Шумилкиных также книга Л. Щипахиной «Мой XX век». (На обложке рукой Т. Ш. написано: «Почему это ее XX век?! это — мой XX век! Т. Ш.») Мы раскрыли наугад книгу и прочли следующие строки:

[Интеллигент]
...Вот идет интеллигент,
Толчеей людской зажат.
Фейербах, Плеханов, Кант
В чемоданчике лежат.
.....
Вот идет интеллигент,
Весь цитатами набит.
Ест в закусочной лангет,
Утоляя аппетит.
.....
Настулая на сугроб,
Переходит на проспект,
И его высокий лоб
Выражает интеллект...

На полях этой поэмы Тихон Шумилкин написал: «Я не только синтетический поэт. Я — поэт-интеллигент — еще не разучился читать книг!»

Шумилкин высоко оценил Резника-Второго: В. Резника. Многие стихи из его книги «Возраст» (М., 1982) помечены Т. Ш. разными цветными карандашами. Например, такое прелестное произведение, как:

[Сосед]
Растишь пацанку.
Любишь в меру
Свою законную жену,
Хотя не меньшую, к примеру,
Испытываешь страсть к вину...

Следующие два стихотворения Т. Ш. украсил маргиналией: «Библиофиада!»

[Стихотворение «Три звездочки»]

Скажите, какая корысть
Своей поступиться основой?
Неужто же граф Монтекрист
Сиятельней графа Толстого!

[Вся библиотека]

Стихи, Монтень, да томик Чехова,
Ну вот и вся библиотека.
Читать, пожалуй, больше некого
От классиков до имярека.

Мы узнали, что Т. Ш. еще не уверен, присвоит ли он стихи про Монтеня и томик Чехова — ведь его библиотека гораздо богаче, а вот Монтеня и Чехова в его собрании как раз и нет! Однако с уверенностью можно сказать, что другие стихотворения В. Резника — так же, как и И. Резника, — войдут в ближайшие публикации Тихона Шумилкина и будут отнесены критикой к самым его выдающимся произведениям.

Характерная особенность библиотеки Т. Ш.: соседство аккуратно расставленных книг и книжных завалов.

Случайно мы обратили внимание на стопку книг большого формата под письменным столом (на полках уже не хватало места). Это оказались разрозненные выпуски столь популярных в народе сборников «День поэзии». Т. Ш. — человек высоких принципов. Он заявил: «Я вернусь в свою альма патер!» Если для кого-то стены высшей школы — альма матер, то для Т. Ш. «День поэзии» — его альма патер! Он перечитал все вышедшие «Дни поэзии» и нашел там много для себя подходящего.

Вот, например, из «Дня поэзии» 1982 года:

[В зазоре от сипа]

Посмертно светя иль предсмертно сипя,
А лучше — в зазоре от сипа ко свету,
Наверное я доберусь до себя,
Потыкаю пальцем в материю эту...

(Мария Кудимова. С. 115)

[Вопрос к руке]

Скажи, кого спасла твоя рука?
Спасла она дитя или старуху,
Или она, как сети наука,
Опутывала гибнущую муху?

(Вениамин Блаженных. С. 134)

[Дама пик]

Меня искали ночью звезды,
 Днем — солнце, в сумерках — огонь.
 Куда, куда, куда завез ты
 Ее, горбатый, хитрый конь?
 Ужели у нее дитятя
 Иль страстно любящий мужик!
 Ужель на картах в ее хате
 Не выпадает дама пик!

(Татьяна Реброва. С. 142)

И из других «Дней поэзии» Шумилкиным много взято. Все стихи из «Дней поэзии» переплетены в сафьяновую тетрадь, выделанную народными умельцами, и им дано одно общее название: «Лирическое наступление». Придан им и эпиграф: «Моя рука — владыка. Я объединил «Дни поэзии» в уникальный синтетический тип мышления и творчества. Тихон Шумилкин».

Мы обратили внимание на большое кресло, обитое кожей и с шпешечками. Над креслом — большой портрет хозяина дома, выполненный типографским способом. Сидя в этом кресле, Т. Ш. по средам с 16 до 18 принимает поэтов, библиофилов, критиков, литературоведов и просветителей, печатающихся в главных столичных изданиях, но не пренебрегающих и журналом «Заготовление сельскохозяйственных продуктов».

Судя по всему, Тихон придает немалое значение книгам современных просветителей, а также критиков. Об этом свидетельствуют, например, следующие две книги из его библиотеки: Г. Громоздов. «За здоровый быт» (М., 1964) и книга статей Д. Овинникова «С тобой, Россия» (М., 1984). Из Громоздова Т. Ш. заимствовал великолепные афоризмы: «В любви участвуют двое, и возникает третья, новая жизнь. Здесь кроется общественный интерес» и «Тело — это самое меньшее, что может дать женщина». Открываем Овинникова и сразу попадаем на смелые мазки гения: «В упорном труде растет тульский литератор» (с. 30) и «Л. Толстой — дозорный трудящихся России и всей планеты» (с. 29). Вот уж подлинно первородно! И характерно, что в этом стиле написана вся книга. Т. Ш. пришел от нее в неописуемый восторг. Возможно, он в дальнейшем полностью переиздаст эту книгу под своим именем. И за свой счет!

В совсем уже потаенном шкафу, вделанном в стену и прикрытом обоями (в стиле библиотек вельмож XVIII—XIX веков!), спрятаны Тихоном архивы: письма, документы, мемориал. Нам показалось весьма любопытным письмо прототипа* знаменитого Олега Баяна, выведенного В. Маяковским в пьесе «Клоп», некоему солидному Инкогнито о том, как чувствовали память В. Маяковского в Москве на площади его имени

* Вадим Байн — поэт и художник, современник и знакомец В. В. Маяковского. Кроме этих забавных фрагментов письма — весьма юмористических — существуют представляющие интерес воспоминания В. Баяна, которые ждут своей публикации. — В. Л., О. Т.

Е. Залетаева.
Т. III. и «Венок поэтов»



(это письмо предоставил Шумилкину вышеупомянутый солидный Инкогнито).

ФРАГМЕНТЫ ПИСЬМА (ПУБЛИКУЮТСЯ ВПЕРВЫЕ):

...Вдруг один энтузиаст Маяковского душераздирающим голосом закричал на всю площадь:

— Товарищи! Здесь присутствует товарищ Баян, прототип Олега Баяна в пьесе Маяковского!

Вся публика хлынула ко мне и вперила в меня две тысячи глаз, считая по паре на человека. Я от неожиданности и смущения закрыл лицо обеими руками. Это еще сильнее взбудоражило энтузиастов. Тут раздалось сто голосов:

- Просим выступить! Расскажите нам о Маяковском!
- Просим!
- Просим!
- Просим!

Я был ободрен тем, что меня не убили и даже не побили, я вытанулся на ступеньках во весь свой средний рост и загорланил на всю площадь:

— Молодость Маяковского! Кто из людей, позолотивших себя прикосновением к Маяковскому, не помнит...

И пошел, и пошел.

Два часа до полной хрипоты. Я говорил о Маяковском, засыпая слушателей эпизодическими воспоминаниями о нем, а публика засыпала меня тысячей вопросов. Попросили меня прочесть свои стихи. Я прочел пролог из «Вселенной на плахе»: «Трещала вселенная, сыпались императоры. Корчилося человечество, в сердце землетрясение. Это красавицу землю затыгивали в корсет экскаватора. Это боги импровизировали танец столпотворения...» и так далее, пролог из «Собачества» и многое другое. Вдруг ко мне подошел один молодой поэт с огненными глазами и сказал:

— Товарищ Баян! Разрешите от имени всех присутствующих поблагодарить вас за выступление и пожать вашу руку.

Я подал руку. Он добавил:

— А теперь разрешите мне прочесть свои стихи о Маяковском.

Тут со всех сторон на него закричали:

— Долой!

— Пусть Баян выступает!

— Он хорошо говорит!

— Интересно!

Неожиданно восемь дюжих рук схватили этого поэта за шиворот и кинули аж до кино «Москва»...

КАК МЫ ПОССОРИЛИСЬ С ВЛАДИМИРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ

...В 1926 году я, как сторонник порядка и нравственности в литературе, высказался о погрешностях Маяковского в его ранних стихах против нравственности и отметил литературные недочеты. В ответ он вывел меня в своей пьесе в качестве гувернера главного героя пьесы Присыпкина, которого он называет клопом (а я как будто воспитываю таких дураков-клопов). Меня он в пьесе называет Олег Баян и едко высмеивает похожесть моих ранних стихов на стихи Апухтина и Надсона. Парень с книгой говорит: «Баян — знаменитый, про него в «Вечерке» три раза писали, говорят, что он стихи Апухтина за свои продал, а он обиделся и опровержение написал: «Дураки, говорит, вы, неверно все, это я у Надсона списал».

Какой же дурак признается, да еще в печати, что он списал?! Я-то при своем таланте ничего ни у кого не списывал, а автор этой сатиры списал у Герберта Уэллса машину времени для своей «Бани».

Видите, как он едко подал в пьесе похожесть моих ранних стихов на стихи старых поэтов? Он хотел сделать мне хуже, а сделал лучше: теперь литературный мир всего света знает меня и на моей стороне. Меня теперь знают и в Париже, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Токио, и в Риме. Хотел меня угробить, а не вышло — сыграл мне на руку, в мою пользу.

Прихожу к заключению, что в литмире я слышу самым легендарным

поэтом, раз... «величайший» укусил меня в своей пьесе. Если я ошибаюсь, подскажите свои аргументы...

[СТРАННЫЙ ИНТЕРЕС К МОЕМУ ПСЕВДОНИМУ]

Литературоведы проявляют неестественно преувеличенное внимание к моей скромной, по сравнению с фигурами других литераторов, ЛИЧНОСТИ. Например, когда пишут о других литераторах, выступающих под псевдонимами, они никогда не сообщают в скобках или без скобок их гражданские фамилии, пишут просто Герцен, Чуковский, Асеев, Багрицкий, Никулин и т. д. А ведь, казалось бы, для удовлетворения любопытства читателей именно об этих литераторах следовало бы написать поподробней, мол Герцен (Яковлев), Чуковский (Корнейчук, да не Корней Иванович, а Николай Васильевич), Багрицкий (Дзюбин), Никулин (Ольконицкий), Гоголь (Яновский), ведь они очень известны, у них много напечатано. Так нет же, тут они проявляют пассивность, хладнокровие, но, как только добираются до меня, загораются, в душе у них прямо зудит показать свою образованность, свою осведомленность, тут они прямо на щит поднимают мою черноземную, простую, как квас, фамилию — Сидоров. Ах, какая красота! Какое открытие! Прямо Северный полюс!

[Я — ОТШЕЛЬНИК]

Если соберетесь в Москву и пожелаете посетить меня, то заранее спешитесь со мной, ориентировочно укажите день и час посещения и получите от меня ответ, иначе произойдет СРЫВ, ведь я живу по плану и попытки знакомых войти ко мне вне плана ни к чему не приводят, меня никогда нет дома, об этом возвещает дощечка с надписью на двери комнаты.

В комнате у меня всегда царят хаос и самолюбие,* и мне приходится писать много писем. Все хотят получать от меня письма. К празднику я написал друзьям не менее ста страниц писем. Шлю и вам горчий, как крышон, привет.

В. Б.

Мы закончили свой далеко не полный осмотр библиотеки Т. Ш. и выразили его друзьям — Марку Рифману и Христофору Патроносову — свое восхищение. «Какое замечательное литературное чутье у Т. Ш.! Какой огромный, неисчерпаемый синтетический словарный запас!» «Э-э, вы не знаете еще до конца Тихона, — сказал Патроносов и поднял указательный перст вверх, — Тихон очень много словотворчеством занимался».

И Патроносов рассказал нам одну из ходящих в народе историй из жизни Т. Ш. в литературе. Этой историей, свидетельствующей о незаурядной библиотечной культуре Тихона Шумилкина и услышанной у библиотечных полок, мы и заканчиваем свою публикацию в «Альманахе библиофила» о Тихоне Шумилкине.

* Т. Ш. приколот маленькую записочку, на которой написано: «А у меня — постоянно вихри в голове...»

СОЗДАНИЕ НОВЫХ СЛОВ, ИЛИ ТИХОН ШУМИЛКИН И МУЦИЙ КУРОПАТКИН

Зашел как-то Шумилкин к редактору поэзии Виктору Птичесьнскому, который, надо сказать, недолюбливал Тихона, а Тихон платил ему тем же. Но что поделаешь — жизнь есть жизнь, время от времени им приходилось пересекаться. На этот раз Птичесьнский сидел с одним из своих приятелей — Анисимом Расподеевым, они распивали пиво, а Птичесьнский показывал свой гербарий, в котором белые бумажки со стихами и цитатами, как бабочки, были пришпилены к картону. Автором стихов и изречений был некий Муций Куропаткин (настоящее имя коего было Степан Петрович, но его любимым героем был Муций Сцевола, и Куропаткин присвоил себе его героическое имя).

Шел спор — что такое творчество Муция Куропаткина: мура или авангардизм? Расподеев злобился и кричал, что это полная мура! Птичесьнский колебался. Ему тоже казалось, что — мура, но он опасался, что вдруг все это — авангард, а он, как редактор, не проявит внимания и навлечет на себя злобу авангарда. Т. Ш. вошел в тот момент, когда Птичесьнский читал вслух из Муция Куропаткина:

А потом настало утро,
Вышло солнце из-за гор,
Осветило край пюпитра,
И запел небесный хор.

— Возможно, Куропаткин прав, — задумчиво говорил Птичесьнский. — Он считает, что не слово лепит рифму, а рифма — слово...

— Мерзость! — плюнул Расподеев.

— О, что бы это ни было, — воскликнул Тихон, — давайте мне эту драгоценную «пюпютру»! Я вплету ее в свой синтетический поэтический венок!

— Мура! — снова плюнул Расподеев, — бери мешками...

Птичесьнский отрицательно мотнул головой — ему вдруг стало жаль выпустить «пюпютру» из своего гербария. Они немного поспорили, но в конце концов машинное упорство Шумилкина одержало верх над хрупкой душой Птичесьнского. Тихон получил желанную «пюпютру».

Через некоторое время Тихон и Муций (по прозвищу Пюпютра) познакомились и даже подружились. У них оказалось нечто общее: они ускоренно осваивали культуру. В процессе этого освоения рождались новые слова и понятия и по-новому определялась принадлежность вещей и личностей. Например, оба, не стовариваясь, восхищались стихами Голсуорси Лорки (объединяя в одно лицо Дж. Голсуорси и Гарсиа Лорку) и полагали, что Голсуорси Лорка жил в Древней Греции. Оба они восхищались Тацитом — художником, увидев по телевидению изображение картин Тициана. Случались, однако, и некоторые разночтения в словотворчестве. Муций как-то сказал Тихону:

— Мне суждено быть пилигримом...

(Надо сказать, что Муций был закоренелым и неприкаемым одиночкой, в отличие от прекрасного семьянина Тихона Шумилкина.)

Тихон промолчал, но через два дня, когда друзья снова встретились, посоветовал Муцию:

— Начни оседлый образ жизни. Я не одобряю твое намерение быть вечным пеликаном...

Но самые лучшие свои находки они рождали сообща. Так они единодушно, не стовариваясь, родили слово «эскет».

— Любишь ли ты Бальмонта? — вопрошал Муций (Пюпютра) Тихона.

— Какой великолепный эскет! — отвечал Тихон.

И они прекрасно понимали друг друга.

— О, да! После него не рождались уже эскеты такого калибра, — задумчиво говорил Муций.

Словотворчество Тихона и Муция глубоко и традиционно: оно, несомненно, — продолжение (сверхсовременное!) традиций будетлянства.

Но однажды опыты, связанные со словотворчеством, чуть не кончились для Тихона печально. Он решил пришить корове кобылий хвост — переиначив известную пословицу. Как он это пытался сделать, мы не можем сказать, но в один прекрасный день водители машин, проезжавших по шоссе неподалеку от Внукова, увидели бегущего во весь опор человека (Тихона), а за ним неслась, яростно взбрыкивая и мотая головой, рыжая корова. Плохо пришлось бы Тихону, но один из проезжавших в своей машине открыл дверцу и крикнул Тихону: «Прыгай!» — что Тихон и сделал с большой ловкостью. Он был спасен. И более того — каково же было удивление Т. Ш., когда он узнал в своем спасителе критика Феодосия Доку! Провидение, не иначе как Провидение! Рыжая корова сыграла большую роль в современном литературном процессе: Тихон не растерялся и немедленно, еще не оправившись от испуга и еле переводя дыхание, приступил к устройству своих литературных дел, в чем и преуспел, успев внушить Доке, что раз тот спас его, Тихона, то отныне обязан стать его покровителем. В заднее стекло машины Тихон видел, как корова долго и тупо смотрела им вслед, а сам Тихон покотился дальше в литературу. Вот что значит все-таки *Deus ex machina!*

БИБЛИОГРАФИЯ

Поэзия в меняющемся мире: Анкета День поэзии, 1981. М., 1981.

Осторожно — Тихон Шумилкин! // Лит. обозрение. 1983. № 12.

У нас в гостях Тихон Шумилкин (и публикация первого экслибриса Т. Ш.) // Кн. обозрение. 1984. № 10.

Загадка Т. Ш. // Вопр. лит. 1985. № 1.

Т. Шумилкин. Заметка о неурядках в работе Теллостанавского Универсама // Веч. Москва. 1985. 22 окт.

Синтетический поэт (Тихон Шумилкин) // Вопр. лит. 1985. № 1; 1986. № 5; 1987. № 7; 1988. № 2.

ЦГАЛИ — фонд X-725, оп. 13, тысяча и одна единица хранения (1001).

ЦГАЮС (Центральный Государственный архив Юмора и Сатиры) — фонд ДП — 1981, оп. 117, единиц хранения.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДЕМЕНТЬЕВ (р. 1925)

Доктор филологических наук, профессор. Один из ведущих советских критиков. Лауреат Государственной премии РСФСР.

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ КАЛАШНИКОВ (р. 1930)

Заслуженный художник РСФСР. Председатель Совета по экслибрису и книжной графике Центрального правления Всесоюзного общества любителей книги.

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЧИЧЕРИН (р. 1917)

Литературовед, критик. Доктор филологических наук, профессор Львовского университета.

ЮЛИЙ ИОСИФОВИЧ КАГАРЛИЦКИЙ (р. 1926)

Автор книг и статей, посвященных истории английской литературы и театра, переводов пьес англоязычных авторов. Доктор филологических наук, профессор. Член Союза писателей СССР. Вице-президент Уэллсовского общества (Великобритания). Дважды лауреат литературной премии «Пилигрим» (США).

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ КУПЧЕНКО (р. 1938)

Автор работ, посвященных жизни и творчеству М. А. Волошина.

ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ ГОРЕЛОВ (р. 1955)

Литературный критик. Автор многих статей по русской и советской литературе.

БОРИС СОЛОМОНОВИЧ БЕЛОВ (р. 1928)

Литературовед, педагог. Автор ряда публикаций в томах «Литературного наследства» и периодической печати.

НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА ГРЯКАЛОВА

Литературовед. Кандидат филологических наук. Научный сотрудник Пушкинского дома. Автор работ, посвященных исследованию русской поэзии начала XX в.

ЛЕВ ИОСИФОВИЧ БЕРДНИКОВ (р. 1956)

Кандидат филологических наук. Старший научный сотрудник Музея книги ГБЛ.

ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ ПЕРМИНОВ (р. 1935)

Автор книги «Улыбка сфинкса» и ряда работ по истории русской дипломатии. Кандидат исторических наук.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЕРОХИН (р. 1954)

Журналист, критик. Автор искусствоведческих работ.

ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА ИВАНОВА

Кандидат филологических наук, литературовед. Автор работ, посвященных русской литературе конца XIX и начала XX века.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ МАРКОВ (р. 1931)

Писатель, краевед. Заслуженный учитель школы РСФСР. Член совета Астраханского областного общества охраны памятников истории и культуры.

ЛИРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ВОРОНЦОВ (р. 1934)

Библиофил, коллекционер.

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ ЛАЗАРЕВ (р. 1936)

Поэт, прозаик, литературовед. Автор многих книг и публикаций. Составитель поэтических антологий. Ряд его статей посвящен истории русской культуры.

ОЛЬГА ЭДГАРОВНА ТУГАНОВА

Доктор исторических наук. Автор многочисленных трудов по проблемам международных отношений и истории мировой культуры. Публицист и переводчик художественной литературы.

SUMMARIES

ANATOLI KALASHNIKOV My English Encounters

The well-known Soviet graphic artist tells of the meetings he had with the English bibliophiles and of long-standing cultural ties between Russia and England.

ALEXEI CHICHERIN The Pure Breath of Living Words

An interview with the Soviet literary scholar and critic, Professor of the Lvov State University, a descendant of the famous Chicherin family that has given the world many outstanding political and social figures.

YURI KAGARLITSKY H. G. Wells in My Life

Professor Yuri Kagarlitsky, Doctor of Philology, writer and Vice-President of the Herbert Wells Society (Great Britain) tells about his trip to England and about the impression books by Herbert Wells produced on him when he was a child; he also recounts some little-known episodes from the life of the great novelist, philosopher and science-fiction writer.

FYODOR KUDRYAVTSEV A Family of Russian Book-Lovers

Glimpses of the history of the ancient family of Russian nobles and hereditary book-lovers, the Mussin-Pushkins, to whom the civilised world owes the discovery of the early Russian masterpiece «The Lay of Prince Igor's Campaign».

VLADIMIR KUPCHENKO «A Champion of Dream»

(Evgeny Arkhipov the Bibliographer and Bibliophile)

A story about a modest and self-denying person whose bibliographical studies have earned him well-deserved fame and sincere gratitude throughout the literary world.

PAVEL GORELOV «A Story of a Human Soul»

The literary critic enters into polemic with the author of the «Pechorin and Pecherin» article published in Issue 22 of «The Bibliophile's Almanac».

BORIS BELOV
Gavrila Derzhavin's Poetic Behest

A story of the discovery of the hitherto unknown autograph on the fly-leaf of Volume One of «Derzhavin's Writings» published in 1808—1816. The author also dwells on the influence this outstandingly original poet had on the history of his country's culture.

NATALIA GRYAKALOVA
Alexander Blok Reads Ivan Bunin's «Poems»

A study of the notes made in Blok's hand on the margins of a book of Bunin's poems, giving the reader an insight into the poet's perception of his fellow-countryman's creative heritage.

LEV BERDNIKOV
Kiriyak Kondratovich and Dear Sir Sirovich

An episode from the history of dedication in Russian literature.

PYOTR PERMINOV
Fortune's Stepson

An outline of the life-story of P. A. Levashov, the Russian 18th-century diplomat and writer whose works enjoy unflinching popularity with historians and students of the period of Catherine the Great's rule.

ALEXEI EROKHIN
«This Age Is Mad, This Age Is Wise»

The author surveys the catalogue of the «Russia—France. The Age of Enlightenment» exhibition.

EVGENIA IVANOVA
The Story of a Correspondence

The author discloses the psychological motivation behind one most unusual mystification pertaining to the publication, in the beginning of the 1920s, of «Nadson and Countess Lyda», a book of a none too ordinary fate.

ALEXANDER TISHKOV
Mikhail Kuzmin's Bibliography

The publication is taken from the archives of the compiler—writer, translator, student of Chinese literature and a connoisseur of Russian poetry.

EVGENY IVANOV
Village Fairs, Markets and Taverns

A chapter of the book lovingly presenting the life-style of the pre-Revolutionary Moscow and the provinces.

VALERI BRYUSOV — MIKHAIL SEMYONOV
From Their Correspondence

The publication is composed of letters pertaining to their work for the *Vesy* journal.

VASILY ROZANOV
Three Reviews

«K Vseobshchemu Uspokoyeniyu Nervov» («So That Everybody Could Relax»), published in 1911 in «Novoye Vremya» of February 7, and later included in Rozanov's book «Among the Artists» [1913], along with «Prelest Staroknizhiya» («The Splendour of the Ancient Book») which also first appeared in «Novoye Vremya» of April 20, 1913. The «Our Bibliophiles» review came off press on 2 June, 1916.

ALEXANDER MARKOV
Rare Books from Astrakhan

A survey of the most interesting publications that saw light at the turn of the 19th century in the town of Astrakhan on the Lower Volga.

OLGA SHMUK
A Series of New Catalogues

A short survey of five catalogues put out by the Rare Books Department of the State Lenin Library.

LYRI VORONTSOV
Book-Lovers

The author presents the peculiar world of Moscow bibliophiles of the 1970s.

VLADIMIR LAZAREV, OLGA TUGANOVA
Tikhon Shumilkin's Library

«I have a scent for masterpieces» Tikhon Shumikin declares without a shadow of doubt. This comical personage born on the pages of press eight years ago has already firmly established himself as a fancier of all sorts of literary trash he comes across while looking through books, newspapers and periodicals.

Unlike his literary analogue Kozma Prutkov, Tikhon Shumilkin does not create anything himself, he just appropriates other people's lines and ideas, which he naively takes for gems of creativity.

His unique library is composed of precisely such gems.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга и жизнь

Валерий Дементьев. Личность человеческая безбрежна. <i>Беседу вел Свято-слав Педенко</i>	6
Анатолий Калашников. Английские встречи	18
Алексей Чичерин. Живого слова чистое дыханье. <i>Беседу вела Елизавета Захарова</i>	30
Юлий Кагарлицкий. Уэллс в моей жизни	43

Библиотеки и библиофилы

Федор Кудрявцев. Семья русских книголюбов	78
Владимир Купченко. «Энтузиаст мечты». Евгений Архиппов — библиограф и библиофил	88

Полемика

Павел Горелов. «История души человеческой...»	98
---	----

Поиски и находки

Борис Белов. Поэтическое завещание Г. Р. Державина. О счастливой книжной находке	112
Наталья Грякалова. А. Блок за чтением «Стихотворений» И. Бунина	132

Дела минувшие

Лев Бердников. Кириак Кондратович и Господин Господинович. Из истории посвящения в русской книжной культуре	142
Петр Перминов. Пасынок фортуны. К биографии П. А. Левашова	154
Алексей Ерохин. «Столетье безумно и мудро». Заметки на полях каталога выставки «Россия — Франция. Век Просвещения»	165
Евгения Иванова. История одной переписки («С. Я. Надсон и графиня Лида»)	175

Наши публикации

Александр Тишков. Библиография Михаила Кузмина. <i>Вступительная заметка Татьяны Бек. Публикация Н. Тишковой</i>	188
Евгений Иванов. Деревенские ярмарки, базары и кабаки. Глава из книги «Красное крылатое слово». <i>Публикация Зинаиды Милотиной</i>	208
Из переписки В. Я. Брюсова с М. Н. Семеновым. К истории издания журнала «Весы». <i>Публикация и предисловие Натальи Шик</i>	220
Василий Розанов. Три рецензии. <i>Публикация, предисловие и примечания Виктора Заново-Розанова</i>	230

Наша полка

Александр Марков. Редкие астраханские издания	244
Ольга Шмук. Новая серия каталогов	255

О книгах и о себе

Лирий Воронцов. Из записок московского книжника	260
---	-----

Наш Сатирик

Владимир Лазарев, Ольга Туганова. Библиотека Тихона Шумалкина	278
---	-----

В поэтической рубрике

Алла Ростовцева. Анна Ахматова	17
Марина Цветаева. Из цикла «Ахматовой»	74
Осип Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»	75
Владимир Набоков. Будущему читателю	76
Иннокентий Анненский. Мой стих	96
Александр Галич. «Когда-нибудь дошлый историк...»	270
Анна Ахматова. «Заболеть бы как следует, в жгучем бреду...»	271
Михаил Кузмин. «Среди ночных и долгих бдений...»	272
Максимилиан Волошин. «Я люблю усталый шелест...»	273
Владислав Ходасевич. Ищи меня	274
Георгий Иванов. «Я люблю безнадежный покой...»	275
Игорь Северянин. Не более чем сон	276
Коротко об авторах	297
Резюме на английском языке	299

АЛЬМАНАХ БИБЛИОФИЛА

Выпуск двадцать пятый

Редактор ВОК Л. И. Антипова
Редактор издательства М. Я. Фильштейн
Художественный редактор Добер Т. В.
Технический редактор В. Л. Юняев
Корректор В. А. Корогаева

Сдано в набор 14.11.88. Подписано в печать 14.06.89. А01585. Формат 60 × 90_{1/16}. Бумага офс.
№ 1. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,0 + 1,0 вкл. Усл. кр.-отгг. 42,5. Уч.-изд.
л. 21,18 + 0,94 вкл. Тираж 50 000 экз. Изд. № 4758. Зак. № 1694. Цена 1 р. 70 к.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Адрес редакции:

103009, Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 10,
«Альманах библиофила».
Телефон: 229-23-47.

Рукописи не возвращаются.

Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.